НЁМАН

6/2012
ИЮНЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

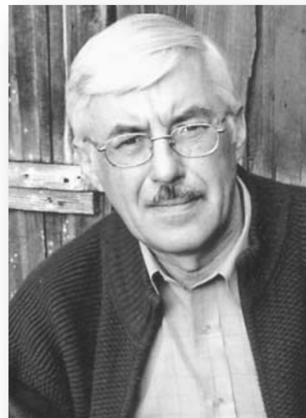
Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкая*

Подписано к печати 08.06.2011 г. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,56. Тираж 3287. Заказ 1594.
Цена номера в розницу 13 600 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



АЛЕКСАНДР ВОЛКОВИЧ

Житная Баба

Повесть

«Житная Баба» — женская богиня-покровительница. Традиционный символ заступницы в славянской вышивке и ткачестве в виде стилизованного снопа колосьев.

Изготавливали Житную Бабу во время Дожинок или славянского праздника Багача, посвященного окончанию уборки урожая, из последнего снопа, перевязывая его рушником, обливали «громничной» водой и ставили под иконы.

По поверьям древних славян, «Житная Баба» считалась богиней плодородия, излечивала женские болезни, помогала при родах.

Крест на росстани

Этот клочок ничейной околицы никто никогда не межевал и названия ему специально не придумывал, но испокон веков, из далеких временных повестей считается развилка за деревней прощальным рубежом, росстанью. И навряд ли припомнит старый кособокий крест, вросший намертво в дорожную обочину, чтобы кто-то из мимо проходивших либо проезжавших не удостоил взглядом, поклоном, не отметил мыслью его стоическое, согбенное временем деревянное достоинство.

Отсюда берут начало три главные дороги, ведущие из села, и здесь обозначен их предел.

Кем и когда был поставлен на развилке дубовый крест, что выглядит нынче, будто простуженный старец с шарфом на шее, не знает даже мудрый ворон, прилетавший вечерами на перекладину точить изношенный клюв.

Ворон живет триста лет, а людская память дольше.

Даже дуб в земле истлевает, а росстань не перестает быть собой — прощальным островом поцелуев и слез.

Росстань существует столько, сколько получится, если взять и сложить возрасты всех когда-либо проживавших в этой деревне, но даже самый древний замшелый дед и самая ветхая обезумевшая старуха, выхваченные наугад из житейского ряда, несказанно удивились бы, услышав, что крест за околицей порушили, а росстань распахана каким-нибудь новым хозяином земли. Такого еще не бывало. И навряд ли произойдет, пока совсем не зачахнет село и напрочь не вымрут в нем люди.

Каждый деревенский житель хоть единожды переступал сей заветный порог, отправляясь в дальнюю дорогу или возвращаясь издалека, а поравнявшись с крестом, замедлял шаги, дабы упрочить мимолетной передышкой и живым созерцанием предстоящий путь. Не одному из ныне и присно живущих росстань стала последним путеводным оплотом.

Росстань — предтеча и венец в одном лице.

В деревне вспоминают такой случай.

В тридцатых годах, во времена первых пятилеток, из Похмелевки отправилась на поиски лучшей доли семья Охрема Корча — муж с женой и старенькая мать по имени Агафья. Бабульке перевалило за семьдесят, и дети были вынуждены забрать ее с собой, ибо оставить было не с кем. По пути на Урал в вагонной теплушке пассажирке занедужилось, и старушку пришлось ссадить на небольшой станции и положить в лазарет по подозрению на дизентерию. Так Агафья оказалась в больнице небольшого уральского городка. Однако по выздоровлении вместо того, чтобы дожидаться весточки от сына и снохи, уехавших дальше на какую-то стройку, бабушка надумала вернуться обратно в родную деревню. Женщина к старости немного тронулась, плохо соображала, к тому же была абсолютно безграмотной. Твердо помнила лишь имя свое — Гапка и место, где появилась на свет, — деревня Похмелевка в Белоруссии. Туда горемычная и отправилась за тридевять земель, не зная дороги, без гроша в кармане.

Как она сумела преодолеть несколько тысяч километров, не сбилась с пути на железнодорожных разъездах, не потерялась и уцелела на безлюдных перегонах, в лабиринтах больших и малых городов, остается загадкой. Старушка всегда панически боялась поездов, машин, людских скоплений и не признавала никакого транспорта, за исключением привычной телеги. Почти четыре месяца, с середины лета до начала зимы, продолжалось беспримерное паломничество полубезумной, почти слепой, преклонных лет крестьянки. Женщине случалось отклоняться в сторону, забредать в непроходимые дебри, возвращаться к путеводным рельсам и начинать прерванный путь с новой отметки, встречаться с темными личностями. Никто старуху не тронул. Ночевала под откосами и открытым небом, находила приют у добрых людей, дорогу спрашивала у случайных встречных, питалась подаяниями и чем бог пошлет. И добрела.

Оборванная, отощавшая, обессилевшая странница, преодолев невероятный маршрут, ступила натруженными бесконечной дорогой босыми ногами на землю своих предков, узнала родные места, подорожный крест у деревни и, поняв, что ее мытарствам пришел конец, здесь же, на росстани, присела отдохнуть. И больше не встала. Или же не захотела вставать…

Люди нашли Агафью уже бездыханной, припорошенной первым снежком. Она покоилась вечным сном, прислонившись спиной к дубовому брусу, а обмороженные, покрытые язвами и струпьями ступни были обмотаны рушником, снятым несчастной с подорожного креста.

Невидимая нить — иногда ее называют нитью Ариадны — безошибочно вела заблудшую душу к тому единственному заветному месту на земле, что во все века и времена, у всех народов называется Родиной, образ которой всегда светит нам путеводной звездой.

Агафью похоронили там, где она обрела последний приют.

Маленький, без надписи крест на могилке давно подгнил и как бы опирается на большой, подорожный.

Ветры, проносясь над росстанью, усмиряют свой бродяжий посвист, а птичьи стаи огибают стороною деревянный крест, дабы не спугнуть шелестом крыльев людские печали. Лишь черному ворону закон не писан: он считается, как и на погосте, своим, хоть и не домашним. Глухому, как темная ночь, крумкачу чужих историй не вызнать, слов приветствий и прощаний не расслышать. Он свидетель.

Росстань никого из уходящих не оправдывает и не корит. Она смягчает горечь разлуки нежным льняным рушником и прячет в его цветастых узорах случайные откровения.

Полинялая тряпка на груди креста — это и есть выцветший рушник, вышитый рукою безымянной мастерицы.

Святая великомученица Параскева Пятница — Заступница, Берегиня — незримо витает над этим местом, упокоившись нитяным рисунком на распахнутом дубовом перекрестии, обвив его жилистую шею полотняной лентой.

Дождь и солнце выбелили ткань домотканого рушника до бумажной серости.

Красная и черная нить былого орнамента превратилась в размытые блеклые узоры.

Но абрис Заступницы, бессильно обвиснув на перекладине, проступает на льне нечетким рисунком и сопровождает путника подслеповатым взглядом.

Росстань никогда не спит. Она в вечном ожидании проводов и встреч.

Старинный «екатерининский» тракт на Могилев, грунтовая насыпь на Климовичи, пешеходная широкая тропа-колея на узловую станцию села Осмоловичи — матку выселок и деревушек, которые дворами и людом еще малочисленнее скромной Похмелевки, — начинаются здесь.

Завсегдатай-ворон, хоть и глуховат, сумел расслышать женское имя, оброненное устами одинокого прохожего, что, не задерживаясь и прихрамывая, проковылял через развилку в сторону железнодорожной станции.

«Мабыць, захварэла бабка Дуня, ніхто не здолее ручнік на крыжы змяніць», — пробормотал, ни к кому не обращаясь, мужчина неопределенного возраста.

В руке человечек держал гладкую палку — цапок, как называют в этой местности дорожный посох, и на ходу разговаривал сам с собой.

Длиннополый пиджак-полупальто топорщился на согбенной спине ходока, будто прелый кожух, вывешенный на кол для просушки. Свободная от опоры рука почти касалась земли.

Звали убогого человека Володомир Муравчик, и являл он собой ту разновидность ущербных от рождения людей, которых можно встретить в каждом местечке, в любом селе, — горбунов и дурачков. Какая же деревня без них?!

Бабка Дуня, всуе упомянутая Муравчиком, считалась в округе знатной вышивальщицей, и обновление рушника на подорожном кресте негласно считалось общественной, к тому же добровольно принятой на себя обязанностью старушки. Сама бабушка Евдокия Козлова, а это о ней речь, расценивала свою необременительную работу почетной ношей и вот, видимо, по уважительной причине пренебрегла ею.

Почему именно она? Вопрос — такой же праздный, как если бы у старенького и не слишком шустрого на ноги Володомира Муравчика спросить: зачем он тащится осенним днем на железнодорожную станцию и какая неотложная надобность гонит его почти ежедневно за семь неблизких верст, ведь никто там его не ждет…

«Сустракаць цягнікі!» — ответит деревенский горбун и при этом удивится столь неуместному, на его взгляд, вопросу. Охота пуще неволи — и весь сказ.

Выбор бабушки Евдокии на роль хранительницы росстани — тоже давний. Никто, впрочем, ее не обязывал. Она считалась людьми лучшей среди вышивальщиц — вот и кудесничала на досуге, не зная себе равных в орнаментном ручном письме. Вышивала свадебные, подарочные, жертвенные, поминальные и какие там еще рушники. Полотенце на подорожном кресте — это особая

статья, не каждому по уму, даже если с пальцами и пяльцами вышивальщица в ладах.

С годами народные умелицы — вышивальщицы — в окрестностях перевелись. Старшее поколение мастериц постепенно перекочевало на постоянное место жительства, известное сельчанам под названием Брывица и Грязевец (деревенские кладбища), а молодежь женского пола, и без того не слишком многочисленная, к шитью крестиком и гладью сталась неохочая и не приученная. Одна надежда на старушку Евдокию, которая в любом общеполезном, никем не оплачиваемом деле всегда безотказная.

«Трэба да Дунькі зайсці, можа, што здарылася?» — решил про себя Муравчик, отдаляясь от неухоженного креста.

Между тем распогодилось, и подмерзшая за ночь колея, согретая робким осенним солнцем, превратилась в осклизлую блестящую поверхность, затруднявшую шаг. Трудность относительно дальнего пути не помешала ходоку добраться до цели своевременно. Удивительное дело: часов он не имел, а являлся на станцию всякий раз аккурат к прибытию-отправлению так называемых послеобеденных составов. Так уж повелось, и все местные давно привыкли к присутствию на станции убогого доброхота. Сойдет, бывало, на перрон редкий приезжий — отпускник, командированный иль позабытый житель, решивший посетить родные края, а тут ему неожиданная встреча уготована в образе Муравчика: а вот и я! Какое ни есть, а все-таки знакомое лицо, которому приехавший пассажир обычно рад, ибо, как говорится, в родном краю и столб — свояк.

Прибывшая в тот день пассажирским поездом Катька, внучка бабушки Евдокии, тоже не слишком удивилась, столкнувшись на перроне нос к носу с Володомиром. А уж как он обрадовался давнишней своей зазнобе! Большой тяжелый чемодан из рук девушки перехватил, в глаза влюбленно заглядывает:

— Навошта цягніком? Мабыць, кавалер твой разам з самаходам збег?

Катьке, оказавшейся по каким-то своим причинам «безлошадной» и без привычного мужского сопровождения, вопрос горбуна — как кость в горле. Не удостоила ответом.

— Впрягайся, кавалер! — кивнула на чемодан.

Муравчик услужить красавице рад. В синеглазую Катьку он давно и безнадежно влюблен, как, впрочем, почти в каждую мало-мальски привлекательную особу женского пола, возникавшую на сельском горизонте на протяжении всей его незадачливой жизни. Катерина же на его глазах росла, у бабушки на воспитании. В Похмелевке бывает редко, наездами. Что-то у нее нынче не срослось, иначе прикатила бы с шиком на блестящем вольво с лысоватым водителем за рулем. Говорили: жених, он же — Катькин хозяин. В смысле — владелец торговых киосков, где девушка работает по найму.

Катька, зараза, зенки синие, бесстыжие, на Володомира таращит, беспардонно добровольного помощника разглядывает. Постарел Муравчик, сдал. А ведь когда-то за детскую ручку ее водил, нянчил. Мать ее, Татьяна, тоже, считай, вместе с горбуном выросла. Через забор хаты стояли. Только соседка с годами взрослела, в Минск уезжала, Катьку рожала, а Муравчик все такой же неухоженный бобыль без жизненных перемен, разве еще больше сгорбился, поседел и в землю врос… А все на станцию шастает, как пацан. Бедолага.

Так они и пошли вместе, волоча меж собой чемодан на колесиках. Изредка местами и руками менялись.

Катька думу свою думала, помалкивала, грустила. А воодушевленный встречей Володомир нес всякую околесицу: про общих деревенских знакомых и разные разности, интересные разве только ему самому.

Спутница оживлялась лишь при упоминании о своей бабушке, навестить которую и приехала.

Странную, необычную картину представляла собой случайная парочка, оказавшаяся в единой «упряжке» на пустынной осенней дороге. Нарядная, одетая по сезону и моде, горожанка с лицом славянской Богородицы, задумчивым и скорбным, — и низкорослый седовласый горбун, облаченный в выцветший, когда-то черного цвета пиджак и стоптанные кирзовые сапоги…

Свободной от поклажи рукой горбун оживленно размахивал посохом, а мадонна беспричинно хмурилась и на ходу курила тоненькую дамскую сигаретку…

Оба месили родимую грязь, не чураясь и не замечая ее.

Росстань встретила и проводила пришедших без всяких эмоций. Эти люди всегда считались в деревне своими. А кто ж со своими церемонится?

Красное и черное шитье

Ожидался приезд внучки, вызвавший у бабушки Евдокии, которой нынче нездоровилось, череду хозяйственных забот и домашних дел, вроде бы обязательных, требующих безусловного исполнения и в то же время несрочных, выполняемых с единственной целью — лишь бы заполнить полезным занятием бесконечное время. Правильно ведь говорят: хуже нет, чем ждать и догонять.

Погода и старые клены во дворе деревенской хаты были под стать настроению и состоянию старушки. Осенние холода, которым пора уж наступить после Покрова, по выражению Евдокии, важились, важились, да никак не отваживались, а любимые клены, сопротивляясь дыханию осени, упорно не желали расставаться с резной листвой, а только кочевряжились, не желтея и не краснея.

Со здоровьем хозяйки тоже неясность: и не болит нигде, а во всем теле *туга*.

До настоящего предзимья еще далековато, конец октября, — как ранним утром вышедшей на крыльцо Евдокии показалось необычно светло. Так и есть: кленовые листья, угнетенные ночным морозцем, все разом опали, устлав разноцветным ковром землю по обе стороны забора. Двор непривычно оголился.

«Сегодня приедет», — пришла к выводу бабушка, имея в виду Катьку, и вернулась в хату растапливать печь: внучка любила тепло, а в доме из-за экономии дров не топили, да и рано еще.

Сухие ольховые поленья взялись в грубке споро, жарко, перехватив огонь от вспыхнувшей снизу смолистой лучины; теплом дохнуло женщине в лицо; тяга оказалась сильной: пламя за закрытой дверцей шугануло по дымоходу и загудело в трубе.

Час-другой — и комната наполнится тем особым живым уютом, который всегда возникает, когда в доме впервые протапливают застоявшуюся за лето печь-голландку, или грубку, как называют ее в деревне.

«Катька, знамо дело, шалопута, может заявиться в любую минуту, а может и вовсе свою персону не предъявить, — подумала про себя Евдокия, а поэтому решила с готовкой не торопиться. Собственно говоря, потчевать гостью про-

блемы нет: бульбы начистить и кастрюльку на плиту поставить. Традиционную яичницу хозяйка тоже наколотит и изжарит в минуту. Что еще? Сало соленое, огурцы, хлеб. Все остальное запасливая внучка привезет с собой: разные там сервелаты с сосисками в блестящей упаковке, мясные, сырные и рыбные деликатесы и другой всячины, что красиво блестит, а едой по-настоящему не пахнет. *Ешь, дурень, бо то с маком,* — говорят в таких случаях.

Из всех съестных гостинцев, без которых редкие Катькины визиты в деревню не обходятся, Евдокия предпочитает консервированную печень трески. Угощенье по ее старческим зубам. Особо обрадовалась баночке с кусочками рыбы сайры, привезенной внучкой в последний свой приезд.

«Любим мы, женщины, чужую печень грызть!» — сопроводила свой удачный подарок острая на язык внучка, а консервы «сайра натуральная с добавлением масла» прихватила, наткнувшись в столичном магазине на дефицит, и дабы бабке лишний раз потрафить. Знала: в молодости бабушка работала на рыбокомбинате где-то на Курилах и как раз с сайрой имела дело. Подробности этой давнишней истории Катьку особо не волновали, да и интересны ли вообще воспоминания бабушек и дедушек подросшим наследникам?

Хотя как знать, как знать… Даже Катькино деревенское прозвище — «три наперстка», азартная игра, — перешедшее ей от матери Татьяны Фадеевны, проживавшей ныне в Минске, имеет богатую и непростую предысторию, которую из-за давности большинство односельчан уже не помнит, а люди сведущие либо поумирали, либо предпочитают помалкивать. Как, например, сама бабка Евдокия. И клещами из нее ничего лишнего не вытащить.

Что касаемо деревенских прозвищ вообще, то понять их природу и мотивацию не только никому не дано, но практически невозможно выяснить из-за бесконечной множественности причинных обстоятельств. Кто, допустим, возьмет на себя смелость утверждать, по какой такой причине бабку Евдокию по-уличному называют Сорочихой, хотя настоящая ее фамилия по матери Осмоловская, а по отцу — Козлова? Полнейший разброд.

Или почему давнишнюю приятельницу бабушки Алену Сакович из соседней Лозовицы за глаза называют Шабрихой, так же как и ее давно покойную мать Анюту?

С какой стати бывший бригадир Митяй Матохин носит нелестное прозвище Кулячка? И как оно прилипло к колхозному начальничку еще задолго до того, как он потерял на войне правую руку и бригадирствовал потом с культей, нисколько, впрочем, не мешавшей ему взгреть в хвост и в гриву и коней, и подчиненных?

Когда-то у кого-то с языка сорвалось, из человеческого бытия вывернулось, особенность характера или жизненный случай подметило, да так в умах и на устах осталось — уличное прозвище. Чаще всего оно — даже не меткое словечко, а вроде застарелой случайной занозины. Ни выковырять, ни еще как избавиться.

С Катькиным прозвищем несколько иной коленкор: девушка она азартная, рисковая, вот и в торгашество в последние годы ударилась. Не замужем. Бабушку Евдокию старается навещать, не в пример своей матери, вечно занятой на работе. Катерина не по годам самостоятельная, шустрая.

По мнению бабушки, внучке не особо везет в торговых делах: нервная, издерганная, вечно в долгах. Экономности, прижимистости никакой. Понавезет подарков дорогих, бесполезных, нет чтобы лишнюю копейку припрятать, с толком использовать.

В Катькиных поклонниках, «амурах», тоже черт ногу сломит. То с одним молодым парнем приезжала, то мужика почти сорокалетнего с собой при-

тащила вроде бы бабушке на смотрины. У того, плешивого, поди, семеро по лавкам и алиментов воз, а все молодится, женихается… Не пара Катьке, сразу видать. Нет, трется, блудливый! Не иначе как шкурный интерес к внучкиной выручке имеет. Тоже мне — деловой партнер! Партнеры в постели хороши, а для семейной жизни сознательный мужик нужен, жалостливый к подруге, который не гонял бы ее к черту на кулички за товаром по разным Китаям и Турциям. За морем телушка — полушка, да рубль перевоз. Не в деньгах, то в здоровье за длинным рублем и дальней дорогой потеряешь. Соображай, коль мужик, хозяин и будущий муж!

Как вызнала Евдокия у внучки, не первой молодости женишок — хозяин торговых ларьков в Минске, а Катька у него наемная работница. Она за прилавком недолго сиживает, главным образом за товаром рыщет. А продаст — снова в дорогу.

Тут Евдокия вспомнила свою заветную работу и полезла за нею в платяной шкаф. За створкой правого, бельевого отсека (левый считался посудным) сняла с полочки плетеную корзинку с вышивальными причиндалами, а из глубины достала рыхлый сверток тонкого полотна. Стопку журналов «Крестьянка» и других с выкройками и рисунками фасонов оставила на месте. Журналы еще советских времен, накопились за много лет, разве что на растопку годятся, но жалко. Иногда попадаются лекала и картинки красивые и с выдумкой. Не грех и перенять. Впрочем, все нужные узоры, крои и стежки мастерица в своей голове держит, рука работу и правила помнит, а в том, что Евдокия вышивальщица знатная, сомневаться не приходится. Вышитые праздничные полотенца на иконах в углах, скатерть узорчатая на столе, оборки в цветах на постельном покрывале — ее рук дело. А сколько поделок да вышивок по людям роздано, на заказ и в подарки сработано!

Евдокия развернула на полу широкое полотно, сшитое полосами из нескольких частей. Впервые за свою долгую жизнь на склоне лет мастерица решилась на столь большую работу, намеченную пока лишь беглыми стежками.

Еще раз внимательно оглядела начатую вышивку — нет, не то!

«Зря, видать, поспешила, — расстроилась Евдокия. — Пока узор в голове не обозначился, неча лен дырявить и нитки переводить! Вышивка без смысла — худые коромысла, все одно воду не донесешь…»

Интересно, а что бы сказал по случаю покойный муженек и Катькин дедушка Фаддей Ермолаевич, царство ему небесное?» — подумала старуха и тут же непроизвольно улыбнулась, предвкушая смачный ответ.

Без всякого сомнения, ее Фаддей, как не раз случалось в прошлом совместном житье-бытье, произнес бы полушутя-полусерьезно примерно следующее: мол, вы, мадам, во всем и всегда правы, и даже правее, чем мое правое Фаберже!

Впервые услышав эту коронную фразу от своего шалопутного муженька, бывшего моряка-рыбака, Евдокия (а было ей в ту пору годков, как и Катьке, — двадцать с хвостиком) только прыснула со смеху, когда дошел смысл сказанного: «Фаберже — это же яйцо!»

Фаддей и не такими солеными прибаутками молодую жену смущал и развлекал, рассказывая забавные байки из своей моряцкой жизни. Кое-что она и сама за ним знала и многим мужниным чудачествам была свидетелем, но не о том нынче речь.

Цветная панорама родной деревни, что Евдокия задумала вышить, явно не получалась. Дорогая нитка мулине (подарок внучки), проявляясь во льне, не поспевала за мысленным образом, витавшим в голове мастерицы, а сама

задумка терялась где-то в заоблачных высотах, и, опустившись на чистое поле полотна, неизменно отвлекалась на дела насущные, бытовые, каждодневные. А то, что получалось, душу и глаза не грело.

«Слаба глазами и головой стала, — кручинилась Евдокия. — Раньше картинки цветные в памяти тасовались, образы разные, живые, а нынче — вата серая, кислая…»

Каждый раз принимаясь за шитье, бабушка Евдокия ловила себя на мысли, что думает не об узорах и колерах, а о Катькиной безалаберной судьбе.

Пока случайную нитку бабушка на палец наматывала («Длинная нитка — глупая девка!»), клубочек воспоминаний стал потихоньку раскручиваться, как и осенний погожий денек, струившийся за окошком бойким веретеном. Но все серый цвет к голубому в узорах этих подмешивался — неспокойный, с грустинкой. А то черное с красным тревожно кричало. С чего бы?

Пообщаться бы с подружкой Аленой из соседних Лозовиц, да недосуг к ней идти. Алена, как и Евдокия, в мать свою вышивальным талантом пошла, и матери их меж собой дружили. Обеих уже нет на свете, а дочери, сами состарившись, наследственному ремеслу остались верными. Кому нынче науку передавать?

Евдокия невзначай уколола палец и ойкнула с досады. Вот уж действительно, плохому танцору… Вроде бы и ниток любых колеров вдосталь, и рисунков с лекалами да орнаментами целая кипа, а иголок, импортных, китайских, с широкими ушками, — не счесть. Внучка целый набор привезла, уважила просьбу. Но не все золото, что блестит: гнутся иголки, сталь не та. Нету сравнения со старыми, довоенными… Было время, каждая иголка швейная на вес золота ценилась, нитки сантиметрами измеряли, берегли. А что уж полотна касалось, то все рученьками, натруженными сельской работой, добывали — лен растили, стебли теребили, полотна на дедовском станке набивали и на росных лугах выбеливали, прежде чем превращались они в мягкую податливую материю, пригодную для хозяйственных нужд, портняжных, швейных и вышивальных.

Где нынче то время? Разве что напомнит оно о себе ночным скрипом калитки во дворе да веткой клена в окошко постучится… А ведь было, было…

Воспоминания приплыли легким облачком, и чем пристальнее Евдокия в сладкие образы всматривалась, тем глубже в мечтательное месиво погружалась.

«Надо прилечь, что-то сердцу мляво», — решила старушка и устроилась на кухонном топчане.

«Керосин», — почему-то забрезжило в мозгу. Ох, неспроста…

Будто наяву, видится старушке та же комната, но вместо яркой под потолком электрической лампочки раздвигает вечерние сумерки коптилка — поллитровка керосина с фитилем в горлышке. Синий огонек колеблется от близкого дыхания деревенских баб, обступивших дощатый стол с ворохом чистого тряпья на сухой столешнице.

Тусклый свет выхватывает из полумрака торжественные женские лица.

На стенах движутся тени…

Не на праздные посиделки и не на поминки собрались близкие и дальние соседки в хате Анастасии Козловой слякотным осенним вечером третьего военного года. Позвала солдаток великая нужда и такая же неизбывная вера, что теплилась в каждой женской душе, не угасая, словно мерцающий фитилек керосинки.

И не к скудному угощению — вареной бульбе в чугунке — интерес вечерних гостей, а к предстоящей ночной работе, важней которой за все военные годы, казалось, и не происходило. Заполонил тот жгучий позыв каждую из

собравшихся, и каждая селянка озаботилась для святого дела из последнего. И главное — керосином. Из скудных запасов, из самых заветных захоронок сцеживали. В бутылках, стаканах, на донышках бидонов приносили. Дело требовало достаточного света, а керосин ценился на вес золота. Да и где было разжиться? Только-только фронт прокатился, отдаляясь на запад. Все припасы война по сусекам подмела.

…Третий год военного лихолетья выдался, как никогда прежде, урожайным на гибель фронтовиков-односельчан. Наверное, военная почта лучше работать стала: редкий месяц обходился без черной вести.

Некоторые сельчанки даже прятаться стали, завидев косоглазую Маньку-почтальонку, свернувшую во двор. Издали гадали, что там у нее в тощей сумке: солдатский треугольник или казенный «квадрат»? В сорок первом и сорок втором годах весточки с фронтов вообще в Похмелевку не доходили, под оккупацией стояло село. После освобождения села чем ближе наши войска к гитлеровскому логову приближались, тем большей кровью давалась победа. Как будто до этого смерть солдатиков не косила и их матери и жены горьких слез не лили! Но как страшно, горько было получать печальные известия, когда великой войне, если верить радио, наступил перелом и доблестная Красная Армия бьет ненавистного врага на его поганой территории! Словно черные вороны, прилетали с чужой стороны письма-похоронки… Убит, пал смертью храбрых, умер в госпитале от ран…

Тогда-то и озадачил измаявшихся в ожидании худых вестей баб лозовицкий церковный староста, правивший службу вместо тяжело хворавшего батюшки и не успевавший утешать неутешных. Изрек он во всеуслышание такие слова: дескать, шейте, солдатки, всем миром обережный рушник и несите его в храм. Стану за души ратников, кровь проливающих за веру и отечество, денно и нощно молиться, ибо иным из вас, бывает, не в силах до церкви добраться, потому и молитвы нерегулярно кладете. И чтобы обязательно на рушнике, в самом центре была вышита святая Великомученица Параскева Пятница, ибо есть она — Берегиня христианского рода и всех наших окрестностей, мать земная, хранительница здоровья и семейного очага.

И чтобы каждая мужняя, незамужняя, вдовая и просто которая в девках, но близкого человека на войну проводившая, сотворила на том полотне свою персональную памятку в виде цветка, орнамента или другой заветной пометки с мыслью о дорогом человеке.

А когда все это вы, бабы, исполните, говорил церковный служитель, то пусть каждая зажжет свечку при церковном алтаре, и рушник тот будет освящен.

Рушник-оберег, вещал далее староста, не только печали и слезы бабьи утолит, но главное — расстелется чудесным покрывалом над головами служивых и ратных, заслонит их в походе и в сражении, от тяжких ран исцелит, от неминучей гибели убережет и пулю вражью отведет. Одно условие-уговор: на все про все вышивальное действо дается единственная ночь, иначе святой завет оберега может не сбыться…

Вот такую заповедь огласил прихожанкам староста Никодим, сам страдавший язвенной болезнью и посещавший знахарку для исцеления…

«У Козловых солдатки робют обережный рушник! Для мужей и сынов, что с немцем бьются! Будут Параскеву Пятницу в шитье возрождать!» — пронесся по деревне заполошный слух, и в тот же день долго хлопала калитка Настиной хаты, впуская новых и новых желающих принять участие в святом деле…

В ту пору Евдокия была уже почти взрослой, неполных четырнадцати лет, и она помнит, как явилась на зов тетка Анюта, материна подружка, которую

все с нетерпением ожидали. И с какой горделивой важностью, после паузы, достала она из-за пазухи сверток и медленно развернула тряпье…

Бабы ахнули. Настоящее ламповое стекло, «трехлинейку» выудила из своих грудастых недр толстуха Анюта и обвела ликующим взглядом присутствующих: мол, знай наших!

Стекло тут же на запасную лампу приспособили.

В хате намного светлее стало и бодрее.

Ай да Анюта! Она не только вышивальщица, каких поискать, и откликнулась на призыв подружки, но и довоенное стекло в лихую годину сумела сберечь. Значит, хватит света, сбыться делу, состояться красивой срочной работе, коль первая мастерица примет участие и явилась с таким редким припасом. К тому же соседское женское общество Шабриха уважила, пришла на сбор. Больше всего скорбящих — в Лозовицах; в Похмелевке вдовых числом поменьше будет…

Из Дряглевки, из-за речки, а это почти десять верст, притащилась рябая Дарья Зеленкович, а ее-то никто не звал, но все промолчали. Откуда только прознала? Муж Зеленички еще в финскую погиб, все об этом знали, но отказом не посмели вдову огорчить. Пусть уж вышьет зязюлю, раз попросилась. Облик тоскующей птицы кукушки на рушнике будет к месту.

Одной из первых заявилась соседка Меланья, еще летом получившая казенный пакет на своего Тимофея. Это уже много позже оказалось, что не безвестно красноармеец Кудлов сгинул, как отписал командир, а в плен угодил и после войны домой вернулся. Правда, ненадолго. За что попал, за то и посадили. Но в тот вечер, жалея мужа, горько рыдала Меланья на плече соседки, а трое мал мала меньше в страхе жались к тетке Анастасии, напуганные материнским ревом.

Еле угомонилась баба. И сразу — в работу.

Дружно угадали, как на урок, Дунины школьные подружки постарше — Ольга Пашкевич, Лена Осмоловская и Чубарева Надя. Они семилетку перед войной закончили, замуж не успели выйти. У каждой дружок в армии, на фронте с 43-го. Весточек подружкам не шлют. Но, может, еще живы?

Девчата поначалу стеснялись общества старших женщин, но, быстро освоившись, лепту в общее дело внесли: им было велено холст на квадраты и клеточки размечать и цветные нитки в ушки иголок втыкать. Девки молодые, глазастые.

Но и без них целая хата охочих набилась, и даже смелому не подобраться, пока главная мастерица к работе не допустит. Тут уж без уступок — у всякой болит одинаково и всякая вправе к святому делу руку приложить.

А заправила в затее, конечно же, Анюта Сакович, она же за глаза — Шабриха. Первая помощница у нее — хозяйка Анастасия, в чьей хате сыр-бор. Настя, как и товарка, мастерица авторитетная. И выдумщица ничуть не хуже. Обе они и принялись верховодить: выбрали подходящий отрезок холста, чтобы лоскуты не сшивать и рубца лишнего не получилось. По долевой, продольной нитке общую картину наметили простыми стежками. По поперечной, утоку, — знаки и образы. Тут Параскеве Пятнице, царице земной и небесной расположиться. Здесь — облик богини Берегини можно и должно вышить.

Ладу попросили не забыть невесты целованные и не целованные.
Венчальных голубков, чтоб женихи домой вернулись.
Кветку-ружу, чтоб верность и любовь не увядали.
Небесные звездочки, чтоб дети рождались и росли.
Святое дерево, чтоб род не прерывался.
Жита сноп, чтоб не голодать.

Жаворонков весенних, чтоб тепло наступило.
Кукушку, чтоб убитых поминала, а живым года начисляла.
Перуновы молнии зигзагом, чтоб врагов разили.

Дуняша задумала вышить козочку Манюньку, очень уж она к отцу была привязана, и отец ее любил, среди других козляток отличал. Однако девчонку к рабочему столу вряд ли подпустят: не до ее козочки. И все же Дуня памятный ромбик на ручнике оставила, когда работа заканчивалась, и у рушника-оберега освободилось местечко. Но это было под утро. И гордилась неумелым ромбиком пуще, чем самыми удачными своими во взрослой жизни рушниками и сложными полотнами.

Сразу же каждая из работниц урок получила: той нитки по колерам подбирать, этой клубки наматывать, третьим за лампой, коптилками и детьми присматривать. Остальным, которым негде к столу приткнуться, по лавкам сидеть, с мысли мастериц не сбивать и под руку не вякать.

Все одно разговор зажурчал, вначале полушепотом, потом громче, то затихая, то оживляясь, особенно когда бабы начинали спорить, кому к оберегу подходить, — пока не упорядочилось, первыми стежками и крестиками не выткалось. И потекла ноченька, хоть и осенняя, темная, но скоротечней которой отродясь ни одна в этой хате не гостевала, светлее и лунней никогда не случалась. Спорилась работа, хоть и тесно, и жарко надышали, и лампы на всех не хватало, а коптилки — вонь и сажа; глаза слезятся, нить цветами путается…

Но какова работенка! Горше, чем с тяпкой в поле. Спины радикулитные ломит, головы с недоеду и недосыпу кружатся, глаза от напряжения и гари коптильной слепнут.

А кто в последний раз вышивальную иголку в заскорузлых пальцах держал?! Разве что суровой ниткой заплату на коленки дитенку поставить да пуговицу медную пришить. Не до узоров с орнаментами было, не до цветков с ромбиками… Не каждой и дано. Ведь не крестик в ведомости ставить, а в клеточку на полотне махонькой иголкой попасть, не сбиваясь с наметки и с поля. Кончик нити спрятать. Локтем соседку не подбить. А рученьки уж не те. Наперсток на опухшие пальцы не надеть. Рвали их доселе, как хотели, плуги да вилы, лопаты да топоры. В каждой морщинке, в каждой вздувшейся жилке аршинными буквами прописана сельская военная правда: «Все для фронта, все для Победы!» До самой смерти печатку эту нести им вместе с колхозной Почетной грамотой в довесок за пазухой…

Детишек, кто с мамками пришел, по лавкам и на печи, разомлевших, уложили. Каждому дитяти — по картофелине в мундире в кулачок, чтоб не плакали, когда голодными проснутся. И чтобы отцы-солдаты живыми приснились.

Одна из солдаток, глядя на спящих деток, рассиропилась на песенный плач, но на певунью дружно зацыкали: не ко времени и не к месту. Обережный рушник, как и жертвенный, серьезности, печальной сосредоточенности требует, легкомыслие здесь ни к чему. Не тот случай.

Все, о чем мечталось, что снилось и грезилось, выткалось к рассвету на льняном полотне, и показалось измученным бабам, что не было и не будет тому рушнику равных по красоте и душевности ни в деревне, ни в дальних окрестностях, ни ныне, ни присно, ни вовеки веков… Горьким откровением, горючей слезой, душевной мольбой, расцвело льняное поле в старательных руках — и, уступая дневному свету и сиянию, исходившему от вышитых образов, разом погасли чадящие языки коптилок.

Керосин выгорел досуха.

С тихим звоном треснуло и распалось на части перекаленное ламповое стекло — будто испустило вздох облегчения.

«Конец — делу венец!» — подвела итог мудрая Шабриха.

Лампу жалеть не стала: мужики жизни кладут на фронте, а тут — стекло…

И все вздохнули с облегчением.

И хоть велика была усталость и страшила неуверенность, так ли и все ли вышили, не забыли ль чего-то важного, однако понесли бабы готовый оберег в лозовицкую церковь на освящение.

Несли обережный рушник, как икону, — перед собою, на вытянутых руках. И стар и млад сбежались смотреть на сей неурочный крестный ход, а многие к нему присоединились.

Потом дни и ночи напролет, пока длилась страшная война, усердно молились за своих и чужих, уповая на чудодейственную силу оберега.

Спаси и сохрани!

И так — до самой Победы.

Уж сколько лет прошло, а вот вспомнилась старой женщине та вдовья, сквозь слезы и через «не могу», заполошная страда за ночным рукодельем — и теплее на душе, и печаль светлей. Ведь сдюжили тогда, хоть не за плугом ходили и не тупыми косами отаву сбивали. В первую голову их самих, измученных военной бедой, защитил оберег: черную тоску развеял.

Свято верили: если хотя б одного-единственного солдатика заслонило в бою заговорное вышиванье, хоть одному горемычному страдание и боль облегчило, то, стало быть, и бабья тыловая затея свершилась не зря. А коль иных, кого с фронта ждали, смерть продолжала без разбору косить, вопреки обережному заговору, то умирали бойцы за себя и за домашних покойно. Почему? Дурак не поймет, а умный не спросит…

Много воды с тех пор утекло, много слез пролито, а помнится та ночка в мельчайших подробностях. И все, что с ней связано, грезится.

Приляжет, бывало, Евдокия отдохнуть от суетного дня, но забытье не йдет. Зажмурит очи — и, как живые, являются ей знакомые лица солдат, что с войны не вернулись. Похмелевских, осмоловицких, тошнинских, лозовицких воинов…

Вот и нынче пригрезилось: словно наяву, идут мужики гурьбою в белых нательных рубахах, и среди них — отец ее Илларион с косой на плече. По всему видать, не при военных фронтовых делах, потому что не по форме косцы одеты и на скошенном поле находятся. Направляются на бережок. Закуска на траве расставлена, выпивка. Знать, добили работнички делянки в пойменном лугу и на ужин собрались. Но никак не добраться им до заветной скатерти. Тропинка в сторону уводит. Исчезают родимые плечи, растворяясь в вечернем тумане, не оборачиваясь, уходят… Не воротить, не дозваться… Только молоко из кринки, неловко поставленной, на цветастый рушник тоненькой струйкой льется, вот-вот иссякнет...

Закроет женщина глаза — то же самое видение.

Подхватиться бы, да ноги окаменели…

Однако не чувствует боли онемевшее тело, и рука старушки безвольно падает на одеяло, походя сталкивая на пол корзинку с шитьем, взятым под бок по привычке.

«Катька подберет… Если заявится…» — промелькнула в угасающем сознании бабушки Евдокии последняя отчетливая мысль…

Житная баба

Што за ўсё тлусцейшае? — Зямля.
Што за ўсё цяплейшае? — Сонца.
Што за ўсё чысцейшае? — Вада.
Што за ўсё хутчэйшае? — Вецер.
Хто за ўсе дабрэйшае? — Маці.
Што самае салодкае? — Сон.
Што за ўсё смачнейшае? — Хлеб.
Што за ўсё мацнейшае? — Смерць.
Хто за ўсіх багацейшы? — Каза.
Хто самы працалюбівы? — Пчала.
Хто самы гаротны? — Жанчына.
Што самае прыгожае? — Кветка.
Што без канца і пачатку? — Дарога.
Хто ўсіх корміць? — Зямля.

Кто научил Евдокию, крестьянку, сим премудростям, она и сама не знает. Впитались они в сознание и кожу утренним туманцем, что висел над весенней речкой-шептухой на окраине деревни Похмелевки, влились в душу теплым летним солнышком с неба, проникли в уши перезвоном жаворонков над жнивьем. Цветком-васильком в сердце откликнулись — и звучат, то замирая, то возносясь, серебряным перезвоном.

Радуют. Томят.

Василек — красивый цветок, а на хлебном поле — сорняк. Все одно не поднимается рука с серпом уничтожать красоту.

Охапку синих цветов жница меж колосьев насобирала, букет сложила.

«Ой, Василько-Василек, путь и долог, и далек…»

Солнце уже высоко: пора домой.

На тропинке, ведущей с поля к хате, девушка повстречала Володомира, деревенского дурачка. Фамилия горбуна — Муравчик. Звучит хорошо, траву-мураву напоминает. А сам Володомир — как лесной корч: голова в плечи втянута, спина коромыслом, руки ниже колен свисают. Он не намного старше Евдокии, а выглядит, как молодой старичок. Горб его старит.

Однако добрый. Цыпленка не обидит.

«Дунька, хочаш пашпарт атрымаць? Бягі на станцыю. Там аб'ява вісіць».

«Какой паспорт, Володомир? На солнце перегрелся?»

«Вось табе крыж! Казенная папера. Сам чытаў».

Муравчик только внешне неуклюжий, дремучий. Он все знает: что и где в Похмелевке и в Осмоловичах происходит, какие события грядут. Везде поспевает. Читать-писать научен. Хоть в школу и не ходил.

До железнодорожного разъезда обернуться — всего ничего. Для бешеной собаки семь верст не крюк. Так говорят.

Обмирая сердцем, вскоре девушка уже читала казенное объявление, что было вывешено на стене станционного здания, рядом со входом в небольшой зал ожидания с голой буфетной стойкой в углу.

Печатные буквы прыгали в глазах. Не сразу сумела сообразить, что к чему:

«Отделение Оргнабора Климовичского районного исполнительного комитета объявляет дополнительный набор населения на работу в рыбоперерабатывающей промышленности СССР. Срочно требуются сезонные рабочие на

рыбокомбинат «Островной» острова Шикотан объединения «Дальрыба». Приглашаются граждане женского пола. Проезд к месту работы и койко-место в общежитии комбинатом обеспечиваются. Выдаются подъемные. За справками и направлениями на работу обращаться в Климовичский райисполком, кабинет № 12».

А ниже, уже от руки, разборчивым почерком дописано:

«Лицам, отработавшим по направлению из сельской местности год и более в районах Дальнего Востока, приравненным к условиям Крайнего Севера, возможна выдача общегражданских паспортов СССР единого образца».

И подпись: «Уполномоченный Оргнабора Сивцов».

Роспись у Сивцова коротенькая и кривая, как червячок-наживка на крючке…

Дуняша проглотила приманку без передыха и раздумий.

В кои веки еще сподобится настоящий паспорт получить! Не положено иметь их колхозникам. Редко-редко кому-нибудь из осмоловичских или похмелевских удавалось получить справку-открепление в местном колхозе — конечно, с согласия сельсовета. Парням-то проще — заберут в армию, и ищи-свищи их в поле ветер после службы! На колхозных полях да на фермах только такие, как Дуняша, остаются — ни в солдаты, ни в матросы, ни подмазывать колеса! А тут оказия, редкая возможность, можно сказать, впервые в жизни!

Не была бы она из Осмоловских — загорелась идеей, как порох. Ничто девушку в деревне якорем не держит. Матушку в прошлом году схоронила — царство ей небесное! Отец Илларион Киреевич — с войны не вернулся. Младшие сестренки и братик еще в малолетстве поумирали. Одна забота — коза Манюня да куры в сараюхе. Но живность можно и по соседям раздать. Вот соседка Миля Кудлова — трое у нее деток — давно уже голову морочит: отдай да отдай, Дуня, козу: на корову сена не напасешься, с козой экономней… Тебе по-всякому пол-литра отольется.

Давно надо бы отдать... У Эмильки муж в лагерях сидит, где-то под Соликамском. А где это — одному Богу известно. Вроде бы в Пермском крае. Как вернулся Кудлов после войны из немецкого плена, так его наши сразу и забрали. Говорят, отбывал в немецком лагере в Норвегии… В советском-то, небось, всяко полегче! Хотя и без права переписки с родными…

Решено: Манюню — Эмильке. Кур можно и зарезать. Будет на пропитание в дороге.

А вдруг не примут?

Эта ужасная мысль буквально обожгла девушку своей простотой и несуразностью, и она тут же засобиралась в районный центр, дабы поскорее разузнать в тамошнем райисполкоме свою судьбу. Ни больше ни меньше.

К вящей ее радости, все оказалось намного проще, чем представлялось из захолустной деревни.

В Климовичах в отделении Оргнабора, в заставленном столами тесном кабинете с номером «12» в райисполкоме — не обманул Сивцов! — фамилию Евдокии записал важный уполномоченный. Повыспрашивал о родителях, образовании, социальном положение. Евдокия поняла, что она подходит по всем статьям и приехала очень кстати, так как разнарядка на Шикотан почти выполнена и «красавица успевает вскочить в последний вагон»…

Против «красавицы» Дуняша возражать не стала, а при слове «вагон» начала тревожно выглядывать в окно: где же он?

Уполномоченный Сивцов посмеялся и вручил девушке предписание: быть на железнодорожном вокзале Климовичей такого-то числа во столько-

то, имея при себе продукты питания в дорогу на неделю и предметы личной гигиены. Суточные и проездные будут выдаваться при отправлении. Явка обязательна.

Все открепительные формальности с колхозом и сельсоветом Оргнабор, как представительский орган райисполкома, брал на себя.

Нищему собраться — только подпоясаться. Окна и двери досками накрест, на косяк — замок. Соседи присмотрят.

Кур Эмилия помогла отловить и передушить. Правда, двух самых ценных серенькиx несушек хозяйка пожалела, за так отдала.

Коза Манюня, хоть и упиралась, но в чужой двор пошла, соблазнившись на хлебную краюху. Евдокия специально не кормила животных перед отъездом и не доила, чтоб притомить.

В любом случае самое дорогое существо останется в целости и сохранности. Уговор ее пребывания в соседском хлеву — до Дуняшкиного возвращения. С этим все в порядке. И сердце за козу-дерезу не тревожится.

Земля. Тут намного серьезнее. Пару соток посеянной и вызревшей озимой ржи Евдокия сама успела сжать, остальное оставила на совести соседки. Можно было, конечно, и однорукого Митяя Матохина, старинного отцова дружка, попросить, чтобы скосил и смолотил, однако станется с него и своего.

Льна она не сеяла. Бульбы — с гулькин нос. Зелень на грядках возле хаты — не большой прибыток, охотники на лук да репу и без понуканий найдутся.

А что земля? Куда она денется? Пусть отдохнет. Пшеничка из года в год не родит, и нечего лишний раз сотки пахотой иссушать и потом солить. Житу — жить, если сами живы будем.

Еще взяла Дуняша в дорогу материнский рушник. Как память о матери с отцом, о родимом доме. Каждый стежок на полотне материнской рукой вышит, каждый цветочек и знак ею подобран. Не говоря уже о льняной дорожке — выпестован долгунец на влажном суглинке, выжарен на солнышке, мят, треблен дождем и ветром наперегонки с крестьянскими руками, вымочена, выбелена ткань на росном речном бережке.

Памятен этот рушник, красивая на нем работа.

Надежда-свет-Борисовна — матушка дорогая, далеко не последней вышивальщицей в Похмелевке считалась, но составлять венчальный узор для единственной дочери не рискнула: призвала на совет Анюту Сакович из Лозовиц — знатную мастерицу, товарку свою сердечную.

Разметили рисунок кумушки-подружки чин по чину. Древо жизни в орнаменте присутствует — зеленый ствол с кроной-отростками; Лада — богиня любви и красоты с букетом в каждой руке; любовные голубки, повернутые клювиками друг к дружке, и звездочки — будущие детки, на небесном своде. Есть в орнаменте и цветы-васильки, и трудолюбивые пчелки, и веселые жаворонки. А центральное место в композиции занимает Житная Баба — символ плодородия, благоденствия и здоровья будущей семьи.

Мастерицы еще поспорили, что важнее, первостатейнее: Багач в виде ржаного снопа или же Баба — примерно такого же рисунка, вышитые традиционным одинарным либо двойным, «болгарским» крестиком?

Судили-рядили, пока не сварганили свадебный рушник разноцветной ласковой гладью, предпочтя, по обоюдному согласию, верховодство в орнаменте Житной Бабы с колосьями, ибо:

Мыто жито, терто,
Да не вытерто,
Било баб, изорвано,
Да не выбито…

Утерла Евдокия материнским рушником слезинку воспоминаний и спрятала его на самое дно фанерного чемоданчика. Лучше нету дружка, чем родная матушка…

Не гулять той на свадьбе дочери, не стелить венчальный рушник под невестин каблучок…

Но расстелилась дальняя дорога льняными полотнами, просматриваясь далеко, насколько позволяли леса и взгорки вдоль железнодорожной колеи.

Что без конца и начала? Дорога. Вот и вьется она, наперегонки с ветерком, который ласкает лицо в вагонном окне, полуспущенного рамой вниз…

К общему отъезду из Климовичей Евдокия успела. Группу собравшихся работниц провожал уполномоченный Сивцов. Каждой завербованной был выдан железнодорожный билет и суточные — целая уйма денег. В колхозе столько и за полгода не получить. Там, известное дело, «палочками» расчет идет.

Группа собралась человек тридцать. В основном взрослые бабы: сороковухи-годовухи, вдовы солдатские бездетные, разведенки, семьями не обремененные.

Дуняшкиных однолеток — раз-два и обчелся. А она, по крестьянским меркам, тоже не первой свежести — за двадцатку перешагнула. Ну и что с того, что замужем не была? Неизвестно еще, когда теперешние невесты-школьницы повыйдут! После страшной войны изреженными на мужицкие головы оказались села и деревеньки, обабились сеножати… В городах тоже, видать, мужского полу не густо: сплошные платки и юбки на станциях, редко где пилотка да фуражка промелькнет, важная шляпа проплывет. Все фуфайки, калеки, вдовы с клунками да мешочники на каждом перроне. Все едет куда-то народ, провожается…

Им, вербованным, ясное дело куда — на Курилы, на Шикотан. А остальной люд куда устремляется? Отчего не сидится на одном месте? Вот стронула страну война, сорвала людей с насиженных мест — и, оказывается, не в состоянии остановиться вселенское движение, хоть мирная жизнь давненько наступила и народное хозяйство, войной порушенное, восстанавливать требуется. Рабочие руки везде нужны.

Пока девчата и женщины из группы вербованных размещались, утрясались и знакомились, не одна верста за окном пролетела. Все леса да озера с речками чередовались — Белоруссия.

Евдокия прикорнула в купе общего вагона, возле наружной стенки у стекла, а сон не шел.

Подремывала — вспоминала…

Долгие проводы — лишние слезы

В тот день, когда отец уезжал на фронт, они с матерью долго шли пешком из деревни на станцию в Осмоловичи, стараясь не отстать от пешего строя мобилизованных односельчан. Война и без того частой гребенкой прочесала мужское население окрестных населенных пунктов, оставив на последний набор самых непригодных.

Среди них оказался стрелочник Илларион Козлов. Перед войной его не забирали, потому что держала железнодорожная бронь. Во время оккупации немцы не трогали по причине непризывного возраста, хотя в свои пятьдесят стрелочник выглядел молодцом.

А весной 1943 года, сразу после освобождения села Осмоловичи и прилегавших к нему деревень Могилевщины, отставной солдат добровольцем вызвался на фронт.

Таких, как он, нестроевых, ограниченно годных и только-только достигших призывного возраста, набралось в округе человек семьдесят. Большинство — из Похмелевки. А также — из Богдановки, Дряглевки, Лозовицы, Тошны, других деревушек и выселок, окружавших головное село.

Минуя росстань за селом, многие из провожавших и провожаемых осеняли себя крестным знамением, на ходу поворачиваясь лицами к придорожному кресту.

Бабы, чьи мужья и сыновья уезжали на войну, крестились поголовно, можно сказать, полобно — неистово. Старшие мужики — через одного. Молодые новобранцы прятали глаза — комсомольцы.

На станции строй распустили. Призывники поспешили к своим, те обступили отъезжавших, образовалась толчея, постепенно распавшаяся на группы и группки. До объявления отправки пришлось ждать долго; людей несколько раз строили, делали перекличку. Потом привезли на полуторке военное обмундирование. Оказалось, что в кузове были только мотки брезентовых солдатских ремней с почерневшими от складской плесени железными пряжками.

Ремни раздали.

Отец, подпоясанный поверх пиджака брезентовой лентой зеленоватого цвета, стал похож на военного и немного чужим.

Дуняша как ухватилась детской рукой за ремень, так и не отпускала от себя отца до самой посадки в вагон-теплушку. Еле-еле удалось матери ручонку оторвать, разжав побелевшие пальчики. Чувствовало детское сердечко: последний раз живым родителя видит.

Мать, напротив, даже слезинки не уронила. Посчитала, что негоже перед разлукой и людьми плакаться, мужа в тоску вгонять. А тут состав подошел, которого полдня ждали: все уже переговорено, помянуто, наказано, к чему лишние слова? Долгие проводы — лишние слезы. Мать даже подтолкнула легонько замешкавшегося в толчее супруга: дескать, другим проходить на посадку не мешай… Долго еще будет потом себя корить за непроизвольный толчок… Все видела Дуняша, все понимала.

Писем с фронта от отца не приходило. За исключением казенного конверта в августе 1944 года.

В скупых строках извещения за подписью командира воинской части значилось, что красноармеец Илларион Козлов погиб смертью храбрых в боях под городом Пропойском в Белоруссии. Там и захоронен в братской могиле.

Совсем, значит, недалеко от родных мест батяня отъехал и на белорусской земле героическую смерть принял, решили в семье.

А еще позже вернулся с фронта в Похмелевку бывший колхозный бригадир Митяй Матохин. С культей вместо правой руки. От него и узнали: призванные мужчины из Осмоловичей и окрестностей, что отправлялись на войну в тот памятный день, были направлены в одно воинское формирование под город Пропойск, где и застряли в болотах вдоль реки Проня. Почти полтора года наши пытались прорвать здесь фашистскую оборону. Почти все полегли — осмоловичские, похмелевские, богдановские, лозовицкие, тошнинские… А от Иллариона Козлова только ремень брезентовый остался

на немецкой колючей проволоке, которую боец с другими солдатиками полез разминировать...

«Такие вот пироги с котятами», — добавил тогда Матохин.

После войны на могилку отца и мужа не съездил никто, хотя мать просила и перед своей смертью наказывала: «Езжай, Дуняха, праху родителя поклонись, сама я не доеду…» А когда было ехать? Хозяйство Евдокию держало. А вот сейчас и сама отправилась к черту на кулички, через всю страну, аж на Курилы… Географию в школе изучала, как-никак…

«Интересно, город Пропойск уже проехали? — думала Евдокия. — Наверное, он все-таки в стороне остался…»

Этот Пропойск, будь он неладен, давненько в мозгах у Евдокии свербел. С тех пор, как впервые о нем услышала…

Дело было на осмоловичской станции, в буфете. Сюда повадился приходить не только горбатый Муравчик, но и многие из окрестных жителей в надежде узнать последние новости с фронтов.

Черная чаша репродуктора, объявлявшая прибытие и убытие поездов, иногда оживала по вечерам голосом Левитана, передававшего сводки Совинформбюро.

В тот день случился завоз долгожданного бочонка с пивом — говорили, что бочонок приказал выставить населению начальник станции в честь очередной победы Красной Армии.

Как только репродуктор ожил — наступила тишина.

Левитан зачитал сообщение Совинформбюро и приказ товарища Сталина об освобождении города Мстиславля салютовать доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, форсировавшим реку Проня и прорвавшим оборону немцев на могилевском направлении, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий…

Мстиславль находился от Осмоловичей в нескольких сотнях километров, почти рядом; люди, набившиеся с перрона в буфет, кричали «ура», чокались пивными кружками, обнимались и целовались.

А ровно в 22 часа повалили все разом из помещения, как будто салют из далекой Москвы можно было отсюда увидеть.

Евдокия нечаянно подслушала разговор подвыпившего инвалида-фронтовика с путейским рабочим, одетым в замызганную спецовку.

Инвалид был на коляске, с одинокой медалью на гимнастерке, нездешним — такие разъезжали поездами по всем направлениям, пели жалостные песни под гармошку, собирали подаяния. Иногда их забирала линейная милиция, ссаживая на больших и малых станциях.

«Почему Пропойск не хотят брать?! — грозно спрашивал пьяненький инвалид у случайного собутыльника, с которым угомонили уже не один «мерзавчик». — Не знаешь, мазутная душа? А я ведаю. Я там был, почти рядом. Вот и шасси свои там оставил… А как прикажете товарищу Сталину докладывать, что вышибли, наконец, немцев из этого города? Так, мол, и так, товарищ Верховный, — Пропойск освободили?!» — «А чего раньше чухались? — спросит товарищ Сталин. — Где ваши танки, авиация, артиллерия, инженерная поддержка? Что же вы пехотным пузом на фрицевские доты и дзоты прете, солдатиков кладете ни за понюшку табаку? Сами пьянствуете, так считаете, что и в Пропойске немцы вусмерть пьяны, голыми руками их бери?» Пока не отыщут подходящее название городу — войска не двинут. Не с руки, — сделал вывод инвалид. — Опять же незадача — без согласия товарища Сталина никто переименовать не отважится… Колечко получается…»

«Выходит, из-за поганого пьяного слова отцу с товарищами-солдатами, засевшими в окопах под Пропойском, никто на помощь не идет?» — спрашивала себя Евдокия после подслушанного разговора.

Хотела было выпытать у инвалида подробности, но его уже Володомир Муравчик с младшими мальцами покатили на низенькой тележке с колесиками в село — ночевать к одинокой хроменькой Меланье. Оба калеки — два сапога пара. Слюбятся.

Пьяный инвалид размахивал, как противотанковыми гранатами, ручками-упорами с набитыми на них резиновыми набалдашниками и кричал: «За Родину! За Сталина!»

Обе ноги были ампутированы у солдата почти по пах.

Я был батальонный разведчик,
А он — писаришка штабной,
Я был за Расею ответчик,
А он спал с моею жаной.
Ах, Клава, любимая Клава,
Ты знаешь, как мне тяжело?
И как же могла ты, шалава,
Меня променять на яво?…

Такую песню распевал безногий солдат, наяривая на гармошке…

А фамилию отца, Иллариона Козлова, вместе с именами других односельчан, погибших в Великую Отечественную войну, позже выбили на постаменте-стеле, установленной посередине села возле клуба — бывшей церкви. И хотя прах красноармейца Козлова покоится в братской могиле на берегу реки Проня под городом Пропойском, мать с дочкой к деревенскому памятнику в День Победы и на Дзяды регулярно приходили. Жертвенные рушники меняли на свежие. Не забыть бы, обновить…

Россия дорожная

Поезд еще не дошел до Москвы, а Евдокия все свои задачки уже по полочкам мысленно разложила, каждому неотложному делу местечко определила. Правильно говорят, что под лежачий камень вода не течет. А вот стронулась с места — заботы разом и набежали, со всех сторон мысли-ручейки подтачивать начали.

Значит, так: к отцу она еще съездит, благо город Пропойск, а ныне Славгород, недалеко находится, туда всегда успеется. Честно говоря, давно пора.

Знакомые погосты тоже никуда не денутся за время ее отсутствия. Уж куда не следует торопиться, так на кладбище. В любом смысле.

До Москвы доехали быстро. Казалось, только-только Смоленск минули, а вот уже она, столица, Белорусским вокзалом встречает. Здесь все Белоруссию напоминает: зеленым с голубым выкрашено, а особенно узнаваемы разношерстные людишки и вокзальные разговоры. Как будто находишься на могилевском перроне или в зале ожидания в Орше. А чуть отойдешь в сторону от привокзальной площади, подашься ко входу в метро — меж толстыми высокими колоннами, как перед храмом в районном центре Климовичах, — ан нет, это тебе не деревня Похмелевка на восемь дворов да двое коров! В Москве людей, что на дубе желудей. Торопятся все, толкаются. И до чего эти московские себя уважать велят! И на улице, и в подземном сверкающем царстве, и

в разных красивых магазинах. Сорок сороков, кобыла без подков, Тишинка, Мясницкая, пустая бадья — московский я!

Но Москва! Слово-то такое! Как благовест звучит!

Жаль только, город толком не увидели: сразу нырнули в метро. А там — лестница-кудесница, бойся, ногу затянет между ступенек; подземные поезда один за другим подбегают; автоматические двери захлопнуться перед носом норовят; люди, будто муравьи, по проходам снуют; затем — грохот, ночь, огни станций, а вынесет на божий свет эскалатор — опять кругом столпотворение. Люди бегут, машины сигналят, светофоры мигают.

Хорошо хоть старшая группы — средних лет солдатка, назначенная за главную еще в Климовичах Сивцовым, не растерялась: «Стоять, кулемы! От меня ни на шаг! А сейчас — бегом!»

Гуськом, как утята за маткой, и продвигались.

На Ярославском вокзале (попробуй угадать, какой из трех?) столица иным ликом к гостье поворачивается, доселе незнакомым, разномастным. Людская круговерть воробьиной кутерьмой чирикает: гомон, гвалт, перебранка. А спросишь дорогу к кассе, то какая-нибудь бабулька — божий одуванчик либо мужичок-с-ноготок начнет словесный бисер во рту перекатывать, а круглое «о», словно сдобной баранкой рот распирает и захлопнуться ему не велит: «Подит-ко, деваха, туда-то-сюда-то, растуда-то, куда глазье-то положила и яйца в лукошке топчаш?! В окошко-то кочан засунь, там пошуми!»

Однако старшая группы и сама знала, где билеты продают, а где расписание поездов искать. Даже отдельное окошко на вокзале имеется, где на разные вопросы отвечают. Надо только в очереди достояться.

Притомились с непривычки сельские девчата, намаялись. Никуда дальше привокзальной площади не отлучались. Не могли дождаться, когда в поезд «Москва—Владивосток» взгромоздятся и тронутся уже в вечерних сумерках в даль далекую, неизвестную. Ох, правильно говорят: дорога никогда не кончается.

Вагон — плацкартный, каждому пассажиру — «по мягкому месту».

Не сразу смысл шутки дошел, которую усатый проводник вместе с комплектом сыроватого постельного белья пассажирок снабдил. Знать, ехать им — кум-королем, чаи распивать и песни горлопанить. Ведь дальняя дорога всегда на песенный лад настраивает…

Но пожилая солдатка тут же на товарок цыкнула: мол, не на колхозной вечеринке находитесь, культурно себя вести надо… Значит, молчи себе в тряпочку и в окошко глаза пяль.

В плацкартном вагоне все внове: стаканы в серебристых подстаканниках, пепельницы на стенках в проходах, расписание движения поезда в рамочке возле служебного купе проводников. И, конечно же, отдельный туалет с кусочком пахучего мыла на полочке, зеркальцем и, извините, сиденьицем, куда по нужде приспособиться можно…

Кусочек мыла махонький, это правильно. Попробуй на всю поездную ораву запасись. Только их, вербованных, почти три десятка душ!

Освоившись с туалетными железнодорожными премудростями, девушка посчитала себя вжившейся в вагонный быт основательно, оставалось только посетить буфет при ресторане, но сказали, там очень дорого, да и незачем: каждая из пассажирок везла с собой что-нибудь перекусить в дорогу. Чай разносили проводник с напарницей по первому требованию. Можно было и самостоятельно кипятка из титана набрать.

Но полезет ли кусок в горло, когда за окном — кипучая, могучая, никем не победимая поворачивается к тебе чудесным ликом, доселе незнакомым. Только успевай головой вертеть и зажмуриваться при встречных составах.

Евдокии даже завидно стало. Вот у проводников жизнь! Разъезжают, считай, бесплатно, разные города видят, разных людей. Хорошо, что сама отправиться в дорогу не побоялась. От Москвы до самых до окраин — как по радио поют — всю державу сможет увидеть!

Раньше только на школьной географической карте свой теперешний путь проследить могла. Тонкой черной ниточкой железной дороги Москва с Владивостоком связана. Кружочками и точечками редкие города обозначены. Ладошкой прикрыть расстояние на карте можно. А нынче каждый сантиметр в дневной, суточный путь оборачивается, каждая точечка в необозримый круг превращается, и кружит тебя, вращает земля, да так, что непонятно, в какую сторону вращение и наступит ли ему предел.

Оказалось, что в первые несколько суток поездного движения были переговорены с новыми знакомыми почти все насущные темы, а плацкартный вагон, куда взяла билеты старшая группы, стал привычней родной хаты в деревне или родительского двора. Будто едешь, скажем, в телеге со своей бабской колхозной бригадой после страдного сенокоса и ничему, измотанная, после вил и граблей не радуешься, скорее бы ко двору. Песни перепеты, рожи надоели, а натруженное тело жаждет покоя.

Однако не уставала поражать и удивлять дорожная великая Россия.

Ожидалось: домчится поезд до Уральских гор, перевалит становой российский хребет, а там и всего ничего останется до самого края Союза. Раз — и в дамках.

Нетушки! Именно за Уральским камнем и начинаешь воочию понимать и осознавать величие и необъятность просторов Советской страны. Это не с горки на санках съехать! Тут, впрягшись в груженый обоз, по колдобинам да по рытвинам, по оврагам и косогорам, по дремучим лесам да бескрайним степям погоняй лошадок, не взнуздывая, плечом поднаваливайся, возу подсобляя, а дотащишься ли — то не ведомо…

А представила себе Евдокия, сельская труженица, что кабы если бы весь великий путь по Сибири и тем просторам, что далее, до самых восточных морей, ехать не по железке в праздности и пустозвонстве, а на тележном резиновом ходу, а если очень повезет, — на колхозной полуторке, и сколько недель и месяцев заберет эта дорога, — то пассажирке вовсе дурно стало. Вот угораздило на прогулку!

Сколько дней провели в вагоне, четыре или пять, со счету Евдокия сбилась. Календарей и часов ведь ни у кого из попутчиц не было, а у проводников всякий раз спрашивать неловко. Время отсчитывалось и воспринималось главным образом перестуком колес да знакомыми с детских лет названиями российских городов, через которые проезжали. Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск… Ядреные имена, смачные, тугие, как яблоки крутобокие зимние! Такие же и виды на перегонах вдоль железнодорожной насыпи: суровые и дикие.

Вдоль Байкала дивчина почти день-деньской крестом в вагонном окне простояла, всматривалась в славного озера священную даль, которую и сравнивать было не с чем, разве что с настоящим морем…

Возможно, и меньше времени прошло, но разве считают часы у алтаря, когда допущен к нему коленопреклоненно?

«Славное море — священный Байкал!»

— Через час поезд прибывает на станцию города Улан-Удэ! Кому выходить, сдайте постельное белье! — объявила, пройдя по вагону, проводница.

Это название заковыристое другое в памяти всковырнуло — кок-сагыз. Намаялись в свое время колхозные бабы, корячась на прополке диковинного зелья, которое полеводов заставляли выращивать наравне с картошкой и свеклой. Еще шутка промеж деревенских ходила: «Спасибо Сталину-грузину, что дал нам гуму и резину». «Гума», по-белорусски, опять же — резина. Вот и смекай… А Митяй, бригадир Матохин, стращал: мол, не вздумайте, товарищи колхозницы, при посторонних вякать. Кок-сагыз — растение чрезвычайно важное, стратегическое. Это каучук для народной промышленности, понимать надо.

Куда уж им — темным, беспаспортным… Секли тяпками траву кок-сагыз без всякой жалости, народной промышленности урон нанося, правда, с оглядкой.

«Неужели до самого Владивостока не земля, а сплошная ссылка?» — думала Евдокия, впадая не то в дрему, не то в дивный летаргический сон, навеянный дальней дорогой.

Куда ни обрати взор, везде она — кондовая, матерая, дикая… Кажется, только прислушайся — отзовется звоном кандальным. Острожным тоскливым стоном откликнется, что песней в народе кличут… Могучая, никем не понятая сила таится за каждым поворотом! Чудо-богатыри в нательных рубахах дремлют под лесными стогами и стрехами до поры до времени, вздорной суетой леность и покой свои не нарушая. Но только потревожь их мирный сон! Все сметут. Ноги — в сапоги. Шапку — на затылок. Тулуп — в охапку. Рогатину в руку, топор за пояс. И по головам, по спинам вражьим пойдет гулять сибирская дубина. Лучше не буди!

В хабаровской глуши — другие краевиды и мысли. В Приморье и городе Владивостоке — и того пуще. Синий океан не терпелось пассажиркам увидеть: каков он?

Дальняя дорога до того утомила, что поначалу качало девчат на земле, как на волнах. Голова гудела от вагонной тягомотины, а подул свежий ветер, надвинулись высоченные сопки, навалились крики чаек, обрушился нескончаемый портовый гул — совсем голова кругом пошла. Чем ближе к портовым причалам, к воде спускались с горки, тем выше, казалось, морская гладь приподнимается.

Так вот оно какое, море-морюшко! Высокое, под самые облака…

В приемном сборном пункте, куда доехали с железнодорожного вокзала, набралось таких же, как они, вербованных, несколько сотен. Сплошное бабье царство. Каких только лиц и наречий не собралось! Хохлушки семечками плюются наперегонки с россиянками, узбечки и казашки по-своему о чем-то тараторят, белорусские тихони особнячком в кучку сбились, а ростовские блатняги — кто их только приглашал! — сразу по чужим сидорам шустрить и на водку сбрасываться. Где тут лавка, далеко ль кабак? Еле-еле вербовщики разношерстную публику на посадку собрали, когда спустя полдня ожидания пароход к пассажирскому причалу подошел и людей на борт по трапу повели. Откуда только слова песенки, которую пьяненькая зэчка-растрепа неожиданно для всех запела, Евдокии были знакомы?

«Я помню тот Ванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы…»

Вместе, что ли, с морским воздухом в душу впитались, с чужой ссыльной памятью проросли? Где эта страшная Колыма и Ванино? Говорили, вначале в Южно-Курильск пароход пойдет, а потом уже на Шикотан…

И радостно было Евдокии увидеть море, и боязно на высокой пароходной палубе находиться, и страшновато по узким крутым лесенкам в стальные недра спускаться. А попала в огромный трюм — совсем духом смутилась. Нары, как в тюрьме, в три яруса, сыро, темно, крысами воняет…

— Ничего, бабоньки, привыкайте к каторге! — подбадривали, издеваясь, самые опытные и ушлые из вербованных работниц.

— Слушайте больше этих балаболок! — успокоила пожилая ростовчанка. — Вспомнили урки нары, вот и бесятся на радостях! Всех нас одним чохом по Курильским рыбозаводам на островах развезут. А там работа как работа. Привыкнешь.

Посеешь поступок — пожнешь судьбу

В диковинку поначалу показался Евдокии морской пароход, трюмы, палубные надстройки, неприветливое море за бортом. Как и всех пассажирок, одолевала девушку морская болезнь: подташнивало от болтанки и перед глазами круги разноцветные шли. Не до песен, не до стихов было. Умаялась в сыром трюме на нет.

Уж плохо помнит, сколько времени трюмная нудистика продолжалась, как заходили в порт острова Кунашира Южно-Сахалинск, как прибыли на пустынный рейд неприветливого острова Шикотан, как, перебежав по шаткому трапу на маленький кораблик, подплывали и высаживались на деревянный береговой пирс, визжа от возбуждения и страха.

Бухта Шикотана приняла узким горлышком пароход, как будто заглотив его. Не по себе пассажирам стало. На берегу — строения безлюдного на вид поселка, прилипшего к сопкам. Туман клочьями висит. Волны грохочут. Чайки кричат.

Непривычно и одиноко показалось сельской молодке в незнакомом мире. И что хорошего ждать, если кругом несуразные горы, вершин которых из-за тумана не видать, камни один на одном, а из пригодного жилья — только низкие бараки виднеются, маяк на возвышенности и каменное здание погранпоста. И все кругом, кажется, насквозь водорослями пропахло. Как тут люди живут?

Совсем уж было упала духом белоруска, как повстречала… корову. Брела себе буренка вдоль дощатого тротуара, ловко минуя нагромождения камней, и жевала кусок картонки.

И так старательно, сосредоточенно и спокойно поглощала непривычную хозяйскому взгляду пищу, что Евдокия вмиг успокоилась. Раз коровы на острове водятся, значит, можно здесь жить!

Правда, бараки низкие, ветрами продуваемые, обитые жестью и кусками рубероида, на шалаши похожие. Но присмотрелась — дымок из труб вьется, будка вроде коптильни стоит и курится. Позже узнала: это островные аборигены красную рыбу таким образом коптят и вялят.

Рыбный комбинат под названием «Островной» удивил размерами и обилием рыбы. Была она везде, всюду и в неимоверном количестве — в огромных глубоких чанах, на длинных разделочных столах, в консервных баночках, в картонных ящиках. Рыбокомбинат специализировался на сайре, и поклонялись, казалось, этой невзрачной рыбешке серебристого цвета и люди, и окружающая природа. А чайки, усеивавшие крыши низких строений комбината несметными, оглушительно кричащими стаями, пели сайре нескончаемый гимн, далеко разносимый ветром над скудными берегами, над неприветливым серым заливом. А может быть, птицы возмущались рыбной вонью, густо висевшей в воздухе, пропитавшей каждый камешек?

Напуганная дорожными разговорами о непосильной работе на рыбозаводе, Евдокия, как ни странно, к обязанностям обработчицы привыкла быстро,

шкерить сайру научилась споро. И нос, как в первый день на комбинате, от рыбной вони уже не зажимала. Орудовала острым ножичком, как заправская разбойница. Или хирургическая сестра — в белом халате, шапочке. Не приведи господи пальчик порезать — к конвейеру с ранками на руках не допустят. Приноровилась, приспособилась. К взрослым теткам приглядывалась, к советам мастера прислушивалась.

Через неделю-другую одним махом полосовала скользкую рыбешку от хвоста до головы и тем же движением рыбью голову отсекала. И так — до отупения, до полного изнеможения и ломоты в суставах и плечах. Только в общежитейском бараке приходила в себя от усталости, не отваживаясь смотреться в маленькое зеркальце. Страшилась на себя посмотреть, чувствовала: исхудала, аки селедка, хоть руки к любой сельской работе с детства были приучены. Тут другое дело, тут — рыба морская, скользкая и противная.

Население поселка Малокурильское — немногочисленное. В большинстве — молодежь женского пола, среди которой редкие мужские физиономии белыми воронами кажутся. Жизнь кипит в основном на причале, куда подходят разгружаться рыболовные сейнеры, на рыбозаводе, работающем круглые сутки, и возле единственного продовольственного магазинчика с полупустыми полками. Во время путины делать возле лавки нечего — сухой закон. И как в любой безлюдной деревне, где каждый возмужавший подросток — кавалер, на маленьком острове любой мужчина — жених.

Вскоре подвалил к Дуняше, вечерами прогуливавшейся возле общежития, такой вот человек-пароход — с виду моряк. На голове — фуражка с «крабом», грудь в тельняшке. На губе — сигаретка прилипшая. Вид праздный, беззаботный.

— Из каких краев, красавица, пожаловала? — обратился незнакомец с бесцеремонным вопросом к зардевшейся девушке.

— Из Белоруссии, — ответила она, смутившись наглому разглядыванию.

— В Беларуси все Маруси! А тебя как звать?

— Евдокия!

— Дуняша, значит? Дунька-Дульсинея!

— Никакая я не «синея», а Евдокия, — по батюшке Илларионовна…

— Тебе до батюшки, как мне до Алеутских островов… Слыхала про такие?

— Не…

— А про Нагасаки? Тоже не..?

И моряк меха гармошки, что носил с собой, будто торбу, на боку, рывком развел и дурашливо пропел:

— Уходит капитан в далекий путь, целуя девушку из Нагасаки…

А ехидный, приставучий! «Извольте, — говорит, — мадам, принять поцелуй в ручку от альбатроса дальних морей, он скучает по женской ласке!»

Руки у обработчицы красные и в цыпках, будто жесткая терка. От воды соленой морской, от шелудивой сайры, которую тысячами шкерить за смену доводилось.

И впрямь чмокнуть тянется, усищами колючими щекочет. Срамота.

Одно достоинство — брюки, а мужик так себе: худющий, солидности никакой, взгляд разбойный, чисто жиган. Такой зарежет в темном углу и не хмыкнет. Однако росточком не вышел. Видать, из тех, которые в корне свою силу сосредоточили.

Зато, как выяснилось позже, на клавишах красиво наяривает, припевки трогательные выговаривает! Одним словом — механик.

Моя милка на крыльце,
Брови ниточкой,
Я с конфузом на лице
За калиточкой…

Волосы у кавалера черные, в кудрях-завитушках, ранняя седина на висках, а глаза — васильковые, зазывные.

В первую встречу Евдокия недолго с ним простояла, ушла.

Но не тут-то было! Повадился кавалер являться перед общежитием каждый вечер. Пошумит гармонью, чтобы кто-нибудь выглянул, — и тут же Дуняшу на выход требует. Видать, глаз на девушку положил.

«Да какой из него моряк-рыбак? Шваль портовая, пропойная! — подсказали завистницы из соседней смены. — Полгода уже бичует, дружков, что при деле и в море, у пирса высматривает да девок комбинатских щупает без разбору… Ухажер хренов!»

Все верно, но гармонь…

Остальные подробности мужских изъянов разгульного судового механика, проверенные в более близком общении, сработали в отношении избранницы по всем законам той же любовной механики: сердечко девичье вразнобой затюкало, сердечные клапана впопыхах задвигались, и живой механизм встрепенулся. Получилось, как по любимой поговорке трюмного мастера: машина любит смазку, уход и ласку.

«Ты, девка, никому не вякай, что промеж нами было. Контрогайку мне не расшплинтовывай, чревато!» — ласково, однако настойчиво втолковывал обольститель опосля бабьего стыда.

«А то! Больно надо! — горделиво бросила Евдокия, стараясь скрыть смущение и растерянность от скоротечности произошедшего: не устояла перед настырным гармонистом при первой же близости. Вроде бы не слишком нахальничал и не сильничал, а девичий рот, готовый на подмогу звать, жадными губами запечатал, коленкой пах придавил — она и обмякла.

И кроватенка панцирная за шторкой в женском бараке, где уединились вечерком в отсутствии соседок, жалобно застонала.

Правда, про контрогайку и «чревато» девушка ничего не поняла. Слов таких не знала. «Чревато», наверное, с животом связано. Тогда серьезно: обязательно чаю горячего попить или щепотку питьевой соды в рот, помогает…

А механик сразу и пропал…

Ой, глыбокія ды калодзісі,
Кароткія ключы.
Палюбіла прайдзісвета,
Рана па ваду йдучы.
Палюбіла ж, палюбіла я
Да і спадабала,
Не паслухала той праўданькі,
Што мне маці казала…

Неделя прошла, другая — нет ухажера, как в воду канул. Евдокия даже на пирс в свободную смену бегала, высматривала: авось среди рыбаков МРС — малых рыболовных сейнеров, выгружавших улов на причале, знакомая фигура промелькнет. Эти малые суда за сайрой поблизости острова ходят, через день-другой возвращаются.

Однако не нашла обольстителя ни среди рыбаков, ни среди случайно встречавшегося островного народа на причале и в поселке, который будто вымер. Все свободные руки при деле. Путина идет. Сайра.

Знать, и механику нашлось применение — не последний, оказывается, работник, сделала вывод девушка.

Но только затеплившуюся надежду отыскать гармониста в здравии и при полезном занятии поставила под сомнение барачная соседка — разбитная Нюшка. Рассказала: была намедни на укромной «блат-хате», куда заглянула по старой привычке, застала там красавца — никакой…

Дуняша побежала сломя голову по указанному адресу, нашла пропажу в сыром полубараке, приспособленном гулящим и пьющим людом под место любовных встреч и попоек. Лежал Фаддей без чувств на разбросанной солдатской кровати, на голых пружинах, в обнимку с полураздетой девицей из последней партии вербованных.

Вокруг, как после Мамаева побоища, — пустые бутылки, грязь, запустение.

Гармонь под голову приспособил. Еле сумела растолкать.

«Все пропьем, но флот не опозорим…» — только и сумел прохрипеть.

Затворила дверь и ушла тихонько. Подальше от позора, от рвущей душу картины пропащей человеческой жизни…

Наградил господь ухажером… Не только честь девичью растоптал, но собственную жизнь — коту под хвост.

«Наплевать и забыть!» — решила про себя, утаив от подружек свой первый неудачный опыт интимной близости с мужским полом. Гадко было и противно вспоминать. Как половой тряпкой, моряк доверием девушки воспользовался: подтер ею пьяную похоть и выбросил, ненужную… Припевками бесстыдство сопроводив. Мать, поди, в гробу перевернется, узнай о Дуняшкином падении. Хоть глаза от стыда завязывай рушником, ею вышитым на дочкину свадьбу…

Ой, лихо!

Не раз плакала девушка в подушку тайком от соседок.

Но только белорусочка Дуня непростая от рождения — хорошо помнила это и знала — из Осмоловских она, которые — Бонч… А эти-то и характер умеют держать, и судьбе привыкли, не жмурясь, в глаза смотреть.

В один из редких выходных дней (а работали на конвейере по восемь-двенадцать часов кряду) Евдокия отправилась в сопровождении подружки в сопки, громоздившиеся в глубине острова. Интересно было посмотреть, что там.

В лесу она с детства как в родном доме: с любой коряжкой подружиться может, с листка запросто попить, знакомой белке языком поцокать — но то когда лес свойский, белорусский, дубравный либо хвойный. А на Шикотане — дубки монгольские, недоростки; бамбук коленчатый, как в детской книжке; худосочные лиственницы и кедровый стланник — хмызняк, ветром и каменьями угнетенный; корявые березки — будто бабская доля по ветру над землей стелются-растут. А вместо привычного на родине низкорослого папоротника — шатры выше головы на трубчатых подпорках, похожие на огромный навес; какие-то фикусы, вроде тех в кадках, что на вокзале в Москве видела; лопухи — листом полстрехи можно накрыть, трава изумрудная на обманных лужках, и камни, камни… Между ними ручьи журчат. В низинах — словно в бане. Ягода растет «красника», на язык — и голубика, и черника, и клюква. Все шиворот-навыворот. И бойся, предупредили, наобум по нужде присесть: ядовитая трава-«ипритка» ужалит больнее крапивы, язва долго не заживает.

А в темной чащобе, говорили, медведи ходят, но они — подальше от морского берега, на реках и ручьях обитают, красной рыбой питаются. Может, врут?

Умаялись подружки в гору лезть. Присели на валун отдохнуть.

Евдокия родную Похмелевку вспомнила. Еще девочкой, бывало, мать по малину и орехи ее водила в дальний лес за рекой. В тех лощинах памятных густой орешник и папоротник по пояс. А запахи, в отличие от здешних, которые пополам с морскими водорослями и рыбой, — хмельной дурман и малина. Поэтому и деревню назвали Похмелевкой. Ничего общего с похмельем, которым маются пьющие люди.

Матушка так каждому цветку, лесному да луговому, каждой травке пахучей и целебной название и применение знала. А сколько их на рушниках материнской рукою вышито! Сколько узоров и орнаментов под чуткими пальцами расцвело! На льняных дорожках, столовых скатертях, рубахах и платьях.

Как живой стоит перед глазами цветок папоротника на свадебном рушнике, что на самом дне чемоданчика под кроватью в бараке преет… Цветет он раз в сто лет и только — в ночь на Ивана Купалу. А тут, на Курилах, наверное, и праздника такого не слыхивали, в купальскую ночь никто цветок счастья не ищет… С океанских щедрот, что ли, ему здесь появиться? Диковинные здесь цветы цветут, ядовитые…

А как вскарабкались девчата на самую вершину, огляделись вокруг — дух захватило от великолепия, представшего взору.

Сзади и по бокам — в клочьях белого тумана сопки, в зеленое одетые, а впереди, насколько глаз хватает, — сиреневая даль без конца и края. Полосами переливается — от нежно-голубого до темно-синего и фиолетового. Кажется, весь Тихий океан перед лицом колышется, перехлестнув через береговую линию, которая и вовсе оказалась рядом. Скалы ее изломали, приподняли и словно придвинули почти на расстояние вытянутой руки. Вот-вот вода поверх каменных изломов хлынет, брызнут в лицо соленые капли.

И ширь неимоверная, простор немереный хлынули в глаза и душу…

Опустилась девушка на колени и заплакала.

С горя? Счастья? От восхищения? От великого восторга, переполнившего все нутро, воспарившего вместе с ее душой клубящимся облаком над безбрежным простором?

Как будто сама царица небесная, Богородица, всю эту красоту неземную перед Дуняшкой, Божьей рабой, расстелила да напоказ выставила: мол, смотри, любуйся и запоминай! Когда еще доведется доехать до моря-океана! От родных осин листочком квелым оторваться и по ветру за тысячи верст до самого земного предела долететь!

Шикотаном сосватаны, путиной повенчаны

Шикотан — остров сторожевой. Если смотреть на карту, то — зеленый лоскуток в тонюсеньком пояске между Камчаткой и японским Хоккайдо.

Обработчице Евдокии с товарками до японской стороны дела нет: легкой полоской угадывается она в ясную погоду, если охота и силы остаются выйти к заливу после тяжкой смены да по мокрой гальке в раздумье побродить, путаясь ногами в чахлых водорослях, плавнике и обрывках рыбацких сетей, выброшенных волнами. Море магнитом взгляд притягивает, а все ненужное ему отторгает — доски, бревна, ящики, бутылки. Никогда раньше Евдокия не думала, что море может быть таким грязным. Издали — красота, а вблизи — прости господи! Кто ж тебя, синеокое, так замусорил, взбаламутил!

«Совесть людская, темная! Мысли злые, потаенные!» — отвечают мутные волны, нахлестывая на камни.

Или чудится?

Далеко на рейде большой корабль-плавбаза застыл серой уткой, а вокруг малые утята-сейнеры теснятся, поспешая на разгрузку. Большому кораблю — большое плаванье, а к пирсу ему не подойти, мелководье. На рейде — в самый раз. Отсюда жидкое серебро, перегружаемое на плашкоуты, потечет на рыбозаводские причалы, заполняя бездонные чаны, и течь ему дальше по резиновым конвейерным лентам через мокрые женские руки, дробящие холодные струи красными от морской соли пальцами.

Аккуратными консервными баночками оборачивается рыбья судьба в цеху готовой продукции рыбокомбината на выходе.

250 граммов консервная банка. Сорок розовых кусочков, если сайра идет мелкая, и два-три куска, если крупная. Ошибка опытной обработчицы-укладчицы — не больше пяти граммов. В картонном ящике — 48 баночек шестого номера. Две с половиной тысячи ящиков — вагон. Черпак-норма за смену. Вот и шевелись…

«Откуда взялась рыба сайра?» — первый вопрос, которым дурачат на комбинате вновь прибывших.

Ответ придумали старожилы, а поэтому спешат огорошить новичка:

— Килька и тюлька вышли замуж за евреев: родились детки — мойва и сайра!

Не смешно.

Правду знает старик Чан. Он служит на заводе сторожем, живет на Шикотане сто лет, и его желтое, тарелкой, лицо пристально смотрит на мир сквозь щелки пухлых век, чем-то похожих узким прищуром на прорези заброшенного японского дота Второй мировой войны, оставившей на шершавом лбу бетонного укрепления проплешины глубоких выбоин и пятен зеленого мхалишайника.

Евдокия видела старый дот на высоком берегу бухты, в скалах, и даже пыталась заглянуть в черноту амбразуры, зарешеченной железными прутьями, но так ничего внутри сырого каменного мешка не рассмотрела. Знать, великая война и на эти дальние края пыталась свой траурный саван набросить, да сорвали его героические советские солдаты, дали достойный отпор японским милитаристам, фашистским прихлебателям.

Евдокия — девушка грамотная, газеты читает.

Старик Чан такой же замшелый и загадочный, как чужой дот. По-русски он изъясняется плохо, местные жители считают его не то корейцем, не то японцем.

Душевной селянке Евдокии, которую выделил среди новеньких каким-то своим особым чутьем, старик рассказал, что его далекие предки происходят из вымершей народности айны, населявшей в древности Курильские острова. И самый близкий предок одинокого как перст дедушки Чана — стоящий на соседнем острове Кунашире вулкан Тятя, чья белая заснеженная вершина хорошо просматривается ясным днем с берега Шикотана.

Говорят, Тятя похож на Фудзияму, главную японскую гору, и даже считается ее родным братом, но кто ж видел эту Фудзияму, чтобы их сравнить, разве что на картинке. Иногда родственнички переговариваются дымными выбросами-сигналами, выражая нетерпение разлуки землетрясением. Но пока потряхивает не слишком часто, видать, свояки не так уж сильно друг к дружке стремятся…

Вначале Евдокия обрадовалась знакомому слову «тятя». «Отец», «батька» по-белорусски. Оказалось — абракадабра, недоразумение. Мастер смены пояснил: по-старому, на языке исчезнувшего народа айны, кунаширский

вулкан назывался Чача-нупури, что означает «старик-гора». Однако ушлые японцы, которые из-за нехватки собственной территории все тихоокеанские острова и островки под себя подмять горазды, не знают слога «ча», а только — «тя». Так и появилось у вулкана доброе русское имя Тятя.

Чудно!

Однако самое поразительное открытие обнаружила для себя любознательная белоруска опять же из баек замшелого Чана — про дивную рыбу сайру.

Блудная дочь северных морей, океанская падчерица неведомых подводных судей. Какие морские токи, какие древние проклятия заставляют рыбьи стаи собираться в несметные косяки и устремляться к острову Шикотан со всего Охотского моря и ближних океанских вод, оставляя в пути икру на плавающих водорослях? Акватория Шикотана — единственное судное место для сайры на просторах Мирового океана.

Раз в году, с августа по октябрь, продолжается паломничество, наваждение, сумасшествие. Только самый ленивый капитан, последний рыбак не забрасывает сети и тралы в шикотанских широтах, дабы набить живым серебром ненасытные трюмы. Минтай, треска, камбала, навага, терпуг, палтус, горбуша, кета — всему до поры до времени отставка. Сайра!

Великий обман совершается темными ночами, под пляску прожекторов в волнах и иллюминацию горящих ламп, свечение гирлянд, протянутых на мачтах сейнеров и траулеров. Рыбацкие кошели и тралы светятся в воде тысячами лампочек, заманивая рыбу в раскрытые пасти неводов. Завороженную мерцающим светом, обманутую синими лампами, сайру черпают тоннами и тысячами тонн, а улов, что успевает протухнуть до сдачи, безжалостно выбрасывают обратно в море. На дармовое пиршество и чревоугодие вечно голодным чайкам.

Сайрой кормится всяк кому не лень, пока суровые осенние шторма не загонят поредевшие рыбьи стада в тихие морские глубины.

Какая же неведомая сила влечет сайру из теплых океанских вод к острову Шикотан — на погибель, на поруху?

«Мечта!» — ответил старик Чан.

«Разве так бывает, чтоб от мечты гибнуть?» — удивилась расстроенная ответом Евдокия.

«Раз в пятьдесят, а то и в сто лет гора Тятя-нупури просыпается от глубокого сна и выпускает жар, накопленный в груди, — продолжил рассказ-притчу последний сын народа айны. — От тяжкого выдоха дрожит земля, кипит море, с неба падает серый пепел, а с боков стекают горящие реки».

Каждую осень, рассказывал далее старик, сайра устремляется в район заколдованного острова в надежде встретить рождение подводной зари. Заветная мечта каждой рыбешки — искупаться в огненных струях…

Дедушка Чан видел прощальную пляску несметных рыбьих стай, когда ему было всего пять лет, а его рыбацкая семья жила на острове Кунашир. После извержения вулкана Тяти — уже тогда его называли так — наступил великий мор. Сайра полчищами выбрасывалась из кипящей воды на скалы и отмели; птицы и звери издыхали от дохлой рыбы, отравленной пеплом, а рыбаки семьями покидали опустевший после извержения вулкана остров в поисках тихих заводей и нетронутых рыбных полей.

Впечатлительной девушке рассказы старого Чана в диковинку: верить, не верить? Что тут говорить — много еще в природе непостижимого! Ведь не могут, например, ученые люди найти причину, каким образом перелетные птицы, улетая в чужие края, туда и обратно находят путь? А рыбы? Попробуй угадать их подводные тропы!

А сама она, будто серебристая сайра, за какой надобностью на край света помчалась, по какой нужде на диковинный остров прикатила за тысячи верст? Киселя здесь хлебать? Как ни суди, ни ряди — обманул девчат уполномоченный Сивцов: никакие паспорта на рыбокомбинате вербованным не выдают, а наоборот, пропуска в пограничную зону требуют. Три месяца сайровая путина, а там — скатертью дорожка.

Других простаков вербовщики на путину заманивают, огромные тыщи за пахоту на рыбном комбинате сулят.

Оказалось, что солона здесь похлебка и горчит она незнакомой приправой. Даже черного хлеба, ржаного — так вприглядку, а не вприкуску, и едоки сверх меры усердные и бесцеремонные…

Также непривычно Евдокии хлебать из одного любовного корыта: при своем она достоинстве и у себя в чести. Так обольстителю своему, гармонисту беспутному, и заявила при новой встрече, когда явился — не запылился — вроде бы как с повинной, а скорее всего, отлежаться да отсидеться в теплой общаге после очередного загула.

Вот тебе, парень, бог, вот — порог. У тебя не иначе как в каждом порту жена, на каждой плавбазе — любовница. И вообще, посторонним в бабьем бараке не место!

— Это я-то посторонний? — вскинулся механик. — Да если б не мы, рыбаки, безработными бы все здесь ходили, морскую капусту глодали!

— Моряк — с печки бряк! Известно твое рыбацство — в стакане да под бабским подолом!

Гармонист было опять про любимую гайку волынку завел, дескать, чревато ее расшплинтовывать, а девушка ни в какую: не хочу обманщика видеть!

У самой же в лице опаска: а вдруг уйдет и больше не вернется. Что тогда?

Не ушел. Может, неохота было отчаливать на ночь глядя, может, надоело слоняться по чужим людям и закуткам, а только сел рядышком, обнял Дуняшу за плечи и душевно сказал:

— Некуда мне, родная, дальше плыть. Пропаду без тебя…

Может, в шутку промолвил, может, из сердца вырвалось, поди пойми.

А то! Дурное дело нехитрое. Кому уволенный механик нужен — без работы, без денег? Совсем зачахнет без женского ухода и догляда. Посмотреть на него — кожа да кости, пропился до последней копейки, отощал, поизносился… Жалко.

У хозяйки барачного угла и нитка с иголкой в запасе нашлись, и руки под то заточены, и душа отходчивая. Где надо подшила обтрепанный костюмчик ухажера, в столовую заводскую покормить сводила. Ничем ведь не обидел, гор золотых не сулил, когда на кровать тащил…

А подружкам по комнате и комендантше барака Евдокия объявила: жених.

Девчатам — дело десятое: не мешался бы только женишок в комнате, глаза б бесстыжие не пялил куда не следует. В тесноте да не в обиде. Еще и при гармони!

Комендантше тоже не впервой залетных моряков да рыбаков подселять: рассчитается, когда разбогатеет. За этими мореманами дело не заржавеет, не скупятся, если при деньгах и в фаворе.

Девушка и рада. Нашлось куда человеку голову приклонить. Днем по общежитию поможет, ночью — «валетиком» в уголке за шторкой поместятся. Лишь бы вел себя тихо, прилюдно не приставал. Как муж с женою жить теперича будут, чего уж там… Назвался груздем, так полезай в кузов.

О таком ли избраннике девушке мечталось, о такой ли жизни с любимым вдвоем грезилось в девичьих снах? Если б знала — ответила.

Свадьбу сыграли, как и положено, но без росписи, отложив законные формальности на потом — до возвращения на Большую землю. Посидели с девчатами за столом в тесной комнатушке, песни под гармонь попели. Фаддей во всех ипостасях блеснул — он и жених, и дружка, и тамада. «Горько!» кричали. Дрожжевую брагу заместо водки и вина пили, потому что сухой закон на время путины на острове был объявлен. Но свинья везде грязи найдет: понапивалась компания до поросячьего визгу благодаря Фаддеевым дружкам-бичам, прознавшим про свадьбу своего верного собутыльника и пришедшим к столу на дармовщину, но со своим напитком — денатуратом.

Зато океанскую раковину невесте принесли. Большую, завитушкой, с перламутровым нутром. Приложишь к уху — море шумит. Чем не подарок на рыбацкую свадьбу?

Невеста всех привечала, никого недобрым словом не сконфузила. Правда, свадебный рушник, матерью завещанный, доставать из чемодана при всех засовестилась.

Расстелила его уже на краю обрыва, у моря, куда пришли и уселись с мужем после того, как застолье закончилось, а Фаддеевы дружки с общежитскими девчатами разошлись по бараку веселье продолжать и женихаться.

«Краем света» называется на Шикотане редкой красоты скалистый мыс у залива — и будет долго помниться головокружительная стремнина, будет не раз приходить во снах темно-сиреневая морская громада, что развертывается под ногами внизу и — в неизвестности, попеременно вспыхивая лепестками рыбацких прожекторов, мерцая огоньками далеких сейнеров, вышедших потемну на сайровый лов, манить россыпью ярких звезд вверху и их повторением в бархатистой воде… Незабываемая, божественная панорама.

О, берег морской! Оберег! Спаси и сохрани!

Сидела б так на краю вечности ночь напролет с любым в обнимку, с материнскими вышитыми васильками на коленях…

Как оно впереди сложится?

Бабье счастье, как бабий век, коротко

Подружиться мужу с женой еще предстояло, а если верить злым языкам, то не так скоро и просто, как Евдокии казалось.

Многое о себе Фаддей рассказал: хабаровская безотцовщина, фэзэушник, с юности мотористом на траулерах Дальневосточной флотилии. Ни кола ни двора. Нынче — не у дел. Проштрафился перед судовым начальством. За что — молчок. И без слов ясно. Но перед молодой женой хорохорился.

— Темная ты, — говорил, — Дуня, глупая! Не понимаешь сути истории, хоть семилетку закончила. Владимир Ильич что завещал? Заводы — рабочим. Земля — крестьянам. А море? Оно, голубушка, — матросам! Вот и пользуйся законными правами! Бери каждый, что унести сможет, на всех хватит! Океан — свобода, воля!

Верила ему Евдокия, хотела верить, но не лежало сердце у сельской жительницы к морским просторам. Пугал ее необъятный океан, удручал своей неукротимой мощью, хоть только с берега и приходилось видеть да теплоходом из Владивостока на Курилы плыть. Считала, что земли держаться надо. В ней — сила и надежа. Кто всех кормит? Она, родимая. Пусть какая ни на есть землица — свойская, колхозная, а на твердом стоишь и не вертит тебя,

щепку над бездонным омутом… А рыба нужна людям не больше как для присмаку. Если хлеб на столе, то и стол — престол, если хлеба ни куска — то и стол доска.

Вот бы еще такие простые и очевидные истины дружку своему втолковать! Совсем земную твердь под ногами чувствовать и разуметь отвык…

Но, видать, глубоко морская вольница в натуре Фаддея плескалась и отливами-приливами о себе напоминала. Время от времени он исчезал неизвестно куда, пропадал на неделю-другую, пока верная жена его не отыскивала, сбив ноги и сердце, обнаруживая всякий раз в каком-нибудь случайном притоне, в обществе таких же, как и сам, списанных на берег забулдыг и гулящих баб.

Тащила в барак бесчувственного — одной рукой муженька, другой — гармошку.

А уложив в кровать, спешила на работу, на смену: рыбьи животы часами потрошить да головы с хвостами сечь.

Сама голову потеряла.

Ой, лихо!

Нарадзіла мяне маці
У Святую нядзелю,
Ды дала мне ліху долю,
Што нідзе не падзену…

Прошло еще некоторое время, и стала сворачиваться осень, круто замешивая свою прощальную канитель злыми ветрами, штормами.

План гнали на всех парах. Денно и нощно разделочные ленты перед глазами заводских обработчиц мельтешили, баночки с рыбным филе батареями на столах выстраивались, автоклавы, будто огромные самовары, пыхтели, доводя продукцию до нужной кондиции. Плашкоуты, груженные гофротарой, еле успевали с рейда упаковки с пустыми банками доставлять и тут же перегружать готовые консервы на отправку на сухогрузы.

Евдокия, до чего уж к тяпке и серпу сельской жизнью приученная, однако к концу каждой смены валилась с ног от усталости и недосыпа, а пальцы склизкую рукоять ножа уже не держали. Хотелось порою бросить все к лешему, но нельзя, — план, бригада, смена. Не пустые это слова. Бригадно, ватажно — в привычке и в характере с малолетства, из колхозной беспробудной тягомотины, за которую — почти ни шиша. А здесь — настоящими деньгами за каторжную работу платят, а при окончательном расчете еще больше обещают. Уже не до паспорта ей, впустую обещанного, не до жиру. Сама в тощую сайру превратилась, только бы кто голову не отсек… Одним держалась: вот закончится смена, а там муженек в бараке ожидает, встречает…

Как бы не так!

Эх, что там рассказывать — натерпелась…

Все надеялась: хоть днем с мужем порознь, зато ночами привыкнут друг к дружке; хоть на работе тяжко, зато после окончания путины — с прибытком.

Да и Фаддей вроде бы присмирел, чемоданным настроением, как и она, проникся.

«Хватит здесь, на морях, удачу ловить, нечего долю в сырых туманах искать, — настойчиво убеждала мужа молодая жена. — У меня, — поправлялась: — у нас, в Белоруссии хата совсем еще крепкая, участок приусадебный, коза. Молочком тебя отпоим, всю чахотку морскую из квелого выведем… И работа механику в колхозе найдется. Чем не жизнь?»

Фаддей не спорил, отмалчивался.

И то: дурень думкой богатеет.

А когда наступил большой шабаш, когда закончилась великая рыбная путина и стали выдавать обещанный расчет, счастье с новой силой осветило лица и души всей разношерстной бабьей ватаги, вербованной, понукаемой, заманенной посулами и обещаниями на тяжкую работу, доставленной на маленький остров Шикотан изо всех уголков огромного Советского Союза. Остров только на карте маленький, а за день, неделю его не обойдешь, да и незачем. Главное, чтоб не забыли доверчивых баб в бухгалтерии.

«Батюшки, сколько! — только и смогла вымолвить ошарашенная обработчица Евдокия после того, как пересчитала, уже в общежитии, тугую пачку новеньких сторублевок, полученных при расчете. — Тысяча, две, и еще, еще…»

Никогда в своей прежней жизни таких денег в руках не держала.

«Да уж… — ухмыльнулся Фаддей, на глаз определив величину суммы. — Утруска с усушкой по полной программе!»

Догадался хоть механик восторг женщины не омрачать. Слишком долго было объяснять жене царившую на рыбозаводах канитель с пересортицей, процентами, надбавками и вычетами. В любом случае, на Большой земле за три месяца, отведенных на сайровую путину, таких денег простому работяге не заработать. А в колхозе и подавно.

Однако надо отдать ему должное, механик в бабий кошелек на правах мужа, хоть и гражданского, залазить не стал и «обмывать» расчет не подбивал. Лучше ее понимал: намаялась, бедолажка, за свои рубли, словно последний кочегар у авральной топки.

А радости-то сколько! Счастья! Как такую дурить? Не станет он, как иногда подмывало, ноги от простушки делать… Может, и есть она — судьба?

Обратная дорога еще больше молодую пару породнила.

Доплыли теплоходом до «Владика», блюдя себя от разошедшейся на радостях и во хмелю вербованной братии, уезжавшей с острова после путины в большом веселье.

А там — поезд, дорога через всю великую страну с длинными перегонами, через сопки, тайгу, пустыни и степи, с уже знакомыми остановками в больших городах; Байкалом и Уральским камнем, за которым, считай, почти дома, и остается пару суток до Москвы, а за столицей — до Белоруссии рукой подать.

Семь счастливых дней и ночей. Они, эти сладкие денечки-ноченьки с лихвой трехмесячный каторжный труд Евдокии на рыбозаводе перекрыли. А если уж точным быть, то для каждого из молодой семьи коротким школьным уроком семейного бытия на людях обернулись, ибо купейный вагон, в котором ехали, тоже не одни — с шиком, в комфорте и при деньгах — это не вольных нравов барак на семи ветрах, пропахший рыбою и гнильем, с храпящими женщинами за бязевой шторкой, измученными тяжкой работой.

В купе соседи обходительные: «извините», «пожалуйста», в ресторан за компанию приглашали, на «вы» разговаривали…

Качает, убаюкивает вагон, будто морская волна. А был ли пропахший рыбьей вонью комбинат? Не приснился ли сумрачный Шикотан, оставшийся в памяти черной точкой за кормой уходящего в шторм теплохода?

Тогда помотало, но до Владивостокского порта дошли. Что уж нынче тужить, по — сухому?

Но закроет девушка глаза: серебристые сайры под водой к спящему вулкану плывут. И дедушка Чан на прощанье рукою машет.

Словно предостерегает — бойся, дуреха, подземного огня…

Погоня

Родная деревня встретила молодых вчерашним днем. Хата на месте, соседи те же. Эмилька на радостях козу из пуни с возвратом тащит: дескать, намаялась с заразой рогатой, забирай Манюню, никого не признает… А то!

Соседи шушукаются: без паспорта девка вернулась, зато с мужем.

Фаддей — в форменной «мичманке», грудь нараспашку в полосатой тельняшке. Моряк!

Когда свадьба? Как только в сельсовет записаться сходят. За свадьбой дело не станет — музыкант свой и музыка при нем.

Еще привезла Евдокия в Похмелевку швейную машинку, купленную на вокзале в Свердловске. Хорошая машинка, «Зингер» называется: в чехле, на деревянный чемодан похожа. По тем временам всего две машинки в деревне числились. Одну Куделинова невестка приданым из Полоцка привезла, а вторую хроменькой Меланье сердобольные родители, потряся тощей мошной, купили. Почти полкоровы за агрегат отдали. Дочери, обезноженной с детства, другого полезного занятия в жизни не светило.

Девахи «Зингерами» и стрекотали наперегонки. Считай, всю деревню обшивали.

Евдокия в мать пошла, шить, вязать с малолетства обучена. Теперь к ней заказы потекут.

Но машинка оказалась порченной, нитку не тянула, наматывала «бородой» на шпендик.

— Не шпендик, а шпендель! — поправлял Фаддей.

За малый рост острая на язык деревня сразу же окрестила его «шпендиком», и механик обижался. Он по механическому делу мастер, чем и гордился, и незнайства в словах не терпел.

«Обманул, мироед, надул, спекулянтская морда!» — убивалась Евдокия, поминая недобрым словом вокзального торгаша, всучившего ей красивую, но с изъяном машинку.

Скорый на руку Фаддей загорелся починить, но еще хуже напортачил.

— Я больше по дизелям, тут слесарь-лекальщик требуется, — оправдывался за промашку.

Зато когда механик доставал гармошку, разворачивал меха, сидя на крылечке, а то и вдоль улицы с нею вечерком прогуливался под руку со счастливой женой, тут уж все пересуды побоку. Гармонист всегда самый почитаемый гость по деревням.

На работу устраиваться Фаддей не спешил. Сходил, правда, в Осмоловичи на колхозный двор, возле зачуханного ХТЗ с председателем походил. «Я по другим дизелям, судовым, — был его ответ председателю. — У вашего трактора мощность не та…»

«Сказала бы, по какой части ты мастак, да промолчу, себе дороже обойдется!» — рассуждала по этому поводу Евдокия, не в силах забыть мужу шикотанские грешки.

Тем, что до нее было, не упрекала, но и что при ней на Шикотане случалось — не поминала.

Прошел год. Жизнь семейная стала налаживаться. За вырученные на Курилах деньги хату подремонтировали, барахлишком разжились.

Скромное свадебное застолье вскоре после приезда справили.

Как-то из далекого Владивостока пришла телеграмма (Фаддей называл ее радиограммой), из которой явствовало, что его срочно вызывает в рейс, как незаменимого механика, капитан Сомов.

— Сам капитан Сомов, что ли, кличет? — встревожилась Евдокия.

— Какой капитан, дура! Из отдела кадров пароходства депеша. Знать, запарка у них перед путиной. Людей собирают, плавсостав… Вспомнили, едрена кочерыжка! Спохватились!

— А Сомов?

— Судно так называется, «Капитан Сомов». БМРТ. Большой морозильный рыболовный траулер. Такой меньше чем на год в море не ходит. Я на нем мотористом две путины ломал…

— На целый-то год?

— Ну, на восемь месяцев, может, и меньше… А там как карта ляжет. Зашибу деньгу — и сразу домой. Заживем!

«Не пущу!» — хотела было воспротивиться молодая жена, но не смогла: острой мольбой загорелись у мужа глаза, бездонной печалью синева в них заплескалась.

Поняла: уедет и без ее согласия. Тесно морской душе в захолустной деревеньке.

Сборы были недолгими. Хозяйка только и успела, что простирнула мужу тельняшку с длинными рукавами, собрала бельишка на смену, из провизии — шмат соленого сала с чесноком. Денег на билет из оставшихся «шикотанских» с собой в дорогу дала. Чай, не близок путь, по себе знает…

Сердце не зря болело: не прошло и трех месяцев, как муженек заявился в деревню при полном параде: в заломленной на ухо фуражке-«мичманке», под сильным хмельком — видать, не просыхал всю обратную дорогу.

Без чемодана. При полном отсутствии заработанных денег.

Зато с расфуфыренной кралей под ручку.

«Знакомься, — представил, — сестра моя двоюродная, у нее в Слуцке родня. Я тебе о них, кажется, рассказывал… Пущай с нами поживет… Чего уж теперь, раз объявилась… Как снег на голову…»

Про рейс, заработок — ни слова. Скорее всего, дальше Москвы вообще никуда не выезжал.

Затюкало у Евдокии сердечко от нехорошего предчувствия, душно ей стало…

Сестра… В глаза бы ей бесстыжие плюнуть, от ворот поворот показать, однако нельзя, боязно… Фаддей, чего доброго, зашибет, он может, черт бешеный… А попробуй докажи, что не сродственница! Какую пакость надумали, какую злобу коварную затаили гулящие души, окаянные головы? Может, наедине с девахой потолковать, выведать замыслы? Авось откроется, проговорится?

Но муженек от родственницы ни на шаг: будто петух наседку, от посторонних оберегает, как кречет, над нею кружится, никого не подпускает — ни подступиться, ни выведать.

Только под ручку по деревне свояченицу водит, рассказывает да показывает; с деревенскими знакомит:

«Здесь у нас, Наталья Филимоновна, до войны (как будто жил тут и знает!) лабаз стоял, завалинка осталась…»

«А вот, знакомьтесь, кузнечных дел мастер дядька Илья: по моей, можно сказать, части специалист…»

«Вадька, соседский малец… Хошь, Вадька, пряник?»

Сопливый Вадька, наверное, хочет, только не дождется он гостинца от шалопутного Фаддея, зря тот пустой карман выворачивает — гол механик как сокол, все на кралю свою спустил еще в дороге, мать ее за ногу!

На руки перчаточки,
На ноженьки галифе,
Со мной барышня-красотка
Во малиновом лифе.
Как надену я тужурку
Да пресветлую,
Полюблю себе Машурку,
Да вот этую.

С месяц так продолжалось. Евдокия спозаранку на наряд к конторе поспешает: на прополку либо на ферму, а муженек со свояченицей, или кем там она приходится, то на гармонии пиликает день-деньской, то по-над речкой прогуливаются, окрестности осматривают. А что там искать? Поле как поле, река как река…

Люди сказывали, что видели, как миловались в стожке без стыда и совести средь бела дня. На родственные лобзанья совсем не похоже… И это при живой-то жене!

А то, уединившись в малой комнате, лясы точат, шушукаются.

Хотела уж было Евдокия, мужняя жена, допрос богохульникам со всей строгостью учинить, за волосы бесстыдницу-разлучницу оттаскать, за порог взашей гнать, но однажды, придя с работы, обнаружила, что и выговаривать слова правильные, приготовленные, некому: исчезли полюбовники оба.

И швейная машинка вместе с ними и коробкой-чехлом.

Другого в хате взять нечего: домотканые половики, что ли, выносить разом с пуховыми подушками? Козу из пуни выводить? Так скотина ж днем за огородами… Кому попадя в руки не дастся. А тут заявилась, не звана, бешеная телка, блудная да гулящая, мужика со двора свела… Как земля таких носит — расфуфыр бесстыжих? Ни дна ей, ни покрышки, прости Господи…

Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду;
Как попала я в беду,
Во слезу горючую,
Разлуку неминучую.

Долго ли, коротко ли горевала покинутая жена, как ранним утром, спустя недельку, в низенькое окошко постучали. Глянь, а там разлучница собственной персоной, рукой манит. В хату не заходит.

— Чего тебе? — стараясь не выдать охватившие волнение и страх, спросила Евдокия срывающимся голосом, выйдя на крыльцо. — А ухажера где оставила?

— Да ну его, шалопута! — ничуть не смущаясь и не пряча глаз, ответила так называемая родственница, вольная птаха. — Сама знаешь приставалу… Мое последнее выманил на опохмелку. На вот «Зингеру» свою забери, без надобности мне…

— Ой ли? — усомнилась хозяйка, принимая из рук ранней посетительницы коробку со швейной машинкой. — Вещь дорогая, в хозяйстве нужная… Или вы врозь теперь? Не думаете вместе?

— Вкривь да вкось, да не срослось! Принимай имущество, мне чужого не надо. Фаддея твоего слово было, не моя нажива. Мужика отбить могу, а добро с чужой хаты — ни в жисть… Так и знай… Того и вернулась, чтоб проклены не слала вдогонку...

— Фаддей-то где? — перебила девушку Евдокия.

— А! — безнадежно махнула рукой Наталья. — С шахтерами увязался. Из Солигорска они. В Кузбасс путь держали, бригаду собирали. Была там,

правда, одна лахудра с ними в купе. Как репей к собачьему хвосту, твой к ней прилип, не оторвать…

Не зная, ликовать ей или оскорбляться, Евдокия повела соперницу в дом. Подальше от соседских пересудов. Невзирая на обиду, что уязвлена, виду не показала.

Покормила незваную гостью с дороги. Исповедь сиротскую, подперев щеку кулачком, выслушала. Родители у Натальи развелись уже давно, вот она после интерната (при живых-то отце с матерью!) и ищет свою судьбу в поездах да на курортах. Как будто серьезные мужики за женами в дома отдыха и санатории ездят: им бы пузо на солнце погреть, покобелячить вдали от семейных забот…

Эх, девка! Не там ищешь…

Напоследок, прощаясь, всплакнули в четыре ручья над долей бабьей горемычной, над лихой женской судьбиной. Сколько таких баб, да еще в сотни раз отчаянней и горемычней, встречала Евдокия на Шикотане!

— Куда сейчас? К родичам в Слуцк? Фаддей гутарил, вроде тетка у тебя там обитается… И семья у нее…

— Поеду к тетке, авось примет, — без особого энтузиазма ответила Наталья. — Может, замуж выйду, хватит уж куролесить по свету…

— Замуж не напасть, да как бы замужем не пропасть! — назидательно сказала Евдокия, а думала совсем о другом: где ж ненаглядного нелегкая носит? Должен же появиться со дня на день, если опять в какую-нибудь карусель не заплутался… За ним не заржавеет.

А от сердца отлегло. Ничего серьезного у Фаддея с Натальей, значит, не сложилось. Пусть только явится, кобель бесхвостый! Она-то уж найдет, чем беспутного допечь! Не мытьем так катаньем…

И Фаддей вернулся. Вскоре после визита Натальи. Как и она, явился ранним утром: пришел пешком огородами со стороны узловой железнодорожной станции, что километрах в семи от деревни.

Евдокия, разбуженная стуком в окно, подхватилась с кровати. Глянь, стоит: нетрезвый, грязный, в пиджачке с чужого плеча с надорванным рукавом...

Охнув, выскочила во двор, как была, в исподнем и босиком. Даже шаль на плечи не накинула.

Батюшки, где ж его черти носили? В какую катавасию влез?

С расспросами, что да как, Евдокия лезть сразу не стала, но и Фаддей немедленный допрос упредил, выдохнув хриплым, незнакомым голосом, обдав горечью застарелого перегара:

— Баньку затопи, в баньку мне надобно…

Пока то да се, в ожидании горячей воды и пара, уставший до чертиков путник улегся передохнуть на полатях в предбаннике, куда Евдокия принесла из хаты кой-чего перекусить и полбутылки самогона. В самый ему будет раз.

Фаддей только голубыми глазами благодарно зыркнул — и уже потекло слезой, защемило жалостью женское сердце, готовое любить и прощать.

Золото, золото сердце бабье! Самоварное да суконное, мужней лаской и вниманием не избалованное…

Главное, что жив-здоров муженек непутевый; не верится, что прибился, наконец, ко двору… Целехоньким.

Только потом, когда тесная каморка баньки, расположенной на задворках, наполнилась несмелым теплом, когда первый, неокрепший и горьковатый пар окутал два белых тела — одно, не тронутое загаром, другое — в намокшей ночной сорочке — Евдокия разглядела ссадины и синяки на мужниных боках, кровоточины на сбитых коленках и костяшках пальцев, показавшиеся поначалу засохшей грязью…

— Где же тебя угораздило? — выдохнула женщина, давясь состраданием.

— Шахтеры, едри их кочерыжку! Трюмные души, мать их ети! Бабу приревновали! — начал материться Фаддей. — Нужна она была мне, как зайцу лыжи! Так, для куражу… Да если бы не проводник… Гармошку жалко…

«Про машинку даже не заикнулся! — больно укололо Евдокию. — Да что машинка, — подумала тут же. — Дома она, за сервантом стоит. А гармони действительно будет в хате недоставать. Как же теперь — без припевок, без побасенок песенных с понятным намеком и затаенным, известным лишь им двоим, жизненным смыслом? Хотя песнями сыт не будешь… Что-то кашляет муж некрасиво… Как бы внутренности ему не отбили в пьяной драке. Ишь, хорохорится, Аника-воин! А глаза и бока, как у побитой собаки. У чужих людей жалости не допросишься, если что, бьют без оглядки, насмерть…»

Веничком надо, веничком погорячей: баня правит.

Евдокия, принявшись за помывку, заодно лишний раз и мужнину татуировку разглядела, оставив на потом все досужие расспросы и разговоры.

Знатная была у Фаддея наколка. На самом что ни на есть срамном месте, которым лавку трут, — на заднице. Сколько раз, бывало, выспрашивала после того, как нагишом муженька впервые увидела: что это за черти на ляжках у него изображены? Только отмахивался…

А на мужниных, надо полагать, флотских ягодицах неизвестным умельцем наколоты два судовых кочегара в чертовом обличье: в тельняшках, с торчащими рожками, копытами и длиннющими хвостами, закрученными затейливым вензелем. Каждый из них держит в когтистых лапах по длинной кочерге направлением… в «топку». Только зашевелится человек, сделает пару шагов — чертовы работнички тут же оживают, каждый со своей стороны в «топке» шурудит… И чем быстрее ходьба, тем веселей у кочегаров работенка. И смех и грех…

— Ошибки молодости! — оправдывался перед супружницей механик.

Ради баловства, бесшабашного озорства корабельные товарищи такую картинку ему на заднем месте по пьяному делу выкололи. Глубоко въелась тушь в кожу. Вовек не свести.

А на все женины укоры Фаддей вполне резонно отвечал, дескать, не будут же ему в отделах кадров в штаны заглядывать: для знакомства трудовая книжка имеется, а еще санитарный паспорт моряка и удостоверение механика-дизелиста судовых механизмов. Классного, между прочим…

А пока я вахту держать, как в песне поется, не в силах, то поддай-ка, жена, пару и чарку налей, что-то мне нездоровится…

И действительно, стал Фаддей с этого дня заметно сдавать. Знать, не прошло бесследно падение на ходу с поезда, когда подгулявшая компания шахтеров, к которой он бесцеремонно прибился в вагоне, решила избавиться от пьяненького назойливого спутника с гармошкой. Благо, хоть не на полном ходу вытолкнули из тамбура, а на тормозном участке, где-то под Смоленском. Спутница шахтеров, перед которой Фаддей и начал без устали куражиться да бахвалиться, еще раньше от нагловатого ухажера отшатнулась. Тоже и Наталья. Вовремя сделала ноги от женатого мужика, оскорбившись столь пренебрежительным к ней отношением и неясной перспективой на неведомых угольных шахтах Кузбасса. Прихватила для сохранности «Зингер», о котором разгулявшийся Фаддей напрочь позабыл.

Оказавшись на обочине, без денег и вещей, Фаддей добирался до дому из-под Смоленска на перекладных: где товарняком, где на попутных пассажирских поездах — до первого контролера…

Все это Евдокия выпытала у мужа опосля. И лишний раз за измену не корила.

Кочегары в тельняшках, между тем, дело свое поганое делали — чах человек день ото дня…

Евдокия, тьфу-тьфу, даже взаправду считать стала, что вся причина мужниной хвори в этих самых чертях-кочегарах, без жалости терзавших его нутро. Уж как старалась, сердечная, болезному угодить, шагу лишнего ступить не давала, дабы чертов подряд не усугублять: полежи, Фаддеюшка, отдохни, не хватайся за топор и косу, незачем при квелом здоровье себя утруждать, лишние шаги по двору натаптывать, сама управлюсь, не впервой…

Но, видать, синий чертяка под кожей, что из бесовской пары за главного, с левой который, значит, стороны, еще больнее в мужнины кишки железом залазил, еще азартнее каленым крюком нутро выворачивал… А рогатый напарник, злобствуя, ему усердно помогал.

И так, и сяк женщина воображаемых бесов уговаривала, пыл их утихомиривала, льстивыми словами ублажала, дабы умерили свое кочегарное занятие, а те — ни в какую: мол, работники мы договорные, подневольные, незримым зароком к топке прикованы, ни отойти, ни передохнуть… Один лишь исход знаем: заливать адский огонь водкой с вином, тогда уж наше старательство без надобности…

«Поэтому муж мой, нареченный, и пьянствовал все годы беспробудно, жар внутрях заливал, по свету носился как угорелый, по морям по волнам?» — вопрошала в ужасе Евдокия.

«Может, так, а может, и нет. Нам доподлинно сие не ведомо. Не вольные мы, крепостные. А кто терпеливее в самом жарком пекле окажется, тот и важнее в жизни станет. И голову нам, баба, не морочь. Песенка твоего муженька давно уже спета. Неча было гармонь профундокивать, на молодух засматриваться... Ему, дураку, свыше было велено: с тобой, убогой, до самого смертного часу якшаться, холить тебя и любить. А вот оно как все вышло… Так что за горькую правду не обессудь…»

«Это ж какая я убогая?! — возмутилась Евдокия. — Господь меня не обидел: руки-ноги целы, и спереди, и сзади все есть, и лицом не страшна, и статью не хуже других…»

«Так-то оно так, — отвечал черт-кочегар, — да вот жалостливая ты чрез меру, значит — ущербная…»

«Изыди, лукавый, брешешь ты все! Собака лает — ветер разносит!»

«В языке кость — твоя злость. Наша правда!»

«Не бывает такой правды, чтоб люди от нее страдали! Неправда это!»

«Как знать…»

Наяву ли происходили разговоры с бесенятами, что в кочегарском обличье жили, блажилось ли Евдокии тревожными ночами под мужниным боком, но только не раз и не два прижималась она чутким ухом к потной груди и животу спящего Фаддея, пытаясь понять, что же у него в середке происходит: бушует, сердится огонь или на убыль пошел?

Хрипело в груди, булькало в кишках… Плохи, значит, дела…

Ой, лихо!

Даже от чарки стал отказываться: не было сил бесовское пламя гасить.

Так продолжалось ни шатко ни валко несколько годков. Все домашнее хозяйство оказалось на женских плечах: и на работу в колхозную бригаду поспевала, и по дому. У мужа только и сил хватало, что на соседской гармошке поскрипывать да, сидя на порожке, умные советы хозяйке подавать. А чужая музыка — не своя, под чужую петь-плясать не резон, да и не сладилось у музыканта совладать с инструментом: простужен баян и клавиши не в том порядке.

Евдокия и не сердилась: как-никак муж в доме, а мужики, как известно, уже только главенством жизненные силы питают, умом стараются верховодить, если на все остальное не способны… Сама свое счастье отыскала, привезла за тридевять земель и на порожек хаты усадила: любуйся — не хочу. Пенять-то не на кого. Такое ей счастье, выходит, выпало — кочегарное, хворое. Но зато — душевное, песенное. А оно, согласитесь, дорогого стоит…

Перед кончиной Фаддей посветлел лицом. Тусклый огонек, блеснувший в глазах, ожег склонившуюся над умирающим мужем Евдокию синими угольями.

— Дуняша… — прошептал чуть слышно, а никогда так раньше не называл. — Не видать мне боле синего моря и берегов заморских. Знать, не судьба. Прости. Хочу признаться, повиниться перед тобой… Сил больше нет таиться…

— Что, Федюшка, что, родненький? Да в чем же ты можешь быть виноватым? Это я, растяпа, тебя не уберегла, недоглядела…

— Молчи. Слушай. Поезжай в город Вологду. Найдешь там Фатееву Татьяну Семеновну. Если застанешь. Адрес в адресном столе дадут. Передай: так, мол, и так, убыл Фаддей Ермолаевич в кругосветное плавание. Навсегда. Кланяться велел...

— А кто ж она тебе будет? Жена? Подруга? Что ты раньше о ней не рассказывал?

— Никакая не жена... Буфетчицей у нас на судне была.. Вся жизнь моя из-за нее наперекосяк. Ты уж прости дурака. Тебя любил… Обязательно исполни…

С тем и отошел. В чем повинен перед женой, сознаться не успел …

И показался онемевшей от горя Евдокии неестественно маленьким и худеньким, как беспризорное дитя, лежал на широкой кровати впритык к коврику-картинке на бревенчатой стене. Отвернулся ото всех, будто разобиженный на весь мир, и затих, неприкаянный…

А на той картине, тканой разноцветными нитками, мчатся по зимнему тракту средь дремучего леса сани-розвальни с запряженной бешеной тройкой взмыленных коней.

Гонится за санями голодная стая матерых волков, в прыжке норовя ухватить за горла гривастых лошадок.

Выбились из сил залетные кони. Пена спадает хлопьями с измученных боков. Догорает рогожа с соломой на задниках саней. Закончились заряды в ружьях ездоков. Вокруг дремучий лес, и жилья за поворотом не угадывается. Лютая смерть близка…

Ой, лихо!

Чу! Доносятся ветром переборы далекой гармошки:

Ты прощай, моя сторонка,
И деревня при реке,
И деревня, и садок,
И пашенка, и лужок,
И коровушка Красуля,
И зазнобушка Акуля…

Аккурат такую песню Фаддей напоследок играл. Будто чувствовал близкую кончину.

Выходит, что дурь свою морскую, пьяную, наплевательскую на земные радости, этой же дурью и прикрывал до самой смерти. Имелись, значит, в бродяжьей душе и пашенка деревенская, и заветный лужок, и зазнобушка сокровенная, коль на уста попросились…

Коврик, что висел неизвестно с каких пор над кроватью, давно уже глаз намозолил. И не замечала его в хате хозяйка. Только Фаддеева кончина заставила взглянуть на вышивку другими глазами. Кажется, когда Дуняшка была еще девчонкой, перед войной, коврик с волчьей погоней отец привез гостинцем с ярмарки из райцентра. Свыклась с ним. Бывало, лежа подле картинки на топчане, все додумывала, представляя, чем может закончиться сцена лошадиной скачки. Унесутся ль сани от погони? Ускачут ли от волчьих клыков резвые лошадки? Должны ж отыскаться в подсумках ездоков запасные заряды и пули, чтобы сразить злых голодных хищников! Должна ж подоспеть экипажу подмога — с меткими ружьями, с огнем, с верными псами! Кажется, уже звенят за поворотом бубенцы многолюдного санного поезда, догоняющего одинокую тройку… Вот-вот распахнется за краем картины широкое поле, и лихая упряжка, вырвавшись на простор, унесет людей от смертельной опасности!

Чего только не рисовалось в девичьем незрелом мозгу!

Похоже, и позвали кони в дорогу. А может, это и есть наша жизнь — вечная погоня неизвестно за чем?

Никак не шла из головы Евдокии предсмертная просьба мужа: поехать в далекую неведомую Вологду и отыскать там некую буфетчицу Фатееву Татьяну, его морскую подружку. Может, задолжал ей сильно? Может, через эту женщину грех несмытый висит на нем и не даст покоя даже в могиле? Может, еще какая-нибудь тяжкая провинность связывает обоих, и требуется непременно разорвать обузу, чтоб не томила неисполненным обещанием?

«Надо ехать! Последний долг мужу отдать! — решила Евдокия.— А где эта Вологда?»

— Вона где! — махнул рукой в северную сторону дежурный по станции, куда Евдокия на досуге сбегала в разведку. — Доедешь пассажирским до Орши, там пересадка, через Смоленск на Москву, а оттуда дорога во все концы. В вологодскую сторону тоже, — пояснил дежурный.

Евдокии и не боязно: поезд куда угодно довезет.

Не удержалась, похвасталась:

— А я уже ездила далеко. На Дальний Восток!

— Да ну! — удивился дежурный по станции и внимательно посмотрел на Евдокию, сельскую жительницу. Девка не девка, молодица не молодица. На всякий случай спросил:

— А сколько ж тебе лет, красавица?

— А сколько, дяденька, дадите? — созорничала Евдокия, как бы невзначай сдергивая, поправляя на русой голове темный траурный платок, старивший ее.

— Да ты совсем еще молодая! Поди, и двадцати пяти нет?

— Я уже замужем была. Мужа недавно схоронила… — неожиданно для себя призналась Евдокия незнакомому человеку, интуитивно ожидая встретить равнодушие в чужих глазах.

— Ох, беда, — засуетился железнодорожник, не зная, что и ответить на неожиданное признание и как вести себя дальше с женщиной в трауре, окликнувшей дежурного по станции обыденным, давно набившим оскомину вопросом: как проехать и сколько стоит билет.

Но, значит, было в этой серенькой пташке что-то настоящее, сердечное. Не какая-нибудь финтифлюшка. Таким всегда стараются угодить. Хоть чаще всего простушки, вроде этой, ни о чем не просят, а только спрашивают…

— Ты приходи, дочка, когда надумаешь ехать, посажу, помогу…

— Еще чего! — беспечно махнула рукой Евдокия. — Я сама! В поезде хорошо: чаи носят, станции объявляют… Даже выходить неохота…

— Значит, на родину мужа поедешь? — высказал догадку дежурный. — А сама откуда будешь, чьих?

— Из Похмелевки. Козлова-стрелочника дочка. А по матери — из Осмоловских, Бончей.

— Козлов? А как же, знаю! Знал… Он у нас на узловой до войны работал! — обрадовался железнодорожник знакомому имени. — Жив батька-то?

— Убили на войне, — тихо ответила Евдокия, вогнав собеседника в еще большую неловкость. Как будто бы и его вина была в том, что и мужа она похоронила, и отец у нее, такой не по годам серьезной, и по всем признакам, горделивой девахи, на недавней войне погиб.

Прозвучавшее дополнение — из каких именно Осмоловских женщина родом — многое собеседнику сказало. Добрая половина населения деревни Похмелевки и более крупных Осмоловичей, где и располагался железнодорожный разъезд, носила фамилию Осмоловских, причем с почти забытой приставкой «Бонч» — это белорусско-польская ветвь. К ней еще относились Бонч-Судзиловские, Бонч-Будаговские и другие «бончи» с окончанием основной фамилии на «ий». Древняя кровь.

Другая часть жителей объединялась дальним, вода на киселе, родством, среди которых самые знатные в неизвестном прошлом фамилии звучали и писались когда-то с обязательной приставкой «Корч».

Затем по численности в округе шли Пашкевичи, Валкевичи, Саковичи…

Остальные жители значились под чисто русскими именами — Козловы, Кудловы, Матохины, Кулагины, Коротцовы, Калугины…

Земля Могилевщины, словно трехведерный чугун с наваристым борщом, какой только людской овощ в емкость свою не приняла и не переварила: здесь и могилевские, и брянские, и смоленские, и гомельские… А для приправы — польские, литовские, татарские и еще Бог знает какие коренья в общей похлебке за века взопрели… Хлебай — не хочу!

Со временем приставки, а стало быть, и двойные фамилии из обихода исчезли, ветви и побеги пересеклись, перемешались, люди в округе перероднились, стали разговаривать, общаться главным образом на белорусско-русском наречии с вкраплением редких польско-литовских выражений и слов. Однако у большинства местных жителей не искоренилась продиктованная генетической памятью убежденность в том, что Осмоловские, да еще из «Бончей», — это самые-самые: независимые, гордые, своенравные. А все остальные, в том числе выделившиеся в самостоятельную ветвь «Корчи», — людишки с бору по сосенке, конечно, не последние, но и не высшего сорта.

Исходя из этой доморощенной иерархии ценностей, негласно считалось, что у Евдокии Козловой, а по матери — Бонч-Осмоловской, имеется примесь польских кровей, о чем она сама никогда не думала и о чем никто обычно не говорил. О происхождении вспоминали в тех не слишком частых случаях, когда представители давно растворившегося в людских пластах бунтарского рода проявляли себя выходящим из привычного ряда образом, отличным от поведения и поступков среднего большинства: невесты удирали из-под венца к нищим женихам, женихи вешались и стрелялись из-за неразделенной любви к богатым избранницам, и те и другие без колебаний отправлялись за жар-птицей в неизвестные дали и края, и все вместе — отличались внутренним благородством, негромким достоинством и совестливостью.

«Гонору слишком много», — оценивали окружающие неординарных односельчан, причем произносилось данное выражение с гордостью за тех, к кому сия, вроде бы нелестная оценка относилась.

А если уж копаться в генеалогическом древе Евдокии более дотошно, то следует сказать, что ее бабка Тереза была привезена в соседнюю с Похмелевкой деревню Богдановка польской помещицей пани Богданой еще задолго до Первой мировой войны — откуда-то из-под Ченстохова. Со временем любимая служанка (поговаривали — внебрачная дочь) под фамилией пани была выдана замуж за панского кучера Кирея Козлова, из русаков. А потом отпущена на вольные хлеба в придачу с небольшим земельным наделом. После смерти старой помещицы невесть откуда взявшиеся наследники выселили Терезу с семьей из подаренной хаты, а земельный надел, на который пани Богданова не удосужилась оформить никаких дарственных бумаг, отобрали. (В тот период Тереза была беременна Илларионом, будущим Дуняшкиным отцом.) Пришлось тогда бывшей служанке, нечаянно ставшей «паненкой», наниматься вместе с мужем на смолокуренные заводы своей прежней благодетельницы, а возможно, — родной матери, перешедшие в руки многочисленных, смешанных по крови родственников покойной.

Кустарные производства по выпуску дегтя просуществовали до тех пор, пока рубщики и углежоги не вывели в округе березовые леса, а их владельцев окончательно не уничтожили войны, революция и реформы.

А фамилия осталась…

— Значит, Осмоловская? — уважительно повторил-переспросил дежурный по станции, во все глаза глядя на ожившую под непраздным вниманием молодую женщину.

— Не-а, Козлова! — специально наперекор поправила Евдокия.

Такие уж мы, Осмоловские! Которые — Бонч…

А для себя она уже твердо решила: надо ехать.

Никто Евдокию отсюда провожать не станет. Разве что деревенский дурачок Муравчик — станционный завсегдатай, притащится по своему обыкновению в такую даль к вечерним поездам.

Редкий из составов останавливается на забытом богом железнодорожном полустанке на положенные по расписанию три минутки. Проносятся поезда по путям с ветерком, озабоченные, скорые — на Костюковичи, на Могилев, на Оршу, на Смоленск.

А горбатый Муравчик, названный родителями, будто в издевку здравому смыслу, Володомиром, каждый день приходит их встречать-провожать. Заодно и тех сельчан и гостей, кто отправляется либо приезжает пассажирскими рейсами. Всех он знает и каждому из местных тоже знаком. Володомир — и все этим сказано.

Но главным образом проходят мимо Осмоловичей длиннющие товарняки, обдавая стоящих на обочине людей теплым ветром, напитанным запахами дальних дорог.

Дышит «чугунка» сгоревшим углем, мазутом, мимолетным праздником, которого всегда очень ждешь и который проносится так стремительно.

Бывало, в детстве положишь тайком от взрослых на теплый рельс пятачок — и ждешь, когда прогрохочет состав, затихнет вдали, чтобы оставить в щебенке меж промазученных шпал стесанный тяжестью чугунных колес блестящий кружок.

Спрячешь монетку в ладошку. Горячо!

Евдокия помнит те проводы, вовек их не забыть. Не ее, дальневосточные, а отцовы, военные… Станцию эту помнит: кирпичное зданьице и дощатый перрон, пристанционный буфет, считай, единственное людное место в округе, оживавшее по прибытии редких пассажирских поездов и на время еще более редкого завоза пива. Тогда уж вокруг пивного бочонка — людей невпроворот. Но бочонок быстро опорожняется, и буфетчица в отсутствии посетителей скучает, незло задирает расспросами добровольного помощника Муравчика, а чаще всего запирает дверь и уходит, вывесив захватанную табличку «Ушла в сельпо». До следующего пассажирского.

Одни хлопоты — и незнакомая Вологда впереди. Что там ее ожидает?

Вологодские кружева

Ой, балота-балотачка,
Там хадзілі сіротачкі
Да збіралі ягодачкі.
Збіралі, гаварылі:
— Ці нам сесці іх паесці,
Ці нам браці дамоў несці?
А панясём мы да крамкі,
А купім мы татку з мамкай.
Усе крамкі абхадзілі —
Татку з мамкай не купілі…

Считай, всю дорогу от Осмоловичей до Москвы и дальше — до самой Вологды донимала Евдокию эта песня. Ехала молодая вдова — не радовалась, в неизвестности предстоящего грустила. А из вагона как будто и не выходила вовсе: казалось, как села когда-то в поезд направлением на Владивосток, так и продолжают проноситься за окошком станции и полустанки, поля да леса. Разве что долгая остановка позади осталась — лет эдак на пяток. Ровно столько, сколько прожили с Фаддеем в Похмелевке. Жили-были, не тужили, да деток не нажили.

И все вроде бы оборачивалось сном, приметой в руку: кони на коврике — к дороге, позабытая песня-плач — к сиротству.

Пассажирка проводы отца еще раз вспомнила, а также своих рано умерших сестер и братика.

Дуняшка первенцем, старшей в семье была, поэтому последыши в памяти задержались. Остались бы они живы — наверное, подробности бы не сохранились, а так…

Сестричка Елизавета отдала Богу душу в пятилетнем возрасте. Любила ее очень Дуняша, нянчила, на руках носила. Лизка хоть и вредная была, плаксивая да капризная, но отходчивая и глупая. Уступи ей игрушку — она и рада-радешенька. И не столько игрушке, как тому, что уступают, потакают. От скарлатины сгорела.

С Матреной, родившейся вскоре после смерти Елизаветы, и вовсе хлопот не было. Сосет себе хлебный мякиш, в тряпицу завернутый, сопит, — няньке и горя с дитем нет.

Спала, спала девочка почти до четырехмесячного возраста — и однажды не проснулась. Чем болела — тоже неизвестно. Бог дал — Бог взял.

Братик Афанасий, Фронька — до трех лет прожил. Шалун, забияка. Батькина, Козлова порода, как говаривала мать. Этому хоть кол на голове теши, все одно поступал по-своему. У Фроньки с малолетства манера проявилась: убегать от взрослых и прятаться. Оставишь его на минутку без пригляду, а он

уже за порогом, в бурьяне или в собачьей конуре… А то и вовсе — за плетень и бежать без оглядки куда глаза глядят… Набегался на свою погибель: простудился, заболел и зачах.

Детей похоронили на кладбище под названием Грязевец в Осмоловичах. Три крестика над куцыми холмиками. На каждом кресте мать повязала поминальный рушник с вышивкой. Дуняша подбирать и вышивать на них узоры помогала. Почти каждую весну выцветшие рушники на крестах меняют на новые.

В селе имеется другое кладбище — Брывица: крестов и постаментов с фамилией Осмоловские там тоже хватает…

Есть на нем одна памятная, очень старая семейная могилка, и не одна, а целых три. Две из них — тоже детские. Третья, взрослого покойника, не чужого им, — за кладбищенской оградой.

Страшная родовая трагедия связана с этими захоронениями.

В году 1903-м, когда злые родственники выгоняли служанку Терезу из дареной хаты и отняли жалованный пани Богданой кусок земли, подрастало у нее в доме трое детей — пятилетняя дочка Мария и двое мальцов-близнецов, Андрейка и Василь. Ихний отец Кирей, как говорили очевидцы, не то умом тронулся от постигнувшего семью разорения, не то запил с горя по-черному, но только нашли его в хате с перерезанным косою горлом, бездыханным. Но прежде чем самому Богу душу отдать, порешил отец той же косой двоих несмышленых малолеток…

Тереза дочку-кровинушку уберегла, а вот малых — не сподобилась, так как была на тот час с дочерью в отлучке…

А через пять месяцев после трагедии родила еще одного сына, Иллариона — будущего Дуняшкиного отца.

Души невинных младенцев над тем проклятым местом, где стояла хата бабы Терезы, долго еще витали, пока однажды осенней грозовой ночью молния ее не спалила…

Кирея-душегуба батюшка хоронить на кладбище запретил.

За детскими могилками родственники приглядывают из поколения в поколение…

Вот как с этим жить? А приходится…

Ветры жизни не щадят житное поле, мнут его бури с дождями без разбору и всякой жалости. Но горе в ней одинокому колосу, ничейному цветку: всяк может его пригнуть.

Наверное, поэтому колос к колоску прижимается, цветок к цветку вяжется…

К чему эти мысли?

Села себе да поехала. Как и положено, с плацкартным билетом. Чем она хуже других?

Но чем ближе к конечной станции, тем тревожнее у Евдокии на сердце становилось. Стук да перестук колес на стыках — прыг-скок в груди сердечко. Даже от чая, что проводница разносила, отказываться стала. Хотя знатный был чаек, и сахар-песок завернут в красивые пакетики. Целую горсть голубеньких конвертиков припасла — сэкономила про запас, чтоб в деревне по возвращении показать.

Московской оказалась поездная бригада, а в поезде все под одну гребенку: скатерти на столиках, салфетки в вагоне-ресторане, куда Евдокия специально ходила посмотреть.

И проводницы в блузках с вязаными кружевными воротничками под темными форменными жакетами. Наверное, это и есть — знаменитые вологодские кружева.

Ну, а лица, то поди их разбери — московские, вологодские, костромские, ярославские? Румяные да круглые, с голубыми глазами и в большинстве — русоволосые. Не спутаешь — Расея.

Пассажирка и сама мастерица, поэтому рисунок платков и крой платьев подмечала. Не специально старалась, а по привычке, чтоб мысли дурные отогнать и предчувствие спугнуть.

А вдруг там, на конечной остановке ждет Дуняшу злодейка-баба Фатеева с острым топором, и придется пред стервой ответ держать: куда увезла дружка Фаддея и что с ним в похмельной белорусской деревеньке сотворила? А тот, бедолага…

Век бы соперницу не видывать, имени не знать, слово обязывает.

«Вологда — волок — волокно — иволга» — начали пересыпаться в голове Евдокии невесть откуда взявшиеся слова-горохи, вторя затихавшему говору поездных колес, замедлявших перестук с приближением к конечной станции.

Но вот звуки окончания пути пропали, взвизгнув напоследок испуганной птицей.

Приехали. Вологда.

Однако не стерва Фатеева на скучном перроне озабоченную пассажирку встречала, а местный проныра, высматривающий в редком ручейке прибывшего народа раззяв и простофиль. Видать, селянка Евдокия — в цветастом платочке на волосах, полосатом жакете поверх длинного серого платья, в носочках на загорелых лодыжках да с нелепым ридикюлем под мышкой — легкой добычей «наперсточнику» показалась, ибо зорко весь неуверенный путь незнакомки по перрону он проследил, от киоска «Горсправки» до края площади с выходом к центру. Как раз возле того места, где мухляр свои беспроигрышные «три наперстка» выставил на перевернутом ящике и народ зазывал. В этот момент Евдокия бумажку с адресом гражданки Фатеевой, прочитав, в кошелек прятала и денежными купюрами, взятыми в дорогу, шелестела.

Вот тут прощелыга перед залетной гражданкой и возник:

— Не проходите мимо своего счастья, мадам!

Евдокию будто по глазам ударило, и сердце в кулачок сжалось. Именно так ее Фаддей — земля ему пухом — женский пол задирал и «мадамами» голову морочил. Поэтому и остановилась, задержалась.

А «наперсточник», воодушевившись замешательством приезжей, за свое:

— Пан или пропал! Удача вас не покинет, мадам! Слева, справа, середина — тут и водка, и конина!

Вдове сразу вспомнились Фаддеевы прибаутки, припевки. Другой бы на ее месте невдомек, что «конина» — коньяк, а она от супружника своего покойного это давно знала. И как избавляться от назойливых приставал-лотерейщиков, гадальщиц и непрошеных помощников-жуликов, особенно дорожных, битый жизнью Фаддей, моряк и бродяга, когда-то жену научал от нечего делать во время совместного житья-бытья в деревенском захолустье.

Многое также подсмотрела и вызнала у своих дальневосточных подружек — обработчиц, среди которых встречались — оторви да брось. И блатные с гулящими, и бывшие зэчки с поселенками. Школа у них известная — базар, вокзал, тюрьма, «малина»…

Тут главное — прикинуться «валенком» и ошарашить наглеца неожиданным словом или поступком. Создать нестандартную ситуацию, как говаривал Фаддей.

— Согласная я. Один — к трем. Но играем моим камешком. Деньги — на бочку! — неожиданно для себя небрежно промолвила Евдокия и вместе с сотенной бумажкой, единственной, что имела за душой еще со старых «рыбных» запасов и которую доселе разменять не решалась, протянула игроку жемчужную бусинку — одну из немногих сохранившихся от разорванных бус, подаренных мужем на свадьбу. Из потертого материнского ридикюля достала.

У «наперсточника» глаза округлились. Как у замороженного красного окуня, попадавшегося обработчице на рыбозаводе среди сайры и селедок. Жемчужина, сразу убедился, настоящая, а «хруст» с Лениным — и подавно.

Выложил на «кон» свои — «зелененькие», «красненькие», «синенькие». Отмусолил три сотни рублей.

То ли парень от неожиданности страх потерял, то ли от предчувствия легкого «фарта» словчить поспешил, однако бусинку под колпачок засунул, а не в рукав или меж пальцев, как у мухлевщиков принято. Со своим камешком-кубиком такие фокусы перед лопухами проделывал. А тут — обмишулился.

Глазастая незнакомка наживленный наперсток приметила, как бы троицу парень ни тусовал и внимание соперницы ни запутывал.

Приподнял указанный девушкой колпачок — есть!

Евдокия денежки сразу в горсть — и за лифчик. Жемчужину туда же.

— Куда, маруха? — возопил ошарашенный неудачник. — А отыграться? Давай еще!

— Карте место! — парировала Евдокия заученной Фаддеевой фразой. — Кум, брат, сват, а деньги не родня. Не хочу больше играть. Не буду фарт ломать…

«Наперсточнику» крыть нечем. Подельщиков, с которыми в сговоре, из-за раннего часа за спиной не оказалось. Да и деваха, по всем признакам, еще та… Весьма некстати вдали милиционерская фуражка нарисовалась. Пришлось уступить и отпустить залетную с миром. И выигрышем.

— К кому, фартовая, приехала? Аль по делу? — спросил погрустневший парень у Евдокии.

— У нас по плану четыреста тонн! — ничтоже сумняшеся брякнула она в ответ, опять же — словами из песни, что муженек когда-то под гармонь напевал.

Для пущей важности произнесла, чтобы туману еще боле напустить.

Были в той Фаддеевой рыбацкой песне еще такие слова: «Моторы вздрогнули, причал поплыл, стоим мы, головы опустив, прощай, любимая, прощай, притон: у нас по плану четыреста тонн…»

Пригодилась песня, знать, не случайно вспомнилась в отчаянную минуту. Покойный муж, что ли, знак подал?

И пошла Евдокия гордо прочь. У самой поджилки от страха тряслись. Все ожидала: догонит блатняк, финкой пырнет…

Не стал догонять. Видать, сбила незнакомка с панталыку: по «фене» знает и темнит не случайно, возможно, дружки-ухари ее встречают, издали следят…

Летела Евдокия с вокзала, ног под собою не чуя.

Шальные деньги титьки жгли.

Второй раз в жизни прочувствовала опасную сладость обладания крупной денежной суммой. Впервые задохнулась при виде плитки новеньких сторублевок, когда получала расчет в бухгалтерии рыбокомбината на Шикотане. Тогда Фаддей только снисходительно ухмыльнулся: говорил, что после каждой удачной путины он впятеро и вдесятеро больше в руках держал. Видать,

поэтому и тратил заработанное без оглядки, ибо большие деньги карман ему жгли, в блуд и пьянство толкали. О том, каким соленым потом они добывались, не вспоминал…

А тут Евдокия сдуру три сотенные, как с куста, сорвала — и устыдилась, совестливая, перетрусила, корить себя стала…

Неправедные деньги — хромая судьба.

Ой, лихо!

Побыстрей бы от них избавиться!

Не могла предполагать женщина в ту минуту, как ей эти денежки еще пригодятся и какую неожиданную службу сослужат.

И еще раз удачу свою решила испытать, уже на окраинной улице Вологды, куда добралась, отыскивая указанный в бумажке адрес — Дворовая, 43.

Деревянные двухэтажные дома, чередуясь с одноэтажными рублеными бараками на этой улице, стояли за черными от времени щербатыми заборами с калитками, а вдоль заборов, обрамляя широкую, глинистую колею, — деревянные тротуары из старого бруса.

«Скрипнет доска под левой ногой — быть удаче», — загадала Евдокия, направляясь к приоткрытой калитке, за которой стоял покосившийся домишко с нужными ей цифрами, выведенными на досках притвора краской когда-то голубого цвета.

Доска крякнула испуганной уткой…

Такие, мощеные деревом тротуары, сплошь и рядом покрывали немногочисленные улицы поселка Малокурильское на Шикотане — без них весной и осенью спасу от грязи не было.

Небольшой огороженный двор показался чем-то знакомым: покосившиеся ступеньки крыльца, рассыпавшаяся поленница березовых дров, топор с топорищем на честном слове брошен рядом с худым корытом… Давненько не тревожили их хозяйские руки…

Резные наличники на окнах потрескались и покосились. Стекла давно не мыты.

Выглядел быт вологодских жильцов похожим на ее вдовий двор в Похмелевке после смерти мужа — то же сиротливое запустение.

Вот и все кружева. Вологодские.

Гостье почудилось: сейчас появится в двери согбенный Фаддей и осторожно присядет на порожек, теребя ремешок охрипшей гармошки. Только откуда ему тут взяться!

А где ж Татьяна Фатеева, по отчеству Семеновна? Ведь аккурат этот адрес в горсправке выдали.

— Есть кто в хате? — громко позвала-спросила Евдокия.

Дверь скрипнула, приоткрылась — и в образовавшейся щели показались… два синих уголька. Два цветка-василька под густой челкой цвели на детском личике девочки лет пяти, возникшей на пороге. Не могла Евдокия ошибиться: Фаддеевы глаза! Как пить дать — евонные… Редкое, присущее покойному мужу сочетание — черные волосы и голубые глаза. Значит… Неужели дочка?

— Взрослые есть в хате? — волнуясь, спросила Евдокия.

— Баушка. Лежит. Слабая как, — просто и серьезно ответила малышка, не смущаясь незнакомки. — А ты моя мамка будешь?

Ох, лучше бы не задавала сиротка больной вопрос, лучше бы сердце женское не бередила!

Не дал Евдокии боженька деток, обделил…

— Кого там нелегкая принесла? — раздался из комнаты старческий голос. — Проходь сюды. Чего надобно?

— Фатеева Татьяна Семеновна здесь проживает? Адрес горсправка дала. Можно ее видеть?

На топчане в углу комнаты лежала пожилая женщина, укрытая стеганым ватным одеялом.

Конец лета, а больную, по-видимому, знобило.

— К Таньке? — переспросила, приподнявшись, старуха. — А кто ж ее, лярву, ведает, где валандается… Второй год носа не кажет. По морям ездит все, по заморьям… Только цидульки шлет, карточки разные… Шалава. Дите забыло, чем мамка пахнет…

Из всего наобум и громким голосом сказанного гостье стало понятно: Татьяна Фатеева — дочь родной, рано умершей младшей сестры старухи. Племянница уже давно плавает на судах торгового флота не то буфетчицей, не то официанткой, а дочку, отца которой никто здесь не видел, оставила на воспитание одинокой престарелой тетке, так как детей на кораблях «не держут». Малая Танька девка послушная, хорошая, однако бабке с ней тяжко, потому что сама с батогом ходит, и пора на погост ее, немощную, тащить… Одна надежа на сына, что в Северодвинске живет, может, заберет племяшку, но и у самого двое… А ноне хозяйку через все уши продуло, и с ней не поговоришь, разве только в самое ухо шептать…

Пока шло объяснение, девочка не отпускала руку Евдокии, стараясь лишний раз заглянуть ей в лицо и получше рассмотреть: неужели все-таки чужая тетя?

Это ж надо было так дите от родной матери отвадить, засиротить! Распута!

Наконец дошла очередь и до заочного знакомства с личностью Татьяны Фатеевой — старуха выложила на стол веер фотокарточек и открыток, сложенных до того в шуфлядке.

Красивая белокурая женщина со светлыми глазами, похожая на Марлен Дитрих, с немного скуластым славянским лицом, настоящая вологодская красавица, глядела на Евдокию с черно-белых, изредка цветных фотографий, пришедших по почте на пыльную вологодскую окраину из различных портов — из Владивостока, Одессы, Сингапура, Нагасаки…

Значит, вот она какая — Фаддеева зазноба… Недурна, стерва. По такой всякий станет сохнуть, туды ее, растуды!

На снимках буфетчица почти всегда находилась с кем-то рядом. Это были люди в форменных морских фуражках, в кителях, в светлых рубахах с короткими рукавами, в легких прозрачных шляпах — на фоне портовых рейдов, больших судов, красивых ландшафтов. Ни на одной не было Фаддея. Видать, порознь их кораблям в море и в жизни довелось плыть.

Евдокия на миг представила своего мужа рядом с этой красивой чужой женщиной — и засомневалась: нет, не пара. Видать, ради каприза приблизила телом невзрачного внешне механика, осчастливила мимолетной любовью — и оттолкнула, пренебрегла. Оттого и маялся безответным чувством всю оставшуюся жизнь… Про дочку наверняка не призналась. В противном случае — не дал бы покоя, качал бы права до изнеможения. Фаддей такой!

Еще раз покойника в мыслях пожалела. Подумала о сопернице: ишь, фифа, пренебрегла… Не смогла, не успела оценить. А может — не захотела. Другой орел был на примете и в мечтах.

Евдокия не слишком удивилась, увидав на одной из фотографий очертания большого рыболовного траулера с надписью на борту «Капитан Сомов». Вот, значит, где подружился ее миленок с красавицей буфетчицей, вот на

какое судно стремился потом попасть, надеясь застать свою зазнобу. А ее-то и след давно простыл… В торговый флот перешла.

«Усё шукала ды шукала маладога адмірала…»

Чаще фотографий попадались цветные открытки с видами стран и городов и печатными надписями на незнакомых языках.

С торопливыми скупыми строками приветов на обороте.

Чужая, неизвестная жизнь глядела на Евдокию будто в насмешку.

А рядом сопела другая — синеглазая, неухоженная, Фаддеева… Значит — родная.

Пока шел разговор, пока прижималась худеньким боком Танюшка — без всякого сомнения, покойного мужа кровинка, — а полуденное солнышко перемещалось в другое замусоленное окошко, будто пытаясь рассмотреть гостью получше, Евдокия для себя все уже решила. Без дитяти она отсюда не уедет. Найдет в себе силы и сердце, чтобы ответить, кто ее настоящая мамка! Не больно девочка родной матери нужна, раз столько времени только карточками отбояривается.

С немощной теткой Евдокия договорится. Упросит, уговорит девочку отдать. Сразу видать — в обузу здесь малышка. А лучше — схитрить. Вон как на вокзале у нее ловко получилось!

Три дня гостила Евдокия у Фатеевых. Прибралась в доме, во дворе порядок навела. За старухой без всякой брезгливости ухаживала. Та уж совсем слаба оказалась. Сделает шажок по комнате, во двор сгуляет — и на боковую. Немощность. Хворь.

Куда уж ей за ребенком присматривать, воспитывать! А подрастет? А гули начнутся? Кто за былиночку ответит? Кто защитит?

Чуял, чуял сердцем Фаддей на пороге могилы вину за любовный грех…

Но раз уж ей самой детей боженька не дал, то хоть мужа покойного дочку до ума довести, на ноги поставить.

Аминь. И Господь ей судья.

Как задумала, так и вышло. Старуха сразу Евдокии поверила — будто она давнишняя знакомка Фатеевой (плавали вместе на траулерах) и будто заехала в Вологду, чтоб, как обещала, дочку и тетку подружки при случае навестить. И, мол, готова забрать девчушку на время, пока мать свою личную жизнь не устроит и не объявится.

Согласие было получено. А чтоб договор как следует закрепить, чтоб не на словах осталось, Евдокия смекнула получить у тетки расписку: дескать, не возражает та на отъезд племянницыной дочери на постоянное жительство в Могилевскую область БССР, деревню Похмелевка Климовичского района, под попечительство Козловой Евдокии Илларионовны, действительного члена колхозной артели имени Третьего Интернационала.

Старуха хотела еще дописать про стерву-племянницу и про обещанные денежные переводы, которых она не получала с осени, но Евдокия отговорила. Дескать, надо писать поручительство по форме, чтобы милиция не придралась.

На том и сошлись. Старуха вздохнула с облегчением, хотя и всплакнула.

Свой домашний адрес Евдокия записала на бумажку и за иконой в комнате при бабке спрятала. На всякий случай.

А когда, прощаясь, ловкачка выложила три сотни рублей, которые выиграла у «наперсточника», да еще остальное выгребла, оставив себе лишь на билет на обратную дорогу, то старушка совсем рассиропилась. Хватит ей и до пенсии, и до почтового перевода от племянницы, если пришлет, и к сыну съездить, когда сама поправится.

Что же Танюшка, Фаддеева дочурка?

Ходила она в последние дни ни жива ни мертва, вела себя тише воды, ниже травы.

Боялась, а вдруг ласковая тетя, так похожая на мамку, передумает и не возьмет капризную девочку с собой…

Когда вновь приобретенная дочь вместе с матерью (обе по фамилии Козловы, они же — Бонч-Осмоловские) проделывали обратный путь от Вологды до деревни Похмелевка, Танюшка не слазила с рук и колен своей новой мамы, а пешью цепко хваталась за ее подол. Как когда-то Дуняша за брезентовый отцовский ремень...

На разъезде в Осмоловичах дружную парочку первым встретил горбатый Муравчик. Он сидел на откосе и теребил в пальцах цветок ромашки. За что Евдокия горбуна всегда уважала — никогда не отрывал лепестки, а только пересчитывал. Дурачок, но понимал: живое губить — грех.

Правильное все-таки имя ему родители дали — Володомир.

Вдоль стежки — рожь с васильками. Женщина стебельков с колосьями нарвала и веночек связала. Надела на детскую головку.

— Житная Баба! — обрадовался Володомир, увязавшийся с ними.

Придумает же такое…

Дочка — ясная ночка

«Даст Бог детей — и в детях толк. А нашему роду — ждать переводу. Одно бабское семя колосится», — говаривала еще при жизни Анастасия Борисовна, Дуняшкина матушка, царство ей небесное. Четверых детей произвела она в муках на свет, пока рожать могла и мужа Иллариона Киреевича на войне не убили. Выжила из всех четверых одна Дуняша, но ее саму Бог детьми не осчастливил. С появлением в доме синеглазой Татьяны, вологодской дочери шального Фаддея, земля ему пухом, жизнь Евдокии превратилась, казалось бы, в сплошной весенний праздник. Вдовья хата изнутри осветилась, и все недостающее прежде само собою в ней сложилось и дополнилось. Хозяйка будто заново родилась: для кого жарить-парить, для кого куделю прясть, платьица с косынками кроить-вышивать, кому сказки сказывать, для кого пашенку пахать — обрело резон. В одно мгновение произошло счастливое перевоплощение: из молодой вдовы Евдокия превратилась в заботливую мать, рачительную хозяйку, мудрую бабушку. И даже козу Манюню не пришлось под копыта сцеживать или молоко соседке отдавать.

«Пей, тихоня, козье молочко, может, бодаться станешь», — в шутку приговаривала новоявленная мамаша, пичкая худенького ребенка жирным молоком, при этом искренне считая, что козье — не хуже, а то и лучше знаменитого вологодского, которое Танька в своей косолапой Вологде, скорее всего, не часто едала. При таких-то ненадежных родителях.

Щеки и бока девочки вскоре округлились.

Танька, северный цветок, со временем расцвела неброской, без крикливой яркости, красотой. Отличалась характером ровным, спокойным. Помощница матери — безотказная. Одна беда: чересчур девчонка молчаливая. Евдокия даже пугалась не по-детски серьезной задумчивости малышки: перекатывает потаенные мысли-камешки в русой головке, а что там складывается, какие хороводы и замки, никому не ведомо…

«Никак, в тихом омуте чертовка затаилась», — рассуждала приемная мать, с некоторым опасением ожидавшая всплеска наследственных черт —

шалопутного Фаддея и его отчаянной полюбовницы, Татьяниной кровной матери.

Не сразу поняла белоруска, что уродилась девочка в белую северную ночку — тиха, светла, прозрачна. А хоть раз окунешься в ее чарующую млечность — душой и помыслами очистишься. Так и Танюша: белизною светится. Всяк к ней тянется: каждый норовит льняные русые волосы погладить, за руку подержать.

Володомир, дурачок, так вовсе проходу не давал. Принесет из лугов букет цветов и пристает к соседке. Давай, мол, Дуня, Житную Бабу наряжать!

Далась ему эта Баба, чучелу гороховому… Но чтобы обидеть девочку, пальцем тронуть — ни-ни. Словно на одуванчик дул — волосенки на голове взъерошивал…

Первые годы сильно Евдокия опасалась приезда незваных вологодских гостей. Ведь адресок-то свой как-никак оставила! Все ей мерещилось: однажды вернется она с колхозного поля, а Танюши и след простыл — явится и заберет дочку шальная родительница…

Бывало, подолгу в окошко высматривала, а то и на росстань за деревню выходила: не едут ли за дочкой вояжеры?

И дождалась. На семнадцатом году Таниной жизни явились—не запылились родственнички, мать их ети…. На шикарной легковой машине. Семьей: глава семейства — толстопузый коротышка; такие же два мальчика-бутуза кровь с молоком и Фатеева, Танина мама. Пузан — не иначе как «адмирал», которого буфетчица все же добыла.

Евдокия сразу Фатееву признала, запомнив белокурую бестию по фотографии, — подсматривала за приезжими через щелку в сарае, куда спряталась от непрошеных визитеров.

Сидела Фатеева на заднем сиденье. На носу — черные солнцезащитные очки, чтоб глаза свои бесстыжие не показывать. А из машины так и не вышла.

Расспрашивал и вызнавал про Таньку муж вологодской красавицы, спохватившейся о дочери, когда та уже выросла. До сих пор — ни весточки из Вологды, ни гугу. Не искали вовсе. Да о своей ли дочери, явившись, хлопотали?! Говорили, мол, дальнюю родственницу давным-давно отдали некой Козловой на воспитание, поэтому интересуются судьбой девчонки, сделав крюк проездом на курорт в Прибалтику… Замусоленную бумажку с адресом Евдокии предъявили.

К счастью, Таню гости дома не застали. В то время она в Минске на трамвайных курсах уже училась, на побывку приезжала редко.

Принимала приезжих Эмилька, соседка. Эта кому угодно мозги затуманит, та еще темнильщица… Евдокия ей загодя наказала: начнут чужие про Таньку спрашивать — молчок! Мол, знать не знаю, ведать не ведаю…

Эмилия, как и учили, заволынила чужакам невесть что — уши у них завяли. Про погоду, про урожай, про то да се. Потом соседка плевалась от досады и от коньяка, каким толстопузый, вызывая на откровенность, пытался женщину и подошедших деревенских мужиков ублажить.

Дядька Илья — кузнец и старик Матохин попали под раздачу и целую бутылку выжлуктили на дармовщину. Носы потом воротили — клопами коньяк вонял… Им-то, пьянчугам, привередничать! Но тоже лишнего не сболтнули. Мол, уехала девушка. В большом городе живет и учится.

Единственный из всех — горбатый Муравчик — чуть было обедню не испортил, появившись на глаза гостям к шапочному разбору. Дурачок сразу догадался, кто есть кто, и начал приставать к гостье с дурацкой просьбой: выйти из салона машины и поиграть с Володомиром в игру.

— Во что играть-то будем? В карты? — спросила, по-вологодски «окая», раздосадованная женщина. Сидеть безвылазно в машине, пока шли переговоры, ей до чертиков надоело.

— У наперсткі!

— На деньги? Деньги, значит, любишь? Возьми вот рупь, купи себе что-нибудь, — протянула Фатеева горбуну рублевку.

— Не! — уперся Муравчик. — У тры наперсткі са мной згуляй. На дзетак!

Фатеева побледнела, забилась в угол салона. Муж гостьи, увидев испуг жены, силой оттеснил приставалу от машины, так и не поняв, о какой игре и каких детках бормотал деревенский дурачок. Она тоже ничего не сообразила, только до смерти испугалась. Володомир своим убогим умишком вобрал соседские пересуды о том, как Евдокия в Вологду ездила, как девчонку-сиротку в «три наперстка» у цыган на вокзале выиграла…

Вот и выдал «на-гора».

В деревне что попадя болтали по поводу удочерения Евдокией Козловой чужой девочки: на чужой роток не накинешь платок. Однако взаправдашную историю знали немногие.

Убыли гости ни с чем, быстро интерес потеряв и, как поняла Евдокия, — с облегчением.

А приемная мать долго еще на образа в красном углу крестилась и прощение у Всевышнего за обман вымаливала.

«Коль отдали девочку без слез, обходились столько лет без печали, то и впредь без дочери проживут! — убеждала себя женщина. — Она давно для них ломоть отрезанный…»

Была бы Евдокия на месте Фатеевой, хату недругам спалила бы, из-под земли бы кровинушку достала… Значит, не слишком нуждалась родная мать в Танюшке, больше для собственного успокоения приехала… А может быть, до сих пор перед мужем таилась, что дочку на стороне имеет? Поди разберись… Хто на свеце самы гаротны? Жанчына…

Зато уж Танюшку, ноченьку свою белую северную, Евдокия так ласкала, так ублажала по ее приезде, что та даже расстроилась от переизбытка материнского внимания:

— Нездоровится вам, мама? Уж не прощаться ли со мною надумали?

— Что ты, голубушка, что ты… Это я так. Соскучилась… Еще на свадьбе твоей погуляем!

Белокурая молчунья росла как на дрожжах. Восьмилетку в Осмоловичах закончила, у матери под боком. А после школы, по материнскому совету, подалась в Климовичи: уж больно хотелось матери видеть дочку проводницей пассажирских вагонов… Не с тяпкой же на поле и не колхозным быкам хвосты крутить…

Однако стать проводницей Танюше не удалось. Туда, как выяснилось, большой конкурс образовался. В управлении железнодорожного узла посоветовали отправляться в Минск, где происходил большой набор трамвайных вагоновожатых и путевых специалистов. Дали девочке направление как внучке бывшего стрелочника, погибшего на войне. А главное — общежитие трамвайный парк иногородним выделял. Не будет девка по чужим углам мыкаться.

Что такое общежитие, Евдокия хорошо знала по Шикотану. Поэтому сама, после того как Татьяну на курсы в Минск вызвали, съездила поглядеть, как она там устроилась.

Минск город большой, многое после войны отстроили. Посидела мать в тесной комнатушке — с четырьмя солдатскими кроватями и девичьими ковриками на стенах. Жить можно. Главное — чтобы дружно. Соседки по комнате ненамного старше Татьяны. Такие же наивные и глупые. Деревенщина.

Учеба шла, по словам дочери, хорошо. А где большой город — там и соблазны, где людей уйма — там и знакомства. Как без них?

«Лишь бы у Танюшки все хорошо сложилось, — рассуждала Евдокия, возвратившись в деревню. — И что девчонке терять? Школу закончила. Паспорт на руках. Профессия, считай, в кармане. Все пути-дорожки в жизни открыты. Только рот варежкой не разевай».

О наступившем одиночестве Евдокия не думала. Заботилась о другом: как кабанчика вырастить, чтоб дочке лишний кусок приготовить и в город передать, как огород вспахать, в колхоз на работу поспеть.

— Прокачу тебя, мама, на трамвае бесплатно, когда учебу закончу! Хоть день-деньской ездить по Минску со мной будешь! — говорила Татьяна.

И прокатила, как и обещала. С ветерком.

Катька-три наперстка

Уродилась девочка Катя всем Катькам — Екатерина, всем Екатеринам — царица. Екатеринистей не сыскать. Не ребенок, а куколка. Ангел.

Разве только грудью не кормила новорожденную бабушка Евдокия, не зная поначалу, радоваться или печалиться семейному пополнению.

Дочка любимая, как и обещала, матушку прокатила с ветерком, явившись однажды с ношей в подоле. «Спасайте, мама, — меня с ребенком из общежития выгоняют!»

Куда уж тут денешься.

Про подол для красного словца сказано, но Танька родила, будучи не замужем, и где искать того молодца, который ее обрюхатил, никому не говорила. Даже матери не признавалась.

«Зноў у наперсткі дзіцёнка выйгралі!» — трепал языком по деревне вездесущий Муравчик, у которого с возрастом полностью шарики за ролики заехали. Как будто до сих пор горбун не понимал, откуда берутся дети…

Но прозвище к девочке прилипло, не соскрести — «Катька-три наперстка».

Она только в мать Татьяну белым телом и лицом пошла, а характером и повадками — вылитый Фаддей, лоботряс и отчаюга. Аукнулась бесья кровь!

Неизвестный Катькин отец, о котором поначалу говорили: «поматросил да бросил», вскорости объявился и даже замуж Татьяну якобы звал, но та уперлась, как бабкина коза: ни в какую расписываться с ним не пожелала. Работал тот парень в одном с Татьяной трамвайном депо слесарем, был женат, однако с женою не жил.

«На чужом несчастье своего счастья не построишь», — решила обиженная им трамвайщица и отвезла ребенка в деревню к своей приемной матери. Как вынашивала дочь, как рожала, никому не рассказывала. Говорила только, что в казенном роддоме появилась на свет Екатерина, при врачах-акушерах, так что все со здоровьем у нее в порядке, о чем имеется медицинская справка.

Записали девочку на фамилию Осмоловская. По бабушке. Отчество мать дала тоже не отцовское — Илларионовна, в честь погибшего прадеда. Роднее родни не сыскать.

Это обстоятельство — полное пренебрежение кровным отцом — Катькин родитель сильно переживал, Татьяне проходу не давал. Со своей женой, в итоге, развелся, запил горькую, и из депо выгнали за пьянку. Татьяна его со временем простила, к себе приняла. Так они и зажили вдвоем, не расписываясь, получив крохотную комнатку в Минске. А девочка осталась на попечении бабки, которая нянчить внучку обузой не посчитала, всемерно гордилась малышкой и всякому встречному и поперечному ее красотой и способностями бахвалиться не уставала. Дескать, Катька у нее растет такая-этакая, хоть в попку ее без устали целуй, и впрямь она сахарная. Что бабушка с удовольствием и делала, при этом повторяла: «Малые детки — малые бедки, а большие сами себе дадут рады!» «Дать рады» означает на местном наречии «справиться».

Вот такие они, Осмоловские, особенно если с приставкой «Бонч»!

Катька, оторванная от материнской груди, обходилась молоком козьим, по мамкиной титьке не скучала, а выпроставшись из пеленок, сразу начала самостоятельно ползать, причем — задним ходом вперед. До годика встала на ножки, передвигалась не иначе как вприпрыжку, курам во дворе проходу не давала, а росла так быстро, что платья для нее бабушка не успевала перелицовывать. К матери не просилась, хотя, даже отвыкнув, ее не чуралась и искренне считала, что у нее две мамки — та, что рядом, баба Дуня, и та, которая живет в большом городе и изредка навещает, нещадно пичкая девочку приторными конфетами «подушечки» в сахаре. А их, конфеты, Катька на дух не переносила, предпочитая бульбу, сало, квашеную капусту и тертый хрен, заправленный соком красной свеклы.

Начальную и восьмилетнюю школу в Осмоловичах девочка закончила играючи.

«Расти большой, да не будь лапшой; расти верстой, да не будь простой», — поучала внучку бабушка вроде бы понарошку, но оглянуться не успела, как стала она совсем взрослой и в Минск к матери на постоянное жительство намылилась.

Татьяна к этому времени со своим слесарем окончательно сошлась (в который-то раз!), обещанное начальством расширение жилплощади ожидала, дочку обещала прописать на новой квартире, которую таки получила из двух комнат в «хрущевке». По сравнению с трамвайным общежитием это были хоромы. Но Катерина у матери не задержалась, поступив на учебу в торговое училище, обеспечившее своих учащихся кое-каким жильем. Совместно с матерью жизнь не сложилось, ибо муж-слесарь оказался ханыгой еще тем — регулярно попивал и Татьяну тайком от соседей поколачивал. Мать и сама вдогонку за сожителем пристрастилась к вину, из вагоновожатых ушла и работала дворничихой в том же дворе, где и жили. «Пироги с котятами» получились, как говаривал однорукий Матохин, жирные и даже чересчур.

Татьяна, выучившись на продавщицу и проторчав пару лет за прилавком «Промтоваров» на окраине Минска, плюнула с высокой горки на все эти товары, а главным образом — на заведующего, регулярно «рисовавшего» продавщицам недостачу и настойчиво предлагавшего покрывать ее «натурой». Кстати, уволилась Катерина из госторговли после доверительного разговора с бабулей, которую не забывала навещать и с мнением которой очень считалась.

Она ушла работать к кооператорам на Комаровский рынок, благо частная торговля к тому времени набирала размах.

В стране в это время происходило нечто под названием «перестройка», а вскоре неожиданно для всего народа развалился «великий и могучий» Советский Союз.

Внешне жизнь в Похмелевке оставалась прежней. Колхоз, когда-то переименованный из «имени Третьего Интернационала» в «имени Молотова», а затем — в колхоз XXII партсъезда, — стал называться СПК, сельскохозяйственно-производственным кооперативом; похмелевскую полеводческую бригаду упразднили, ибо деревня обезлюдела; за хлебом теперь ездили в район, так как прежние автолавки, привозившие съестное, напрочь исчезли. Неизменными остались росстань за деревней с перекошенным крестом да перепутье с тремя дорогами, пустынными и скучными. Когда-никогда городская машина пропылит по большаку — знать, вспомнили чьи-то родственники одиноких похмелевских стариков, коротавших век в захолустье.

Теперь Евдокия частенько от нечего делать сидела у окошка и думала, что вся ее жизнь пролетела как будто и долгим, а в сущности скоротечным днем — в хлопотах, в беготне. Оглянуться не успела, как солнце за горушку скатилось и тягостный вечер подкрался…

«Шила милому кисет, вышла — рукавица, меня милый похвалил, что я мастерица…»

Кричал под вечер чибис в полях за огородами: «Чьи вы? Чьи вы?»

«Не канючь, каня, не жалоби нас… Без тебя тошно…» — ворчала в ответ Евдокия.

Думалось ей: сколько плетень меж соседями ни переставляй — все одно двор топтать суждено общий…

Думалось: чем политикам копья ломать, лучше бы о землице подумали, чтоб пашню на овражье не распустить… А коль житу есть где родить, то и сами живы будем…

Порой задремывала среди дня — легко скользили набегавшие сны.

Речка за околицей грезилась. Деревня. Росстань с крестом. Хлебное поле с васильками. И лица, лица — всех, кого в жизни встречала, любила и помнила.

Реже снились далекие места: Москва, Вологда, российские просторы, остров Шикотан. Все такое далекое, как в тумане…

Вдруг решила: вышить на небольшом полотне родную деревню — так, чтобы на многие годы сохранилась память о ней.

Быть будущей картине большой и просторной.

Мы предполагаем, а Господь располагает. Не случайно соседская кошка в тот день, явившись в чужой двор, старательно намывалась: терла и терла лапой за ушком и языком вылизывалась. Верный признак — к гостям.

Так и вышло. К вечеру Катька прикатила с поклажей под мышкой:

— Работу тебе, бабулька, привезла… Доставай «Зингер»!

Евдокия для виду поворчала, а сама рада-радешенька редкому появлению дорогой гостьи и ее пустяшному заданию. Для любимой внучки любая ноша в охотку. Своя может и подождать, не к спеху. Да и делов только взяться — пришить бирки к коротеньким цветным маечкам, привезенным Катькой из последней поездки в Турцию.

«Челночница» она, внучка. Приперла заграничного барахла на продажу воз и малую тележку, как только в чемодан упаковала! Маечки называются «топы», куцые, до пупа взрослой девушке не достанут, но, по словам Катьки, модницы берут их нарасхват. Однако товар без фирменных нашивок, так как — контрабанда, чтоб подешевле.

Пока старушка швейную машинку настраивала, пробные стежки на лоскуте строчила, примеряясь, внучка без умолку болтала.

О том, как в Стамбул ездила, какие в Турции сумасшедшие рынки и каких там товаров видано-немеряно; как российским «челнокам» бракованные и недоделанные вещи хитрые торгаши-турки под шумок оптом всучивают. А ярлыков и фирменных значков самых известнейших мировых фирм на турецком базаре каких угодно можно за копейки купить на любой вкус. Вот и привезла на выбор: «Версачи», «Амани», «Гучи», «Вранглер», «Леви»…

«Что же с людьми происходит? — возмущалась про себя Евдокия. — Прясть, ткать, рубашки с платьями шить разучились. Когда это было видано, чтобы за маечками копеечными в турецкие земли ездили, ведь не шелка же с бархатами, а трикотаж дешевенький! А крой-то, крой! Проще и не бывает. Одна заманка — бирка с иностранными словами и буква «V» спереди. На кой ляд она?»

Катька, хитрая бестия, решила к бабушке подластиться, чтобы трудовой пыл не охлаждать:

— Хочешь, бабуль, я тебе электрическую машинку подарю со специальной программой? Наберешь код — она сама любой рисунок вышьет в минуту. Хоть вензель, хоть цветок. Не понадобится часами над шитьем корпеть.

— Как это так? — не поверила Евдокия. — А руки на что, голова?

Мастерица давно уже знала про разные машинные приставки — для обметки петель, пришивания пуговиц. Имелись и к ее «Зингеру» такие, да потерялись. И разве сможет железо живые пальцы заменить?

Старушка помрачнела еще больше. А внучка уже и не рада затеянному разговору. Не в строку лыко получилось.

Стежка короткая, туда-сюда-обратно — думка женская летит дальше.

Внучка собирается в следующий раз за дубленками в Турцию ехать. Дожились! И откуда? С жаркого юга!

— Кать! — незлобно задирает бабушка внучку. — Ты уж на мою долю не забудь турецкий тулупчик прихватить! Мой шушун совсем износился. А?

Екатерина, уловив подвох, предпочла на подковырку не реагировать, пропустила мнимую просьбу поверх ушей. Щас! Станет бабка импортную дубленку носить! Ох, уж эта бабуля! Никогда за словом в карман не полезет и мнения своего при себе не придержит. Бульбашка упартая! Лучше ей не перечить…

Смотрит внучка на бабушку, склоненную над шитьем, за руками старческими наблюдает. Ни суеты в ее движениях, ни поспешности, лишь надежность и предчувствие маленького чуда. Того самого, что цветет на рушниках и домашних вышивках, глаз тешит и душу радует. Даже совестно за мелочную работу, которую ей подсунула из-за вечной своей спешки и дорожных таможенных заморочек. Стоило ли после всего этого еще и старушку напрягать?

Евдокия, напротив, себя за въедливость корит. Кто, если не она, кровинушке подсобит? На кого деваха сможет наверняка положиться, коль родные мать с отцом непутевые, а так называемый напарник и женишок — фрукт еще тот!

Ближе к вечеру глаза у Евдокии стали слезиться. Наверное, соринка попала. Или свет от плафона слишком яркий?

Нитка шелковая — черная, тонкая…

Стежок мелкий, неразборчивый…

Не от них ли виды мерещатся? Чудится: то ли трамвай с ее Татьяной за кондуктора по чужому городу круги нарезает, не зная, куда приткнуться, то ли поездом, где Катька сидит, под гору летит, и вагоны вот-вот без удержу с откоса покатятся…

Решили отложить оставшееся шитье на завтра. Целый ворох уже наталахали.

Улеглись спать после трудов праведных (работала в основном бабушка, Катька — на подхвате) в большой комнате, считай, рядышком — старая и молодая. Молодая — любовником не балованная, мужем не битая, детишками не заморенная — все еще впереди. Жить ей да жить.

Утро вечера мудренее.

Чуть свет — а подле хаты легковушка фурчит, сигналит. Это Катькин ухажер прикатил, соскучился.

Оказывается, новая поездка намечается и Катьке в дорогу собираться надо. Не дождался приезда напарницы, деловой, самолично за нею из города прибыл. Объявил: в Москву за товаром поедут.

— На Черкизовский? — уточнила внучка.

Туда, выяснилось из ответа.

Побросали барахло в машину и уехали, даже не перекусив на дорожку.

Словно ветра шквал пролетел над деревенским двором и умчался за околицу, затихнув за кромкой дальнего поля.

Старушка опять осталась в одиночестве.

Пол мести после вчерашнего ударничества и поспешных сборов сразу не стала — дурная примета.

События выстроились без понуканий в непроизвольную очередность, как будто бы ничего особенного не произошло: и внучка не гостила, и неприятные разговоры не велись, а все по-старому, с мыслями наедине.

Но беспокойство Евдокию не покидало.

Сердце ранимое, бабье! Разве можно ему приказать: не боли, мол, не трепыхайся понапрасну! Болит — значит, живет, чувствует…

Да что-то незнакомо покалывать сердечко начало…

День прошел, другой закатился, поторапливая следующий. Так и полетели они после внучкиного отъезда — мелкими пташками.

Одна закавыка — не ладилась у Евдокии работа, в том числе — заветная.

Примется за вышивку, а пальцы млеют, иголку не держат. Тогда, намаявшись попусту, бабушка подолгу лежит с открытыми глазами на топчане в потемках.

Смежила усталость отяжелевшие веки, и приснилась Евдокии сказка.

…Лежит она на росстани подле подорожного креста на том самом месте, где захоронена странница Агафья. Слышит: конский топот внизу. Скачет под землей конница несметная и такие слова кто-то говорит: лежит, мол, братцы, раба божья к земле брюхом, к нашему следу ухом и горюет, как ей прошедшую жизнь понять и в ней окончательно разобраться, так ли жила-тужила, правильно ли себя меж людей ставила? Хочет от нас науке учиться, про людей и землю понять. А какие мы учителя? Такой же народ темный, только подземельный. Одна судьба — по чужой указке жить, лямку тянуть, кому сколько отмеряно коротать, смерть, благословившись, принять, так ничего и не понять. Как и мы, явилась она на свет неразумной и в темноту ушла. Чего ей еще неймется?

Хочется Евдокии последнее «прости» дочери с внучкой передать, что-то очень важное сказать, но старший из всадников, который за главного и лицом похожий одновременно на бригадира Матохина, на товарища Сталина и курильского дедушку Чана, жестами ей препятствует. Мол, пустое задумала, глупая. У каждого своя тропка, подсказками еще больше запутаешь. Пока

сами шишки не набьют, ничего в этой жизни не уразумеют… Все само по себе образуется.

«Хоть весточку робкую можно подать, знак, памятку ненавязчивую?» — взмолилась женщина.

«Знак — это можно… А какой — знаешь?..»

«Знаю!» — обрадовалась горемычная.

Наверное, впервые за последнее время Евдокия заснула после этих слов покойно.

А про знак не соврала: надо картину задуманную дошить, людям подарить.

Она обо всем расскажет.

«Вышел месяц из тумана…»

Як выйду на ганак
Ды крыкну дадому:
«Вары, мама, вячэру
І на маю долю». —
«Варыла, варыла —
Ні мала, ні трошкі.
Няма табе, дочка,
Ні міскі, ні ложкі.
Міску размянялі,
А ложку згубілі.
Ідзі туды, доня,
Дзе цябе любілі».

Силилась Катька восстановить прошедшие события по порядку, напрягала бедную свою головушку, но не получалось. Как по дороге от станции шла, росстань с крестом миновала, торопясь за неожиданно проворным Муравчиком, как с провожатым прощалась возле забора родной хаты, как знакомую калитку по привычке сапожком распахивала, — помнит в подробностях, а что дальше произошло — напрочь из девичьей памяти вышибло. Разве клубок цветных ниток, который, зайдя в хату, с полу подобрала, в глазах задержался, — и с этого момента скользит тонкая нить в руках без остановки, струится меж пальцев, не заканчиваясь, без следа исчезает…

И еще считалка детская неизвестно откуда вынырнула и застряла в мозгах: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана: буду резать, буду бить…»

И всякий раз ей водить выпадает…

Ой, лихо!

Последний свой долг перед бабушкой Катерина исполнила чин по чину. Откуда только силы и сноровка взялись! Как будто тем и занималась городская красавица-белые ручки, что на досуге престарелых бабушек в последний земной путь снаряжала: в смертное одевала и обо всех похоронных делах хлопотала. Хотелось ей повыть по-бабьи над усопшей, да не получалось.

Не впала внучка в панику, застав Евдокию уже охладевшей, не стала убиваться и на людях. Только глядела во все глаза, стараясь подольше черты бабулькиного лица запомнить: мирно, покойно лежала раба Божья на топчане, словно прилегла отдохнуть и ненароком уснула.

Катерина без крику и плача соседей созвала, чтобы помогли в смерти удостовериться и все необходимое для похорон соблюсти.

Поминальную ночь у ложа умершей высидела, глаз не сомкнув, хоть все соседки поспать спроваживали.

Сама же сбегала следующим утром на станцию — матери в город печальную весть сообщить, однако не дозвонилась.

И даже когда — на отведенные, по правилам, третьи сутки — везли на колхозном грузовике свежий гроб, направляясь по тракту на Брывицу; когда, отмолив покойницу и отпев, побросали земельные комья на крышку, когда скромную тризну справляли в опустевшей хате, Катька слезинки не выдавила, а только покусывала губы.

— Пайду і я паміраць, калі Жытняя Баба памерла, пара, — прокряхтел неуклюжий Муравчик после скромных поминок.

И Володомир действительно через пару дней отдал Богу душу. Видать, на самом деле пришел срок. Только много позже, успокоившись, Катька о воздыхателе своем пожалела и поплакала.

«Манюню поила?» — спрашивала соседка.

В ответ Катерина протягивала ей недопитую кем-то чарку.

«Свят, свят!» — крестилась в испуге Милка.

Через неделю зареванная Татьяна приехала со своим нетрезвым мужем-слесарем, уведомленная добрыми людьми. Но как на кладбище с поминальным хлебом и чаркой ходили, как мать назад в город дочку звала — «Пропади оно пропадом, бабкино хозяйство вместе с козой!» — ничего не запомнила Екатерина в пролетавших, как сон, событиях.

Даже малой надежды не было, что оживет душа, так в ней одиноко и пусто стало. И представить себе раньше девушка не могла, что бабушкина смерть так по сердцу полоснет.

«Буду резать, буду бить…»

Но возможно, девичье беспамятство началось много раньше — на Черкизовском рынке в последней ее ходке в Москву, когда утонувший в дыму, криках и стонах покалеченных внезапным взрывом людей рынок гудел и метался, окутанный страхом? До сих пор не понять, что это было: очередная разборка московских «бритоголовых» с «черными», либо «чечены» опять бомбу подложили, и кровь невинных людей в который раз напрасно пролилась?

Тогда Катерина почти все потеряла: и купленный товар, и валюту, что с собой привезла, и неверного напарника, «кинувшего» землячку в трудную минуту: дескать, кум, сват, брат, а деньги не родня…

Сама чудом уцелела в страшной кутерьме.

Вот и подалась к бабушке раны зализывать, а тут такое…

Наступившие холода приглушили тоску небывало обильными снегами, а истончившийся от одиночества и неизбывного горя декабрьский месяц, глядевший на Похмелевку с небесной вышины, стал после рождественского поста на глазах расти.

Глухота Катьку отпустила.

Очнулась она сидящей в комнате возле бельевого шкафа с развернутым полотном на коленях. Видно, картину, Евдокией начатую, в беспамятстве достала и зачем-то рассматривала. Что там увидела — неизвестно. Но подсказка нашлась — свернутые в трубочку листки из «Огонька».

Вертела в руках, сравнивала — и все поняла: вот какой сюжет хотела старушка цветными нитками повторить. Да не успела.

Тогда уж наревелась Екатерина вволю, отродясь так не рыдала — безутешно, навзрыд.

И потекут дни неторопливой чередой, наполняя сознание и тело морозным светом.

Разговевшийся на дармовых хлебах месяц, подглядывавший за одинокой жилицей в окошке, станет печалиться с ней за компанию, пока не превратится опять в тонкую кочерыжку.

Метели спохватятся о недоделанном и не укрытом, но повлажнеют скоро снежные хляби и, наконец, растают вовсе.

Опустится на крестовину взбодрившийся по весне ворон, и будет ему невдомек: кто же повесил на согбенного старикашку — подорожный крест, свежую обнову — вышитый рушник?

Вкривь и вкось шитье. Неумело сработано, но решительно.

Давненько не являлась на росстань Житная Баба — и вот, наконец, пришла…

Однако уж слишком молода мастерица на вид…

А может, и вправду, отболела, отплакалась человеческая душа и вызрела в ней, налилась, как колос, давно известная, жгучая истина, которой мы домогаемся всю свою сознательную жизнь:

Коли есть тягло, есть и тягости,
Коли сердце есть, есть и горести,
Коли разум есть, есть и радости,
Коли сила есть, есть и вольности,
А при вольностях — переменится,
Горе с радостью переместятся…





ЛЮБОВЬ ТУРБИНА

Откуда в Минске Миссисипи?

Терриоки

Майскими короткими ночами —
Терриоки, в темноте залив,
Пять годков неполных — за плечами,
Смех счастливый ближе, чем прилив.

Вот в кустах призывно зашуршало,
И мелькнула рыбиной рука…
Лодкой-плоскодонкой у причала
Жизнь моя привязана пока.

Будущее в прошедшем

Эта девочка, серая мышка:
Я в холодной воде по лодыжки…
То ли явь, то ли бред, то ли сон —
Закрывает лицо капюшон.

Эта девочка — серая мышка,
Я волшебнице той до подмышки,
Из земли запредельной, иной,
Ей известно, что станет со мной:

Ты останешься серою мышкой,
Пока кто-то не скинет задвижку
И откроется тайная дверь.
Так дерзни, приготовься, поверь!

Полудевочка, полустарушка,
И очки с перекошенной дужкой
Мне мешают туда заглянуть,
Где давно обозначен мой путь.

* * *

О, Беларусь, моя коханка —
Крыжовка, озеро, река,

Лес вдоль дороги и полянка —
Владения боровика.

Твоя до срока полонянка:
Отцовский дом стоит пока,
За баней скромная делянка,
Гряда фасоли как строка.

Но каюсь — давняя беглянка:
Легко любить издалека…
На белорусской вышиванке
Всплакну над синью василька.

* * *

Когда туманная зима
Уводит в грешное свиданье,
То грезы — прихоти ума —
Лазейку ищут оправданью.

Не путь — изгибы либерти,
Разлегся город в сонном всхлипе…
Осталось реку перейти —
Откуда в Минске Миссисипи?

И странно — этот дом возник,
Когда под мост несет теченье,
Жилище сложено из книг,
Но на сегодня хватит чтенья.

И фортепьяно, и огни,
Окно, за ним пейзаж отечный…
Ужель решимся мы (они!)
Глотнуть печали этой вечной?

Дом поэта

В. А. Блаженному

И приоткрылась тихо дверь…
Ты проникаешь в мир особый:
Для зависти и мелкой злобы
Недосягаемый теперь.

Стряхни слой пыли с башмаков,
С души — обыденности меты,
И станут внятными поэты
Иных столетий и веков.

И устремится к высям дух:
Жизнь коротка, искусство вечно,

А за окном, крутясь беспечно,
Роится тополиный пух…

Как, неужели это снег?
Я забежала теплым летом.
Что значит встретиться с поэтом —
Неразличимы миг и век!

Конец лета

Оплошность, умысел, ошибка?
С кривой приклеенной улыбкой
Я у любимого в гостях,
Как рыба снулая в сетях.

Они вот-вот сомкнутся туго —
Мы избегаем глаз друг друга;
Одно хочу понять — зачем
Ты пригласил меня — в гарем?

Ну, просто сцена из ремейка —
Газон и флоксы, сад, скамейка,
Хлебаю горький чай до дна…
Гостеприимная жена

Заставит скатерть сдобным тестом,
Приятны дочери-невесты,
Привет им всем! Гуд бай, май лав!
И восвояси, прочь, стремглав…

Как наркотическая ломка —
Обрыв в сети, обрез по кромке.
Лишь прежних мейлов нежный вздор,
Лишь звезд сочувственный укор.

* * *

Красавицы послевоенных лет,
Их вуалетки, шляпки, платья…
Их притяжения секрет
Здесь попытаюсь разгадать я.

Как луч прожектора, глаза
Впитали токи глаз погасших!
Отказывали тормоза
У сильных, пол-Европы спасших

Солдат вернувшихся, — но вдруг
Капитуляция без боя, —
И вот, попавший под каблук,
Идет счастливец под конвоем.

Те крепдешины и шелка
Так облипали их фигуры,
Не «в кольцах узкая рука»,
А в крепких пальцах с маникюром.

На солнце-клеше тех материй
Цветы приманчиво цвели…
Четыре года — сплошь потери
Родной, истерзанной земли.

Красавицы послевоенных лет,
Их непогасное сиянье…
Тех звезд далеких нежный свет
Пронизывает мирозданье.

Первый приезд в Рим

Мне, родившейся в Ашхабаде,
В саменьком сорок втором году,
Выжившей только молитвою мамы,
Думалось ли, что в Рим попаду?

Где наяву, по временной вертикали,
Словно на притолоке дверной,
Разные возрасты мира предстали
Вместе — пред изумленною мной.

Отблески рая сквозь дымность ада —
Вечный город опять в пути,
Мне, из военного Ашхабада
Жизнь доверила обрести.

Монте-Карло

Множество карточных домиков,
Скрепленных слюной беспечности.
Гигант на закорках гномика
В волнах Средиземной вечности.

Чем держатся эти башенки?
Эфемерность — лишь маска прочности.
Забавно, прекрасно, страшненько
Среди цветущей порочности.

Здесь, в казино Всевышнего,
Выиграв без хотения,
В необходимости лишнего
Как побороть сомнения?



АЛЕКСАНДР БРИТ

Ты только чирикни

Рассказ

Это был закон. Как выпитая чашка крепкого кофе утром, как выкуренная сигарета после сухпайка в Афганистане.

Каждое утро он отжимался пятьдесят один раз, делал зарядку и растяжку.

Из пятидесяти трех лет Глебов следовал этому закону тридцать пять, и изменил ему только один раз: девятнадцать лет назад, когда его вместе с маленькой дочкой бросила жена. Семь дней ему понадобилось на то, чтобы понять, что жена не вернется, и перестроить свою жизнь. Затем он опять неуклонно продолжил следовать своему закону.

Жена ушла к другому, и повторять еще один раз эксперимент под названием «женитьба» он не хотел. Поэтому все свое время, внимание и заботу Глебов посвятил дочке.

Заменить маму оказалось делом непростым. Друзья в шутку называли его «мать Тереза», но он возражал: «Нет, я не мать, я отец. Белорусский отец».

Три года Глебов мыкался с ребенком по друзьям, съемным квартирам и общежитиям, на четвертый год начал строить платное, кооперативное жилье. Глебов работал на двух работах, отводил дочку в садик, убирал в квартире, стирал белье, покупал продукты, готовил еду и два раза в неделю, не более чем на два часа, заходил в гости к одной женщине, чтобы остаться мужчиной.

С дочкой при всех своих обязанностях он находил время общаться каждый день, и все ее самые детские проблемы и заботы становились его взрослыми проблемами и заботами. Вечерами они разговаривали. Маленькая девочка обнимала его за шею и спрашивала: «А ты правда купишь мне плюшевого мишку?» — «Правда. Ты только чирикни». — «А что такое чиликни?» — «Чирикни — это скажи». — «А кто так говорит: чиликни?» — «Мы с тобой». — «А мы с тобой что, воробьи?» Глебов смеялся: «Да, особенно ты».

Оле исполнилось десять, когда Глебов продал кооператив, взял кредит и купил хорошую трехкомнатную квартиру в центре Минска, на площади Победы. В квартире он сделал реконструкцию: между двумя комнатами снес кирпичную перегородку и объединил их в одну просторную комнату. В этой комнате было много солнца, и он решил поселить в ней дочку, а себе оставить комнату поменьше.

После ремонта и въезда в новую квартиру он взял для дочки репетитора по английскому и перевел ее в 24-й лингвистический лицей. К моменту окончания лицея его девочка «пела» по-английски: бегло говорила, с полуфразы понимала и отвечала. Тем не менее, в большей степени для того, чтобы психологически поддержать ее перед поступлением в лингвистический университет, Глебов снова на месяц взял ей репетитора и платил ему 18 долларов за академический час пять раз в неделю. Его страхи оказались напрасны, потому что Ольга блестяще сдала экзамены. И вот тут он сбавил свое усердие и

немного притушил свою открытую заботу. Дочка его выросла, преобразилась в красивую целеустремленную девушку, и Глебов не хотел, чтобы его вопросы и излишнее внимание наталкивались на трафаретные ответы: «Ну что ты говоришь глупости, папа». Он очень любил слушать, как смеется дочь, и не представлял свою жизнь без ее смеха, потому что ее солнечный смех был его воздухом, его кровью, его смыслом.

Больше всего он боялся мальчика, который однажды ворвется в мир его дочки, заберет ее сердце и сделает из нее женщину. Конечно же, Глебов знал, что мальчик когда-нибудь придет, но он не был уверен, что этот мальчик поймет и оценит то, что значит для него дочь. Глебов не был уверен, сможет ли этот мальчик стать ее защитой, опорой и другом в той хотя бы приблизительной мере, в которой двадцать последних лет был для нее он сам.

На втором курсе у Ольги появился первый кандидат на ее внимание и время, но она отсеяла его сама буквально через две недели. «Я не буду вытирать ему сопли, — резко сказала она своей подруге по телефону. — Пусть сам отвечает за то, что делает».

Со вторым кандидатом было сложнее: он претендовал на серьезные отношения и предлагал Оле стать ее мужем за год до окончания университета. Тут уже выстраивалась перспектива, определялась дальнейшая жизнь, и не в правилах Глебова было занимать позицию стороннего наблюдателя. Он нашел возможность поделиться со студентом своими взглядами на жизнь. Молодой человек был настолько любезен, что сам пришел к ним в гости, уселся в кресло в самой большой комнате и демонстрировал свой катастрофически широкий кругозор, в то время как Ольга на кухне мыла посуду. Глебов не перебивал молодого человека максимум секунд пятьдесят, а затем, схватив его цепким взглядом, тихо заговорил:

— Я хочу рассказать, что тебя ждет, родной, если моя дочь согласится выйти за тебя замуж. Всю жизнь я для нее был и папа, и мама. Для меня нет солнца, кроме нее, и день без нее — не день. Поэтому я хотел бы, чтобы свадьба состоялась не раньше чем через два года. За эти два года ты должен найти хорошую работу, внести первичные взносы на жилье и подготовить все необходимое для невесты. К моменту женитьбы у тебя должно быть как минимум две пары туфель, семь новых рубашек, пять галстуков и три костюма. Про автомобиль я, разумеется, молчу. Ты должен быть первым во всем. И еще. Если ты когда-нибудь сделаешь моей дочке больно, если ты когда-нибудь ее хоть чуть-чуть обидишь, у тебя, родной, будут неприятности. Я тебе обещаю. Подумай об этом. И если решишь, что это тебе не подходит, не звони ей больше никогда.

Второй кандидат оказался не по годам умным и поэтому прислушался к совету Глебова. Ольга совсем не расстроилась, и Глебов с облегчением понял, что по-настоящему она не любила.

Беда случилась с третьим претендентом на сердце его дочери. Во-первых, как оказалось, это была любовь, и не без взаимности. Во-вторых, он был старше Ольги на восемнадцать лет и попадал скорее в категорию мужчин, чем мальчиков. И в-третьих, он был женат.

Для Глебова это была очень большая проблема, и, честно говоря, он не знал, сможет ли помочь дочери в ее решении.

Своим нюхом опытного мужчины Глебов чуял, что женское сердце не поддается никакому рациональному объяснению, не измеряется никакой логикой, и если в него вливается любовь, то она может снести любые плотины, войти в другие русла и образовать иные берега… Глебов долго мучился, потому что не знал, как ему поступить. Он не имел права ничего диктовать своей девочке — она выросла, и, если бы он последовал самым простым путем запретов и

диктата, это бы разрушило их отношения. И потом он видел, что любовь преобразила его дочку, сделала ее еще более волшебной, легкой, изнутри заполнила ее глаза и лицо умиротворенным тихим светом, и Глебов боялся затушить этот невидимый очаг, спугнуть бабочку, прилетевшую на весенний цветок…

Отжимаясь по утрам неизменные пятьдесят один раз, Глебов обдумывал каждую деталь своего поведения в новых обстоятельствах. Он не придумал ничего другого, кроме как быть рядом со своей дочкой. Быть рядом, для того чтобы в любой момент помочь ей, обезопасить, подстраховать, дать наиболее подходящий совет. Ему казалось, это была самая верная позиция. Во всяком случае, ничего другого выдумать он не смог.

Выдумала дочка, и поэтому «быть рядом» не получилось.

— Я хочу уехать, папа, — сказала она, вздохнув.

Это было воскресенье, сентябрьское утро, за окном виднелся Купаловский сквер, раннюю желтизну листвы заливало бледное солнце. Его девочка смотрела в окно: на сквер, на Свислочь, а потом медленно повернулась к отцу, и он увидел, какая она красивая. Заколотые прямые волосы, большие оленьи глаза, тонкая рука, плавно поправившая прядь и потянувшаяся за кружкой с кофе.

Глебов помнил их разговор до мелочей. Память его, как кинокамера, постоянно разворачивалась по полному периметру и выхватывала все детали того дня, все оттенки их диалога. Он помнил, что, когда она произнесла эту фразу, он в первое мгновение не придал ей значения, потому что не понял ее полного смысла.

— Уехать?

— Да, я хочу уехать. — Она улыбнулась открытой улыбкой, длинные ресницы ее вздрогнули, и он с болью в сердце увидел, как сильно она похожа на свою мать. — Я хочу уехать на Кипр, пап. Поработать в гостиничном бизнесе, там требуются специалисты со знанием английского. Я уже заполнила анкету и отослала. Мне вчера оттуда перезвонили, моя кандидатура прошла.

Только после этого до него, наконец, дошел полный смысл ее фразы.

— Ты уверена?

— Да.

— И ты все равно поступишь по-своему, если я стану возражать?

— Ты же знаешь…

— А твоя работа?

— Я возьму письмо с переводом, чтобы не терять стаж.

Глебов улыбнулся.

— Умничаешь?

— Беру пример с тебя.

— Не удивлюсь, если узнаю, что ты уже купила билет на самолет.

— Нет, но я планирую сделать это послезавтра, а улететь в субботу.

Глебов помнил, как он встал тогда из-за кухонного стола, подошел к окну, посмотрел на ослепительно яркую сентябрьскую осень. Жалко было расставаться с такой красотой...

…Билет он взял ей сам. Сам перевел ей пятьсот кипрских фунтов[1] в дорожные чеки и четыреста дал чистыми, сам помогал открывать ей роуминг, сам подвозил до аэропорта. За рулем смешил ее, разговаривал, а про себя думал: кто знает, может, и неплохо, что она приняла такое решение. Любовь — да, это кайф, сказочный кайф, страшный кайф, но зачем разрушать чужую семью? Зачем создавать проблемы? Нет, она все понимает, тонкая девочка,

[1] Кипрский фунт — денежная единица Республики Кипр до 2008 года. 1 кипрский фунт равнялся примерно 2 долларам США. 1 января 2008 года Республика Кипр вступила в Еврозону, 1 февраля кипрский фунт окончательно выведен из обращения.

умница. Именно поэтому меняет обстановку, хочет быть самостоятельной, подзаработать, а там видно будет…

На прощание он поцеловал ее трижды.

— Будь на связи. Я все сделаю. Только чирикни.

Она улыбнулась:

— Люблю тебя, — и, чмокнув его в щеку, пошла в глубь аэропорта, к регистрационным стойкам.

Глебов проводил ее грустным взглядом, и этот взгляд, казалось ему позже, повторялся как один и тот же черно-белый слайд, который его память периодически вставляла в мозг.

Она позвонила ему через день: не с мобильного — по обычной линии, смеялась, спешила говорить.

— У меня все нормально, пап. Все замечательно. Я устроилась, не волнуйся. Только сотовый немножко глючит.

— Ты в порядке?

— Да, все нормально.

— Всегда помни: ты только чирикни.

— Я всегда помню, спасибо. Послушай…

— Да.

— На моем столе — письмо. Отправь его, пожалуйста, по адресу — я забыла. Хорошо?

— Как скажешь.

— Обязательно!

— Конечно. Я все сделаю.

— Как с работой?

— Что?

— А как с работой?

— Да все нормально. Сегодня я должна подписать контракт. Тут такая суматоха. Я перезвоню тебе через недельку. Утрясу дела и обязательно перезвоню. Хорошо?

— Хорошо.

В тот же день он бросил ее письмо в почтовый ящик. Ровно неделю письмо лежало на краю ее письменного стола, Глебов догадывался, кому адресовано это письмо, он думал, что оно уйдет по назначению еще до ее отъезда, но этого не случилось. Адрес, имя, отчество, фамилию того, кому предназначалось письмо, он знал уже наизусть…

Через недельку она не перезвонила.

Периодически он набирал номер ее сотового, но абонент был недоступен.

Через полторы недели утром он, как обычно, делал зарядку. Когда приступил к отжиманию, на счете 19 раздался телефонный звонок. Он бросился к телефону, снял трубку и сначала ничего не понял. Говорили на очень плохом русском, какой-то мужчина.

— Мы хотим говорит тля вас проблем.

— Куда вы звоните?

— Не фсе слышат русски. Do you speak English?[1]

— Кто это звонит?

— Мистер Клебоф, тля вас ест bad[2] проблем. Excuse me[3]…

---

[1] Вы говорите по-английски? *(англ.).*

[2] Плохой *(англ.).*

[3] Извините *(англ.).*

И вдруг в трубке послышалась заминка, дальний непонятный разговор, а затем зазвучала отчетливая русская речь, которая принадлежала незнакомой женщине. Голос глухой, прерывистый, с южным акцентом.

— Владимир…

— Александрович.

— Владимир Александрович?

— Да…

— Глебов?..

— Так точно.

— Меня попросили сообщить вам… Я говорю… из полицейского управления города Лимасола. Ваша дочь… покончила жизнь самоубийством, выбросилась с балкона… На ваш адрес уже отправлены все необходимые документы… и как только вы получите их, вы сможете забрать ее тело… Простите…

Трубку положили, и связь оборвалась.

Если бы человек мог увидеть прицельно выпущенную в него пулю, которая уже совершает заданную траекторию и через несколько мгновений пробьет его тело, отбросит на землю, зальет все кругом кровью, то он едва ли поверил бы этому. Глебов не поверил. Не мог поверить. Не хотел верить.

Бледное солнце заливало раннюю желтизну Купаловского сквера, свинцовая лента Свислочи вздрагивала и переливалась тысячами сияющих солнц. Его девочка смотрела в окно, а потом медленно повернулась к нему, и на фоне легкого света он увидел, какая она красивая: заколотые прямые волосы, большие оленьи глаза, тонкая рука, плавно поправившая прядь и потянувшаяся за кружкой с кофе…

Глебов снял телефонную трубку, набрал справку и назвал номер с определителя. Ему подтвердили, что номер действительно имеет отношение к Республике Кипр. Глебов взял ручку и несколько раз нервно попытался записать этот номер на газете. Номер не прописывался. Глебов выругался, наконец ему удалось записать номер, и он снова снял телефонную трубку.

— Татьяна Петровна? Здравствуйте. Гм… Отец Ольги Глебовой, если вы помните. Лет шесть назад мы брали у вас уроки английского. Да. Спасибо, спасибо… — Глебов объяснил ситуацию, продиктовал кипрский номер, сказал, что надо перезвонить, выяснить все подробности, взять адрес полицейского управления. Может, это чья-то дурная шутка?

Через шестьдесят семь минут, которые гулко простучали в его горле посекундно, перед ним извинились и тихим голосом сообщили, что это, к сожалению, не шутка. Тело будет доставлено чартерным рейсом, послезавтра, самолет вылетает ночью в 03.40 по кипрскому времени.

Глебов захотел проснуться или, наоборот, заснуть. Он прошел в кухню, достал из холодильника бутылку «Беловежской» и прямо из горлышка сделал несколько глотков. «Ты только чирикни, — повторял он вслух, — ты только чирикни». Беспрерывно он набирал единственный номер мобильного и неизменно слышал сначала по-русски, а затем по-английски: «Абонент временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже».

На следующий день, пополудни, почтальон принес ему заказное письмо: «Распишитесь вот здесь». Глебов расписался, проводил почтальона и после заминки распаковал пакет. В нем находились фото какого-то здания и плотный белый лист с английским текстом, обрамлявшим сканированную паспортную фотографию его дочки. Спустя четыре часа смысл переведенной с английского на русский информации начал разрушать смысл его жизни.

В письме сообщалось, что Ольга Владимировна Глебова (см. фото), гражданка Республики Беларусь, 22 лет, незамужняя, покончила жизнь само-

убийством 3 октября 2006 года, выбросившись с балкона дома (фотография и адрес прилагаются). Полицейское управление приносило свои соболезнования родным погибшей и сообщало, что гроб с телом будет доставлен в Минск 15 октября, борт № 4392, время вылета с Кипра 03.40…

Глебов сидел на полу, тупо уставясь на вскрытый конверт, развернутое официальное письмо. Потом он взял фотографию и в десятый раз вгляделся в нее. Четырехэтажный дом, большие окна… Выбросилась из окна… В глазах потемнело.

Вся огромная комната, в которой он сидел, наполнялась мраком, будто кто-то занавесил окна плотными шторами и постепенно отключал лампы в люстре. Глебов встал и подошел к окну. За стеклом выстроилась прозрачная пелена дождя, и сквозь эту пелену дрожал удрученный, поблекший Купаловский сквер, огибавшая его петля Свислочи мелко вспыхивала дождевыми каплями и напоминала бикфордов шнур.

Выбросилась из окна… Да не могла она этого сделать! Любила жизнь. Не могла! Выбросилась из окна… Из-за чего? Из-за любви? Нет, у нее было сильное чувство, но как он мог понять, взаимное… Да и потом, уехать на Кипр, чтобы там покончить с собой… Она бы не утруждала его такими идиотскими заботами… Если бы ей было настолько плохо, он бы сразу уловил, почувствовал, поддержал. Не пустил бы ни на какой Кипр! Выбросилась из окна… Да хренотень какая-то!.. Какие окна… Подождите, подождите… Какие на… окна. Глебов схватил переведенный текст, бегло прочел «покончила жизнь самоубийством 3 октября 2006 года, выбросившись с балкона дома (фотография, адрес прилагаются)». Руки у него вспотели: в доме, фотографию которого ему прислали, никаких балконов не было. Ни одного. Почти не зная английского, он пробежал глазами английский текст. В нем, как и в русском переводе, было слово balcony[1]. В его мозгу сразу же отозвался эхом прерывистый глухой голос незнакомой женщины из полицейского управления: «Ваша дочь… покончила жизнь самоубийством, выбросилась с балкона…» Может, балконы выходят на внутреннюю часть двора?

Так, так, так… Глебов прошел из одной комнаты в другую, вернулся назад. За окнами давно уже была ночь, а он без конца ходил и ходил по квартире, как человек, который ищет выход из лабиринта. Около трех часов ночи его воспаленный мозг оценил и проанализировал все обрывки информации и собрал их по частям, как кубик Рубика.

В 8 часов утра 15 октября он уже знал, как будет действовать.

К 9.45 ему сообщили имя лучшего судмедэксперта города. Глебов приехал к нему в морг, долго ожидал. Седой худощавый мужчина с красными глазами вышел через 40 минут, не протягивая руки, спросил:

— По какому поводу?

Глебов объяснил.

— Трудное дело. Не знаю, смогу ли помочь…

— 150 долларов, — сказал Глебов.

Мужчина засунул руки в белый халат, большие пыльцы обеих рук оставил снаружи накладных карманов, как скальпелем полоснул его взглядом повыше переносицы.

— Не в том дело. Надо смотреть… на месте. Когда доставят тело?

— Завтра, в 7 утра.

— Привезете ко мне. Я сделаю все что смогу.

— Спасибо…

---

[1] Балкон *(англ.)*.

Мужчина ничего не ответил и пошел в направлении двери, обитой цинком.

…Борт с Кипра опоздал на полчаса, зарулил в дальний угол аэродрома, затих. Издалека виднелся только его черный силуэт, очерченный взлетными огнями полосы. Минут пять Глебов смотрел на него, как на призрак, который без приглашения появился в его жизни. Медленно он подгонял заказанный форд-транзит к рампе, медленно показывал документы, медленно открывалась рампа, медленно с шофером перетягивали гроб в кузов машины, медленно выехали за аэродром и только там набрали скорость.

В морге оказалось, что Глебов не предусмотрел одну деталь: он забыл взять с собой инструмент для вскрытия цинкового гроба.

— Придется просить подсобных ребят, — с укором сказал судмедэксперт.

— Я хотел бы убедиться...

— Подождите пока. Позову.

Глебов утвердительно махнул головой.

Сидеть в коридоре он не мог — ходил: туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно, как маятник. Глебов надеялся, что это не она, не она! Нет, не она! Руки у него вспотели, и по спине, как дождь по стеклу, бежали капли…

Через какое-то время подошли работяги в замасленных спецовках с инструментом, зашли в цинковую дверь, пробыли в морге минут двадцать пять, вышли. Минутой позже выглянул судмедэксперт.

— Пойдемте.

Следом за сгорбленным седым человеком в белом халате Глебов зашел в огромное помещение, облицованное кафелем. На цинковых столах слева и справа лежали трупы, три или четыре человека в белых халатах склонились над ними.

— Вот она, — услышал Глебов издалека.

Он рассеянно взглянул на стол, на который ему показывали, подошел очень близко к этому столу, и только тогда, когда он поднял налившиеся свинцом веки и все рассмотрел, ноги его подломились в коленях, как спички. Глебов неловко, по-мужицки обнял это тонкое тело, по горло закрытое белой простынею…

Минуты три он не мог оторваться от тела, а затем на его плечо легла рука.

— Идите… Идите или я не смогу работать. Через часа четыре зайдите. А лучше — к вечеру.

Как в тумане, Глебов поднялся и пошел к выходу…

В пять часов он снова был в морге. На этот раз судмедэксперт провел его в кабинет, сел за стол, закурил и, выпустив дым одновременно изо рта и заросших волосатых ноздрей, негромко сказал:

— Ее убили.

— Вы уверены?

Судмедэксперт посмотрел на Глебова, как на дурачка.

— Нет, я не уверен — я больше чем уверен: я говорю так, как практически все и было, и никаких сомнений у меня нет. Тело имеет серьезные травмы, их характер свидетельствует, что девушку сбрасывали с высоты. Потом… простите, ставили точку: на ее теле многочисленные следы от побоев в области груди и почек…

Глебов поднял руку ладонью вверх:

— Не надо.

— Я подготовил необходимые документы, сделал заключение. Вот, возьмите.

Глебов достал из кармана деньги.

— 150 долларов.

— Забери. — Судмедэксперт встал, снова закурил и прошел к окну. — Забери, не возьму. По десять долларов оставь ребятам из подсобки. Хоронить когда, решили?

— На третий день.

— Оставь ее здесь, командир. Ей понадобится косметика.

Глебов отрицательно качнул головой.

— Нет. Нет, я ее заберу… Пришлите ко мне самого лучшего специалиста. Самого лучшего.

Весь следующий день Глебов решал похоронные вопросы: звонил родственникам, выбивал место на кладбище, объездил несколько магазинов ритуальных услуг. Вечером, когда родственники сидели у гроба, Глебов взял зонт и пошел к тому человеку, которому несколько недель назад отправил письмо своей дочери.

Дверь ему открыл мужчина лет сорока, подтянутый, высокий, с сильной сединой в жестких волосах. Глебов представился, и глаза мужчины, не утратив уверенности, наполнились вниманием и уважением.

— Проходите, пожалуйста, — сказал он.

Глебов зашел в квартиру и в коридоре увидел женщину, которая, по всем признакам собиралась уходить и у большого зеркала наносила последние штрихи макияжа на свое броское лицо. Широким размахом маляра она усердно обводила свои припухлые губы и на появление и приветствие Глебова отреагировала запоздавшей фразой, которая ударила Глебова в спину: «Устроил проходной двор…»

— Жена? — с вызовом спросил Глебов, когда они прошли на кухню.

— Нет.

— А кто, Володя?

— Бывшая жена, Владимир Александрович. — Они оба не скрывали осведомленности друг о друге.

— Давно развелись?

— Одиннадцать лет назад, через полгода после свадьбы. Документы в суд, правда, ушли только неделю назад.

— А дети у тебя есть, Володя?

И тут глаза Володи недобро заблестели, веки сузились почти до диаметра кромки бритвы, и он, положив свои руки на стол, сказал:

— Да, Владимир Александрович, есть у меня дочка. Спит сейчас в спальне. Пять лет ей. Только тон вы свой притушите, товарищ полковник! Я вас очень прошу!

Глебов резко опустил свою руку на его запястье, сжал изо всей силы и начал проворачивать против часовой стрелки.

— Что ты наделал, Володя! Что ты наделал!

— Руку убери, бача! Я сказал, убери руку!

Глебов все понял, убрал руку.

— Где ты служил?

— Там же, где и вы.

— Где ты служил?!

— Бригада ДШБ, город Кабул. — Володя встал, включил электрический чайник, достал кружки, заварку. — Вы зачем пришли ко мне, Владимир Александрович? Грамоте меня учить? Не надо. У меня есть две пары туфель, семь новых рубашек, пять галстуков и три костюма. Про автомобиль я, разумеется, молчу.

— Она тебе рассказывала…

Володя улыбнулся.

— Да, очень смешно рассказывала. В лицах. Смеялась. И я с ней. Я люблю ее смех. Очень сильно люблю. Возьмите вот, почитайте. — Володя достал из кармана письмо и положил на стол.

Глебов взял конверт в руки и увидел, что это было то самое письмо, которое по просьбе дочери он отправил две недели назад.

Строчки, написанные рукой его девочки, ударили его в сердце.

Я так люблю тебя, любимый мой! Каждый день я просыпаюсь и думаю о тебе. Каждый день чувствую, как ты мне дорог, как близок, как я счастлива с тобой, даже если тебя нет рядом. Я улыбаюсь, думая о тебе, я смеюсь от бесконечной радости — тебе так нравился мой смех. Ты мой воздух, моя кровь, мой смысл. Да, я согласна: я буду твоей женой. Какое счастье иметь от тебя ребенка! Какое счастье думать об этом!

Руки у Глебова задрожали, строчки запрыгали.

— У тебя водка есть, боец?

Володя молча открыл холодильник, достал из него запотевшую бутылку водки, открутил крышку и налил граммов по пятьдесят в приземистые стаканы из-под виски.

— Наливай больше, — сказал Глебов, разминая рукой левую сторону груди. — Володя налил еще сто. Выпили. Глебов достал из кармана заключение судмедэксперта. — Я не могу тебе об этом говорить. У меня просто уже нет сил, боец. Читай.

Володя читал и смотрел на Глебова, снова читал и снова смотрел. Он не верил. Прицельно выпущенная пуля еще не достигла его сердца, но летела — смысл читаемого уже разрушал спокойствие его глаз, зрачки которых медленно заполнял ужас.

— Это правда? — наконец спросил он и увидел по выражению лица Глебова, что да, правда, правда, правда… Он налил водки себе и Глебову и выпил. — Убили?

Глебов кивнул головой.

— Когда?..

— 3 октября…

— Кто?

— Пока не знаю. Но я узнаю, Володя, обязательно узнаю.

— А где… где она?..

— Она у нас… родственники там. Я уже и священника пригласил. На отпевание…

— Я ждал ее ответа...

— Зачем, ну зачем я ее отпустил? — сказал Глебов.

Володя посмотрел на него, как сквозь прицел снайперской винтовки.

— Владимир Александрович, я их достану…

— Нет, Володя. Все надо делать по закону. Только по закону. Я уже все обдумал.

— Значит, параллельно думали…

— Нет. Я сказал. Не лезь в это дело. Дочка у тебя растет. Думай о ней.

— Спасибо за совет, Владимир Александрович. Но…

Глебов опустил свою тяжелую руку ему на плечо.

— Послушай, что я тебе скажу, герой… Я вижу, ты еще не навоевался. Думаешь, что у тебя есть ответы на все вопросы, да? В жизни нет ответов, есть только вопросы. Понял?

…На похоронах, когда священник отпел рабу Божью Ольгу, перед тем как хоронить, Глебов, подавляя горловую судорогу, негромко сказал:

— Я найду их, чего бы это мне ни стоило, и они ответят. — Ладонью он утер лицо от мелкого осеннего дождя. Бросил быстрый взгляд на женщину с мужчиной, которые стояли у противоположной стороны могилы.

«Никогда мужчина не сможет заменить ребенку мать!» — очень давно крикнула эта женщина в лицо Глебову… А теперь другой мужчина держал над ней широкий зонт и поддерживал ее под локоть. Пустым черным взглядом женщина смотрела на размываемый под ногами свежий песок, время от времени машинально поправляя косынку. Глебов с какой-то пудовой тоской подумал, что он никогда больше не увидит этой чужой женщины. И она, скорее всего, не увидит его. Никогда. Потому что дочь, которая их когда-то связывала, от них ушла…

Начали прощаться, отошли, могильщики взялись поддевать веревки… И тогда на какое-то мгновение небо просветлело, и неизвестно откуда прилетела небольшая птица, села на гроб, мелко пробежала вдоль него и, вспорхнув, поднялась в небо.

За поминальным столом Глебов сидел по правую руку от священника, Володя через три человека — по левую.

— Батюшка, хочу с вами посоветоваться, — тихо сказал Глебов и наклонился к священнику.

Священник взглянул на Глебова и склонил голову.

— Как вы считаете, следует ли мне поехать туда и выяснить все. Или надо полагаться только на волю Божию?

Священник развел в стороны руки, словно выбирал на базаре арбуз.

— Не знаю, что вам и сказать, Владимир Александрович, не знаю… «Мне отмщение и Аз воздам» — есть такое выражение в Библии. Смысл его в том, что Господь сам рассудит всех по грехам их… — Священник положил руки на стол. Глебов тяжело вздохнул и краем глаза увидел, как из-за стола поднимается Володя, прощается. Глебов встал и подошел к нему.

— Уходишь, Володя?

— Да…

— Что так?

— Дочка одна.

— А жена?.. Ну, бывшая…

— Не может без удовольствий…

— Понятно… — Глебов достал из кармана мобильный. — Назови-ка свой номер.

Володя назвал, Глебов набрал его и, когда услышал сигнал, дал отбой.

— Телефонами обменялись. Будет необходимость — звони.

— Обязательно, Владимир Александрович, — сказал Володя. — Обязательно. — Они посмотрели в глаза и пожали друг другу руки.

Не завышая цены, через месяц Глебов продал квартиру и купил однокомнатную в соседнем доме. Он очень спешил, и поэтому не стал съезжать — договор позволял ему выехать из проданного жилья через 45 дней. Оставшуюся от продажи квартиры сумму Глебов положил в банк, на карточку. 400 кипрских фунтов перевел в дорожные чеки, триста пятьдесят долларов оставил наличными. Написал заявление за свой счет на работе, в интернете нашел карту Лимасола[1] и всего греческого Кипра[2] и вывел все это на принтер, забро-

---

[1] Второй по величине город Республики Кипр.

[2] После греко-турецкого военного конфликта в 1974 году остров Кипр разделен на греческую и турецкую части: Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра. 1 мая 2004 года Республика Кипр вступила в Евросоюз.

нировал гостиницу, через персонал отеля попросил найти ему трех-четырех переводчиц, с тем, чтобы на месте выбрать из них наиболее подходящую.

В аэропорт выехал заранее, часа за три. Заехал по знакомому адресу, к Володе. Дверь открыла пожилая женщина. Рядом с ней стояла маленькая девочка с большой куклой в руках, на платье которой была вышита бабочка, порхающая над цветком. Девочка с любопытством смотрела на Глебова.

— Мне бы Володю, — сказал Глебов, рассматривая девочку.

— Нет его, в командировке.

— Жаль. А это дочка его?

— Да, это наша Поля.

— Красивое имя… — Глебов полез во внутренний карман. — Вы знаете, я ему деньги должен. 300 долларов, вот, возьмите.

На следующий день он уже сидел в кресле в отеле «Ajax». Отель был расположен в центре города неподалеку от коммерческого центра, пляжа и туристической зоны. Глебов зарезервировал номер на три дня, с тем чтобы позже найти себе жилье подешевле. За три дня он планировал выложиться полностью, потому что отель находился недалеко от того дома, фотографию которого ему выслали из управления кипрской полиции.

Через служащего отеля Глебов связался с переводчицами и всех пригласил к себе в номер с разбежкой в пятнадцать минут. Пятнадцать минут он отвел на то, чтобы разобраться, кто, в конце концов, ему подойдет и с точки зрения профессиональной, и с точки зрения человеческой совместимости. В идеале Глебов искал женщину, которая была бы не только толковой переводчицей, но и в некотором смысле «мамкой» — советником, единомышленником и партнером в чужой стране. Такого человека Глебову найти было нелегко, но ему повезло.

Две кандидатуры он отклонил сразу же. Одна из них была тучной ливанкой, которая когда-то училась и жила в СССР, — апатичная, без интереса в глазах женщина. Вторая была из Жмеринки, но дело было не в этом, а в том, что она искала легких денег, но не могла выразить свою мысль даже на том языке, на котором пыталась говорить. Глебов взял ее телефон, но в большей мере для того, чтобы с ней сразу распрощаться.

А третьей была восточная немка с нежным голосом, Габи Борсдорф, которая связала свою судьбу с греком-киприотом и осталась жить в греческой части Кипра. Помимо родного она владела английским, русским и греческим. Казалась внимательной, благожелательной, простой, была педантичной и активной, и что самое замечательное, глаза ее светились участием.

Глебов осторожно поделился с ней своей бедой и не без удивления заметил, что она разделяет его отцовское горе и понимает, как ему необходима ее помощь. В цене они сошлись.

— Я бы хотел, чтобы мы начали работать с вами уже сегодня.

— Через два часа я буду у вас, — сказала Габи.

Глебов был приятно удивлен, когда она снова появилась у него в номере в оговоренное время, сменив легкий деловой костюм на тишот, шорты и сланцы. Несмотря на свой тридцатипятилетний возраст, она превратилась в незаметную девочку-подростка.

Они сразу же оговорили порядок действий. Глебов полагал, что, прежде чем идти в полицию, надо переговорить с кем-нибудь из жильцов того самого дома с «балконами». Габи с ним согласилась и сказала, что в разговоре с жильцами она представит его как туриста, который нуждается в аренде жилья. Но вся эта стратегия так и осталась невостребованной.

Дом оказался отделением городского банка, и было ясно, что дочь Глебова не только никогда «не выбрасывалась» из его окон, но и навряд ли успела его посетить. Тем не менее Габи нашла возможность спросить у представителя охраны, не было ли в их банке трагических происшествий за последние два месяца. Охранник чрезвычайно подозрительно взглянул на них, и Габи пришлось объяснить.

— Дочь этого человека, — сказала она, — покончила жизнь самоубийством в одном из зданий на этой улице. Она выбросилась из окна. Этот человек специально приехал из другой страны, чтобы почтить ее память на месте трагедии…

— Уверяю вас, что за последние годы я не припомню какого-нибудь трагического происшествия в нашем банке, — сказал охранник. — Но если бы кто-нибудь и захотел выброситься из окна нашего банка, то сделать это он бы просто не смог. Начиная со второго этажа, доступ в банк разрешен только его служащим по электронным спецпропускам, а клиенты обслуживаются на первом.

Когда Габи все это перевела, она посоветовала Глебову записать название банка, а также имя и фамилию охранника, которые она прочла на бейдже.

— Мистер Глебов, с этого момента только то, что мы зафиксируем в письменном виде, сможет оказать Вам пользу.

Глебов посмотрел на Габи с чувством признательности и последовал ее совету.

— Ну что же дальше, Габи? В полицию?

Габи отрицательно покачала головой.

— Я не хотела вам это говорить, потому что боюсь сделать вам больно, но…

— Но?

— Но мне кажется, что, как минимум, сегодня я вам больше не понадоблюсь.

— Почему?

— Вам нужна проститутка.

Глебов посмотрел на нее вопросительно.

— Вы меня неправильно поняли. Вам нужна проститутка для того, чтобы собрать дополнительную информацию. Боюсь, что ваша дочь… оказалась слишком порядочной и принципиальной. Поэтому ее убили. Поинтересуйтесь у любого таксиста насчет девушки на ночь, и вы все поймете. Продажный секс здесь — это уже давно индустрия. А индустрия — это большие деньги. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности. Хотя бы об элементарной. Обратитесь в консульство своей страны с заявлением о том, что вы проводите частное расследование убийства своей дочери. Пусть ваши бюрократы все это зафиксируют и поставят под контроль.

— Габи, вам надо работать в полиции…

— Достаточно того, что я преподаю в университете и иногда пишу книги, которые неплохо покупают читатели. — Габи улыбнулась. — Бывают, конечно, исключения из правил, но я думаю, хороший писатель утрет нос почти любому полицейскому-сыскарю. Все дело в наблюдательности, свободной инициативе и опыте.

Уже через пару минут Глебов имел возможность убедиться, что ему действительно повезло с новой знакомой. Ее пожелания перекликались с реальностью и подтверждали наблюдения Глебова о том, что Габи не просто формально приняла его информацию к сведению, — она вместе с Глебовым анализировала ее, обдумывала и на этой основе выстраивала

свое прогнозирование, которое позволяло принимать решения и двигаться вперед.

Таксист, который подвозил Глебова до консульства, оказался бывшим советским греком, эмигрировавшим из Тбилиси после распада СССР.

— Девушка хочеш? Иди ночной клуб, — сказал он, когда Глебов завел разговор на эту тему. — Три дринк купиш — хароши девушка вазьмеш, пять дринк купиш — самы лучши вазьмеш. Хочеш, тебя самы лучши ночной клуб отвезу? Там самы свежи девушка, недавно завезли.

— Да, — глухо сказал Глебов, — хочу. Самый лучший ночной клуб хочу. Подъедешь в «Ajax» в 12 часов. А пока давай съездим в Никосию[1].

В консульстве Глебов написал заявление, подробно изложил проблему. Консульский сотрудник, молодой клерк лет двадцати семи, посмотрел на него безынициативно, зевнул, но заявление принял.

— Вообще-то мы здесь по другим вопросам…

— Вообще-то я слышал, что консульство любой страны должно отстаивать права своих граждан за рубежом.

— Да, но…

— Отстаивайте, — сказал Глебов. — Бригаду спецназа я у вас не требую. А в известность поставил.

— Зачем?

— Затем, чтобы у такого умника, как ты, было меньше вопросов!

В гостинице Глебов набрал телефон Борсдорф.

— Габи, у меня к вам просьба. Не посоветуете, где я мог бы купить качественный цифровой диктофон?

— Я думала об этом. Это хорошая идея. Знаете что? Мы сделаем так. Через часика два к вам зайдет мой студент, я попрошу его об услуге — он купит вам диктофон. Если потребуется, объяснит, как пользоваться. Вы с ним, разумеется, рассчитаетесь. Вас это устроит?

— Габи, я не знаю, как вас благодарить…

В 10 часов Глебов сделал заказ по телефону, попросил принести бутылку полусухого вина, фрукты и конфеты в номер. Когда молодой официант закончил сервировать стол, Глебов сказал:

— У тебя это классно получается, парень. Ты профессионал, да?

Официант улыбнулся, извинился и начал говорить много непонятных, но необходимых для Глебова английских слов. Глебов слушал эти слова с вниманием, вставлял спокойным голосом абсолютно бессмысленные комментарии по-русски, а потом проводил его до самой двери и дал пятьдесят кипрских центов чаевых. Диктофон, который он достал чуть позже из-под стола, убедил его в том, что с разных точек номера пробная запись сделана в пределах четкой слышимости.

Он еще успел поужинать в ресторане отеля, выпил пятьдесят граммов греческого коньяка и на всех производил впечатление благожелательности и спокойствия.

В ночном клубе Глебов поступил так, как ему советовал тбилисский грек-таксист. Покрутился у барной стойки, взял коктейль, присел за столик.

[1] Столица Республики Кипр, своеобразный символ трагического противостояния греков с турками. В 1964 г. наметилось разделение Никосии на две части — греческую и турецкую. Это положение окончательно закрепилось в 1974 г., когда на остров вторглись турецкие войска. С этого момента Никосия является одновременно столицей двух непримиренных территорий: Республики Кипр и Турецкой Республики Северного Кипра. Мирное сосуществование соседей обеспечивают силы ООН. С тех пор, как рухнула берлинская стена, Никосия остается последней разделенной столицей мира.

Музыка гремела беспрерывно, как гул поезда, который без остановок двигался по короткому замкнутому кругу. Сменяемый цвет прожекторов выхватывал металлический отблеск шестов, девушек, которые напоминали молодых кошек, упоенных валерьянкой.

Подошел менеджер, что-то спросил, Глебов ничего не понял.

— I don’t speak Englich, — выдал он заученную фразу. — I want best Russian girl[1].

Менеджер отошел, появилась девушка (смуглая, броская, стриженная с претензией на вкус, с сигаретой в руке), подсела к нему.

— Угостишь, счастливый? — жеманно спросила на русском.

— Ты знаешь, я так устал сегодня, — сказал Глебов. — Хочется тихого праздника… Шумно тут у вас. Мечтаю провести вечер красиво. Как тебя зовут?

— А как тебе нравится? Наташа устроит?

— Вполне. Какие тут самые дорогие дринки, Наташа? 10, 15, 20 фунтов?

— О-о, осведомленный клиент! Но хочу тебя предупредить, я — не извращенка.

Глебов улыбнулся одним ртом.

— Ну, тогда мы просто созданы друг для друга.

Подошел менеджер, и Глебов, не торгуясь, отдал ему сто фунтов.

— Пять дринков моей девушки отдадите барменам, — сказал он.

Наташа перевела, довольный менеджер всем своим видом показывал, что он полностью разделяет просьбу Глебова, а если надо, он выпьет все дринки сам, один за другим. Без передышки…

В номере отеля, увидев сервированный стол, Наташа присвистнула.

— Это все для меня, что ли?

— Нет, делегация через три минуты приедет из Минска.

— Какая делегация? — девчонка не догоняла.

— Консультироваться с тобой хотят.

— По поводу?

— По поводу того, не хочешь ли ты принять душ?

— А-а, уже ухожу. — Наташа отщипнула с ветки виноград и раздавила ягоду во рту. Направляясь в ванную, бросила: — А ты шутник.

— А как же, — сказал Глебов и спустя минуту поставил диктофон на запись.

Через минут пятнадцать Наташа появилась по пояс топлесс, только бедра были обернуты махровым полотенцем.

— К нудистам собралась? — спросил Глебов, раскупоривая бутылку с вином. — Возьми халат в шкафу.

— Странный ты какой-то… Зачем он мне?

— Возьми, возьми.

— Но ты вообще-то в курсе, что клиенты платят не только за дринки, но дают девушкам и чаевые?

Глебов поморщился и достал двадцать фунтов.

— Хватит?

Наташа взяла купюру и засунула в сумочку.

— Еще не решила.

— Я добавлю, если скажешь…

— А ты что, Ричард Львиное Сердце?

---

[1] Я не говорю по-английски. Я хочу лучшую русскую девушку *(англ.)*.

— А кто это такой?

— Мужик английский. Когда-то женился здесь.

— Нет, я — Глебов.

— Футболист?

Глебов закатил глаза и вздохнул.

— Нет, я не играю за «Арсенал»[1]. Я не Глеб — Глебов.

— А-а… Слушай, а зачем весь этот маскарад?

— А тебе не нравится?

— Ну, скажу тебе, не высший класс, но, в общем-то, сойдет. — Наташа взяла бокал и отпила вина.

— Тогда в чем дело?

— Да обычно так себя не ведут, футболист. — Она допила вино, поставила бокал, по краям которого отпечатался яркий след от помады, и он налил ей еще. — Думаю, не обойдется ли мне это дороже, чем ты пробашлял…

— Ладно, давай начистоту. Я ищу одного человека.

— Начинается. Я-то тут при чем?

Глебов достал из портмоне фотографию дочки и протянул ее Наташе.

— Я ищу эту девушку. Она мне очень нужна.

Наташа взяла фото и, взглянув на него, мгновенно изменилась в лице, поспешно заговорила:

— Я ее не знаю и ничего не знаю. И знать не хочу. И вообще, я здесь по делу. Я не собираюсь играть в эти галимые игры. Ты заплатил, и я отработаю. И ничего больше. Давай сделаем все по-быстрому, и я уйду.

Теперь она смотрела на него со страхом, и Глебов понял, что случайно он выбил десятку. Он впился в эту проститутку глазами, как альпинист без страховки хватается за случайный выступ горной породы и, скрепя зубами, держится, держится изо всех сил. Глебов вдруг почувствовал, как ей стало неуютно сидеть напротив него с открытой грудью. Глаза их встретились, и она резко встала и, отвернувшись к стене, сбросила махровое полотенце на пол и начала нервно натягивать свои потертые джинсики, маечку. И тонкие плечи ее тряслись…

— Это моя дочь, — сказал Глебов тихим хриплым голосом. — Моя единственная дочь… Я знаю, что ее убили. И ты, вижу, знаешь это. Я ее растил один, и у меня нет больше никого в этой жизни. Никого… Поэтому я прошу: помоги мне!

Наташа замерла, обернулась. Она напоминала маленькую девочку, которая в страшном сне прошла по кладке по-над пропастью до середины и посмотрела вниз.

— Меня убьют…

— Нет, я тебе отвечаю, нет.

Она подошла к столу, села в кресло, налила себе вина.

— Ее привез первого или второго октября в клуб Кондуриоти. Подписывать контракт.

— Кондуриоти, он кто, главный у вас?

— Да.

— Кондуриоти, ты говоришь?..

— Ты что, глухой? Кондуриоти.

— Это имя?

— Фамилия.

---

[1] Выдающийся белорусский футболист Александр Глеб с 2005 по 2008 год играл в футбол за английский клуб «Арсенал».

— А имя?
— Мариус. Мариус Кондуриоти.
— Что за контракт?
— Дырка от бублика. Через подставную фирму предлагают работу. «Требуются няни, официантки, гувернантки, переводчицы». Потом везут в клуб, забирают паспорт, предлагают сменить профиль. Кто не соглашается — прессингуют. Но таких было всего восемь или девять. Они сейчас у Георгия Победоносца. Монашки…
— Что за Победоносец?
— Священника тут так кличут одного. Николаос Феотокис. Служит в церкви святого Стилиана. Создал приют для жертв секс-трафика. Летает, как Карлсон, по всему Кипру, в аэропортах и в посольствах распространяет брошюры, призывает не быть товаром. В общем, голодает…
— В смысле?
— Ты что, олигофрен? Плохо живет. Концы с концами с трудом сводит. На сексе кучу бабок зарабатывают, на морали — только язву желудка.
— Что потом?
— Ничего. Ломали ее, ломали — без толку. Кондуриоти и Мать Тереза повезли ее в полицейское управление.
— Зачем?
— Психическая атака. Показать, что у них все куплено. Даже там. Начали клеить ей наркоту.
— А мать Тереза — это кто?
— Бизнес делает с Кондуриоти. Молдаванка. Иляна Кодряну. Типа опекает нас: щупает настроение, проплачивает стукачам. В курсе обо всех девочках. Бывшая пута. Специализировалась когда-то на полицейских. Хорошие связи имеет там.
— По-русски говорит?
— Как мы с тобой.
— Голос у нее глухой такой и акцент южный, да?
— Да, да.
— И что в полицейском управлении?
— Шоу. Твоя маленькая оказалась с характером: потребовала адвоката на трех языках. Полицейские активно вспотели: забирайте ее и увозите.
Глебов закрыл глаза, скулы его задвигались.
— Откуда знаешь?
— Мать Тереза сказала, что это ей все равно не помогло. Кондуриоти потом повез ее к своему дружку Такису Факаидису домой, и она… выбросилась из окна.
— Выбросилась из окна?
— Откуда я знаю, как там было?! Мать Тереза свозила к этому дому на следующий день еще одну неконтактную, она всем все и рассказала.
— Зачем?
— Что «зачем»?
— Зачем она туда ее возила?
— В воспитательных целях.
— Дом этот можешь показать?
— Только из машины. Выходить и крутиться возле него не буду.
— Поехали.
Уже рассвело, когда она попросила таксиста свернуть во двор и притормозить метров за тридцать до девятиэтажного здания.
— Вон твой дом, милый. Я не буду тебя провожать, хорошо?

Таксист смотрел равнодушно в лобовое стекло.

Глебов сыграл свою роль до конца.

— Скажи ему, чтобы он отвез тебя туда, куда ты хочешь. И береги руку, футболистка. — Он рассчитался с шофером, сунул ей двадцатифунтовую купюру, хлопнул дверью…

Как только Глебов подошел к дому, сердце его забилось под кадыком, словно попавшая в силок птица. Каким-то звериным чутьем он понял, что это именно то место, где последние минуты дышала этим чужим воздухом, настоянном на море и кипарисах, его девочка — бабочка на весеннем цветке…

Он обошел дом и снял информацию довольно быстро. Улица, номер дома. Судя по всему, дом жилой, с балконами, два подъезда. Рядом — детская площадка, прикрытая от шумной улицы фиговыми деревьями, платанами, финиковыми пальмами и акацией. Идиллия...

Глебов поймал такси, вернулся в отель, отвел себе пять часов на сон и ограничил это время на будильнике мобильного.

Проснувшись, он впервые после черных вестей о смерти дочери сделал растяжку и отжался от пола пятьдесят один раз. С левой стороны груди защемило.

Под душем он закрыл глаза, минут пятнадцать неподвижно стоял под бьющими струями воды, опустив голову, упершись сжатыми кулаками в кафель…

Ко второй половине дня о последних часах своей дочери он знал практически все.

В доме с балконами он с Габи отыскал свидетеля. Ангелос Митропулос жил на первом этаже и ранним утром 3 октября курил у окна — как раз напротив детской площадки. Он видел все и поэтому детально рассказал Глебову то, что несколько дней тому назад в общих чертах сообщил лучший в Минске судмедэксперт. Низко опустив голову, Глебов слушал сбивчивый перевод Габи. Несколько раз в течение своего рассказа Митропулос повторил, что дал запротоколированные показания полиции, и его заверили, что они будут надлежащим образом рассмотрены и прикреплены к уголовному делу…

Это была новость, серьезная новость. Ни о каком уголовном деле Глебову ничего не сообщали.

— Почему вы решились дать показания? — спросил у него Глебов.

— Вы видите эту детскую площадку? — спросил пожилой грек. — Каждый день там играют дети.

— I understand, — вырвалось у Глебова по-английски. — Thank you[1].

Когда они с Габи возвращались к шумной городской улице мимо фиговых деревьев, платанов, финиковых пальм и акаций, Глебов вдруг подумал, что это были его первые английские слова, которые он произнес непроизвольно, без усилий.

— А знаете что, Габи, — сказал Глебов. — Давайте съездим к этому священнику, Николаосу Феотокису.

— Да, нам не помешает к нему съездить, — согласилась она. — Церковь святого Стилиана, это где-то в районе Линопетра. — Габи сказала это так, как будто они давно совместно приняли решение по этому вопросу, и Глебов не пожалел, что он доверился этой женщине.

По дороге Габи рассказала ему о приходе отца Феотокиса. Для 21-го века это был странный приход. Службы в церкви совершались по старому стилю на церковнославянском языке, а прихожанами и паломниками были болгары,

[1] Я понимаю. Спасибо *(англ.)*.

французы, белорусы, сербы, русские, американцы, молдаване, украинцы, канадцы, гагаузы и даже турки.

— Отец Феотокис считает, что человек должен нести ответственность за все, что он делает, и не перекладывать свои проблемы на Бога. Делайте что должно, и Господь поможет вам в ваших делах. Такая его философия.

— Габи, вы не работаете в разведке?

— Нет, — Габи улыбнулась. — Я же вам говорю: я преподаю в университете и иногда пишу книги. И много общаюсь со студентами. Поверьте, этого достаточно, чтобы собрать необходимую информацию и сделать определенные выводы.

— И какие же выводы вы сделали?

— Я думаю, что очень скоро мы познакомимся с любопытным человеком, и я не очень удивлюсь, если он предложит нам помощь.

В общем-то, все так и получилось.

Служба уже подходила к концу, небольшой старый храм не вмещал всех, и Глебов с Габи стояли рядом с другими на улице. Потом на подносах стали разносить фрукты, угощать прихожан и паломников. Появился священник (за шестьдесят, среднего роста, с седой бородой), обходил всех, выслушивал, беседовал, отвечал на вопросы. Когда подошел к ним и услышал, с какой целью они пришли, попросил подождать, закончил свои беседы с другими и провел их во внутренний дворик.

Там, под кипарисами, они сидели за простым сосновым столом и разговаривали.

— Это хорошо, что вы ко мне заехали. Очень хорошо, — отец Феотокис скользнул рукой по седой бороде. — Беда... 28 кабаре и ночных клубов на одной только улице вон там, — он показал куда-то за ограду, — и в каждом работает от пяти до пятидесяти русскоговорящих. Деньги, любой ценой деньги. Мир сошел с ума. Война каждый день. На улице, на работе, дома. Из-за денег весь мир воюет без объявления войны.

— Такое время, — поддержала разговор Габи.

— Да, такое время. Но всегда есть умалишенные. Деньги для них все. Деньги и только деньги. Ночью деньги, днем деньги. Всегда деньги, везде деньги. Только деньги. В глазах у них деньги. Души их заткнуты деньгами. Ничего, кроме денег. Никого, кроме денег. Деньги ради денег. Беда…

— Беда, — вздохнула Габи. — И без денег нельзя, и с деньгами…

— Нет-нет, все дело в мере. — Отец Феотокис на мгновение задумался. — И потом деньги — это только костыль, а путь — всегда смысл. Главный смысл.

— Что посоветуете, отец Феотокис? — спросил Глебов и посмотрел в его залитые солнцем глаза.

— Поделюсь — советовать не буду. Ваша беда — моя беда. — Отец Феотокис приложил узловатую руку к груди. — Такое отчаянное сопротивление, какое оказала ваша дочь, встречается крайне редко и вызывает уважение. Светлая ей память, я буду поминать ее каждый день. Вижу, что вы доведете свое дело до конца. С Божьей помощью. Но терпения придется набраться большого. И я бы попросил вас в полицию самим пока не ходить. Это только навредит. Если есть возможность, наймите опытного адвоката и свяжитесь с прессой. Я дам вам список изданий, которые окажут вам содействие. Адвокат будет вести ваше дело как юрист, а пресса создаст общественное мнение. И то, и другое вас хоть немного подстрахует. Но будьте готовы и к тому, что газеты начнут грязную кампанию против вашей дочки, — это будет первый сигнал о том, что те, кто в этом заинтересован, вступили с вами в войну. Но другого пути я не вижу. Чисто технически

выход на администрацию города и генпрокурора у меня есть. В этом вы можете на меня всецело положиться. Но в том, что их реакция будет вялой, у меня нет никаких сомнений. Имел уже возможность убедиться. И еще. Вы можете всегда у меня остановиться. На бентли мы, конечно, не разъезжаем, но, слава Богу, сможем предоставить вам временно крышу над головой. У вас не будет таких услуг, как в отеле, но сэкономленные деньги вы сможете потратить на адвоката.

Глебов принял это предложение.

Спустя три дня Габи после активных поисков нашла ему цепкого и дорогого адвоката. Он не совсем подходил — прежде всего, потому, что жил в Никосии и до Лимосола ему надо было добираться километров 85. В сумму оплаты своих услуг в размере 150 фунтов за час он попросил добавить еще 30 на дорогу. Однако после недолгих обсуждений с Габи Глебов убедился, что расходы на адвоката вполне оправданны. У него чрезвычайно высокий авторитет в профессиональной среде и, что показательно, такой же авторитет в среде криминальной.

— Заключенные центральной тюрьмы Никосии отзываются о нем очень хорошо, — сообщила Габи. — Среди его клиентов есть и ваши бывшие соотечественники из республик экс-СССР. Приход отца Феотокиса, кстати, им всегда помогает. Я только не понимаю одного: каким образом этот Дэмис Саррис умудряется кататься на этих качелях?

— На каких качелях?

— Ну, как ему удается сохранить авторитет и в профессиональной среде, и в среде криминалитета?

— Не знаю, может, держит равновесие, когда раскачивается, — предположил Глебов.

Впрочем, вскоре оказалось, что Дэмис Саррис из тех профессионалов, кто сам привык отвечать на подобные вопросы. Худой, лохматый, с мелкими кучерявыми волосами и широкими длинными бакенбардами, он с первого взгляда производил впечатление придурка, если молчал. Но когда он начинал говорить, придурком сразу же ощущал себя собеседник. Он был расчетлив, точен, обходителен, въедлив. Нюх и хватку имел, как у собаки, скрещенной с волком. Ничего лишнего, дело и только дело. За две недели Саррис отработал 20 адвокатских часов. Обобщил и профессионально оформил всю информацию, которой располагал Глебов. Крайне внимательно отнесся к заключению судмедэксперта, попросил Габи перевести его, изучил и приобщил к делу. Выявил в отчете следователя Хололобуси массу несоответствий и запротоколировал их. Обнаружил, что из поспешно закрытого уголовного дела исчезли показания единственного свидетеля Ангелоса Митропулоса, и потребовал их восстановления. Составил необходимые документы для возобновления уголовного дела и отослал их в инстанции. Дал несколько акцентированных интервью в прессе и на телевидении. И, как показалось Глебову, даже негласно спровоцировал реакцию общественного мнения на данное преступление среди наиболее активных слоев населения, в том числе и со стороны тех, кто не всегда занимался легальным бизнесом, но никогда не опускался до бизнеса, связанного с продажным сексом.

Как и предвидел отец Феотокис, тут же газеты начали грязную кампанию против дочки Глебова. Писали, что она целенаправленно приехала на Кипр для занятия проституцией, что у нее были состоятельные клиенты, которые всегда оставались довольны качеством услуг, что несчастный случай не может служить поводом для приведения в действие репрессивной машины в демократическом обществе…

Дэмис Саррис потирал руки и говорил свою любимую фразу:

— Дурачки, они забыли римское право. Я имею иск — значит, я имею право. — И отсылал иски в газеты о клевете. Газеты заткнулись, негатив смыло с их страниц волной возможных финансовых издержек.

Глебову Саррис посоветовал больше не предпринимать самому никаких действий.

— Отдыхайте, сходите на пляж, на рынок. У нас много достопримечательностей. Посетите крепость, где женился Ричард Львиное Сердце. Там сейчас Музей средневековья. Надеюсь, вам будет интересно. Демонстрируйте свою полную уверенность. И не особо волнуйтесь: после придания делу общественного мнения у них не хватит характера пойти на радикальные меры против вас. Я думаю, что теперь они постараются договориться. Насколько я понял, для вас это неприемлемо?

— Вы все правильно понимаете, мистер Саррис, — сказал Глебов.

— И все-таки вам надо будет их выслушать. Я уверен, они скоро выйдут на вас. Поэтому наберитесь хладнокровия. Мы должны их чувствовать. Во всех ситуациях.

Саррис не был провидцем, но кроме изумительного нюха у него были большой профессиональный стаж и знание психологии людей: Глебову предложили деньги. 20 тысяч кипрских фунтов.

Это произошло в небольшом ресторанчике, за столиком. Глебов с Саррисом в основном слушали, Мариус Кондуриоти со своим адвокатом вели торг. Габи, расположившись на приставном стуле, переводила.

— Нам очень жаль, мистер Глебов, — сказал Кондуриоти ровным бесцветным голосом. — Искренне жаль. Мы понимаем ваши чувства, но это действительно несчастный случай.

— Вы пришли нас об этом проинформировать? — жестко спросил Глебов, сжимая до белизны кулаки на столе, и Саррис плавно, как на педаль газа, надавил на его ногу.

— Не только. — Кондуриоти почесал за ухом большим отполированным ногтем мизинца и провел ладонями по черным вискам, залитым гелем. — Мы бы хотели разделить вашу боль и сделать все возможное, чтобы она оказалась не такой сильной. Я буду откровенен. Мы идем на это только из гуманных соображений. Мы хотели бы оказать вам материальную поддержку в этой сложной ситуации. Мы готовы передать вам двадцать тысяч фунтов, если это вас утешит и… и если ваше горе не будет таким разрушительным…

— Мое горе действительно не знает границ. Это точно. — Глебов склонил голову как-то набок и внешне говорил спокойно и уверенно. — Но сюда я пришел не за тем, чтобы сказать это. Я здесь по другой причине. Меня мучает обещание.

— Обещание? — Кондуриоти на мгновение смутился.

— Да, обещание… — Глебов тяжело вздохнул, а затем, позабыв о качестве диктофонной записи, резко приблизился, ударил ему в глаза своим взглядом и глухо произнес: — Я обещаю, что пожизненный срок покажется тебе раем, сучий потрох!

Саррис предупредительно схватил Глебова за руки и, усаживая его на место, твердо бросил ему: «Break!»[1]. Кондуриоти эпатажно откинулся на спинку стула и вскинул вверх кисти холеных рук.

— Мистер Глебов, о чем вы говорите? Мы надеялись, что вы деловой человек. Но если разговор приобретает такой смысл, то и я должен вам сказать… Я не исключаю, что из-за вашей активности и негативного общественного мнения, которое вы пытаетесь создать, мы будем нести какое-то время

[1] Прекращение боя при захвате (в боксе). Перерыв, пауза *(англ.)*.

финансовые издержки. Но, во-первых, я глубоко уверен, что эти издержки будут значительно меньше той суммы, которую мы вам предлагаем. И во-вторых, время наших финансовых проблем очень быстро пройдет. Наш бизнес вносит значительную сумму в бюджет города, и… — Адвокат Кондуриоти начал едва слышно нервно постукивать костяшками пальцев по столу. — …и я думаю, вы понимаете, — продолжил Кондуриоти, не обращая на это внимания, — вы понимаете… что это говорит о многом. Поэтому я советую вам подумать. Мое предложение остается в силе.

Никогда раньше Глебов не думал, что он способен на такую ненависть. Она разливалась по его жилам, стучала в висках, тупой болью вонзалась в сердце. Саррис настойчиво просил его помнить о хладнокровии.

— Только спокойствие и выдержка помогут нам, мистер Глебов. Никаких угроз, никаких срывов. Я могу предположить, как вам нелегко, но соблюдайте дистанцию и ведите бой профессионально. Не надо давать нашим противникам даже минимального шанса на подачу встречного иска. Дайте мне возможность отработать те немалые деньги, которые вы мне платите. Уверяю вас, пройдет еще какое-то время и лед тронется.

Несомненно, Дэмис Саррис знал, о чем говорил. Он не только предвидел логику развития процесса, но и сам ее конструировал, — через какое-то время лед действительно тронулся. Поначалу, правда, Глебов этого не заметил, потому что все факты свидетельствовали скорее о заморозке ситуации, чем о ее разморозке. Но, в конечном счете, Саррис все-таки выстроил ту архитектурную юридическую композицию, которую и запланировал.

Обращения в суды разных инстанций о возобновлении уголовного дела по факту гибели дочери Глебова были устойчиво проигнорированы судебной системой, но Сарриса это только вдохновляло. Все отказы он аккуратно складывал в отдельную папку, предварительно выделяя желтым маркером фамилию судебного клерка, инстанцию и число. Когда все инстанции были пройдены и получен ключевой судебный отказ, Саррис составил бумагу, которую опытный боксер назвал бы неожиданным мощным джебом[1]. В этой бумаге Саррис проинформировал высшую судебную инстанцию Кипра о том, что Европейский суд принял к расследованию дело о гибели Ольги Владимировны Глебовой. Основанием для этого, сообщал Саррис, явился отказ кипрских властей предоставить защиту от сутенера Ольге Владимировне Глебовой, а также отказ ее отцу Владимиру Александровичу Глебову в возобновлении уголовного дела. Этим самым, подчеркнул Саррис, член ЕС Республика Кипр нарушила сразу несколько статей Конвенции Евросоюза.

В общем-то, это был прецедент. Как потом узнал Глебов, ранее Страсбург вообще не принимал к расследованию дела о жертвах секс-трафика и работорговли. А тут, благодаря высокопрофессиональному дару какого-то лохматого «придурка» с кучерявыми бакенбардами, все пришло в движение. Европейский суд обязал Кипр разобраться и возобновить дело, к его расследованию подстегнули зубастых страсбургских юристов. Газеты подняли шум, окрестили процесс «Glebov is against Cyprus»[2], дули во все щеки в восторге, словно футбольные фанаты в дудки на решающем матче.

Как говорится, вот тут-то и состоялась любопытная встреча Глебова с кипрским правосудием.

В тот день он решил прогуляться по городу, подышать воздухом у моря: как-то странно болела спина и ныла нижняя челюсть.

---

[1] В боксе джебом называют прямой удар.

[2] Глебов против Кипра *(англ.)*.

Да, Афродита[1], несомненно, была женщиной со вкусом. Неслучайно она выбрала именно этот остров местом своего рождения и вышла из белоснежной пены морских волн именно здесь. Киприда…

Глаз невольно ложился на изумительную картину. Побережье, завоеванное отелями, лентой убегало к аквамариновому горизонту. Коричневый песок пляжей, облизываемый морской волной, умиротворял и располагал к спокойствию. Утреннее солнце и морской воздух, смешиваясь, создавали аромат, настоянный на испарине кипарисов, эвкалиптов и платанов. Прозрачный день, чуть мреющий и ленивый, близнец дня вчерашнего и наверняка завтрашнего, как опытный художник, наносил свет и тени по всему полотну с безупречным вкусом. Все это в другое время могло бы быть сказкой, наслаждением, радостью…

Проходя мимо зоопарка, Глебов увидел, как смотритель поливает из шланга водой слона и что-то мягко и беззлобно выговаривает ему на греческом, словно своей любимой нашкодившей собаке. Слон переставлял дубовые ноги, чесал хоботом спину и виновато косил огромным сливовым глазом.

На пляже Глебов долго сидел под эвкалиптами и смотрел на море. Он гнал от себя тревогу, которая закрадывалась в сердце. Боль в спине не утихала, челюсть немела. Какой-то сумасшедший во фраке, в белой рубашке, галстуке-бабочке, лакированных туфлях с абсолютно серьезным видом бешено лупил порванной на лоскуты тряпкой о прибрежные камни. Позже Глебов рассмотрел, что это не сумасшедший, и в руках у него была не тряпка, а, видимо, купленный на рынке осьминог: он отбивал его о камни, чтобы приготовить к обеду по-гречески с овощами. Глебов механически улыбнулся…

От побережья к городу вдоль улиц тянулись бесконечные вывески автомагазинов, которые, наверное, напоминали о том, что жители провинциального кипрского города рождаются только для того, чтобы искупаться в море, купить автомобиль и умереть… Глебов снова улыбнулся.

Потом ему позвонила Габи и сказала, что им срочно надо съездить в Никосию, потому что с ним «без галстуков» хочет встретиться генеральный прокурор. Выезжая вместе с Габи из Лимасола на такси, на одной из улиц Глебову показалось, что он увидел Володю.

Глебов достал сотовый, нашел его номер в адресной книге и попытался до него дозвониться. Номер абонента был недоступен, коротко стриженый человек, которого Глебов принял за Володю, свернул за угол.

«Переутомился», — решил Глебов, положил под язык таблетку нитроглицерина и вытер пот со лба тыльной стороной ладони. Габи спросила, все ли у него нормально, он постарался улыбнуться и сказал: «Отлично».

В просторном кабинете у генерального прокурора ему стало еще хуже, но Глебов не подавал вида и старался расслышать все, что ему говорили.

Прокурор производил впечатление человека, у которого выутюжено все, от носков до галстука. Дорогой костюм на нем сидел, как парадная форма на американском морском пехотинце. Он много двигался по кабинету и за весь разговор практически ни разу не присел в свое объемное кожаное кресло.

— Я уполномочен выразить вам наши соболезнования, мистер Глебов, — сказал он. — Я был бы вам признателен, если бы вы их приняли. Я также был бы признателен, если бы вы уделили мне несколько минут и выслушали меня.

Габи перевела, прокурор продолжил.

---

[1] В греческой мифологии богиня любви и красоты. По названию острова Кипр Афродиту иногда называют также Кипридой.

— Мы еще раз внимательно изучили дело вашей дочери и вынуждены признать, что в нем действительно много неточностей и вопросов. И тем не менее, в силу ряда причин, скажу вам откровенно, мы не хотели бы, чтобы ваш процесс приобрел еще больший негативный резонанс в Европе и…

— Что это за причины? — перебил Глебов.

— Эти причины самые разные. Но, конечно же, прежде всего, они связаны, с хорошим политическим фоном для нашей страны и с ее экономическим благополучием… Кипр — член Евросоюза, через пару месяцев мы подтвердим свой статус европейской страны еще одним шагом: вступим в Еврозону. Для нас очень важен статус…

— Но я не совсем понимаю… — снова перебил Глебов.

— Одну минуточку… Я буду предельно краток: то, что случилось с вашей дочерью, это случайность, понимаете, мистер Глебов? Досадная случайность. Уровень преступности в нашей стране настолько незначителен, что в принципе может быть признан несуществующим. Понимаете?

— С трудом.

— Я постараюсь объяснить. — Прокурор снял пиджак и повесил его в шкаф на плечики. — Мы не хотели бы, чтобы с этим делом в целом ассоциировался греческий Кипр. У нас хорошая страна, и мы ее очень любим.

— Я тоже люблю Кипр, здесь прекрасные люди, — согласился Глебов. — Но это ничего не меняет. Преступление есть преступление. «Случайное» оно, как вы выразились, или не случайное.

— Да, вы имеете полное право на такое утверждение. Я понимаю. Но есть разные формы противостояния преступлениям, и не всегда суд, пусть и самый объективный, может принести пользу обществу. Очень часто общественное порицание может оказаться сильнее суда. У меня есть для вас хорошие новости, мистер Глебов. Действие лицензии на работу ночного клуба Мариуса Кондуриоти приостановлена. Налоговые службы проявляют к нему повышенный интерес. Его коллеги по бизнесу отворачиваются от него и демонстрируют свое презрение. И это только начало, мистер Глебов, уверяю вас.

— Я надеюсь, что для него все закончится тюрьмой и пожизненным сроком. Как и для его подельников, — сказал Глебов и услышал свой голос как будто из-за стеклянной перегородки.

— Я также не сомневаюсь, что они закончат плохо, мистер Глебов. Но в данном случае в органы государственной власти обратились владельцы ночных клубов с предложением, и я должен его озвучить. Они взволнованы ситуацией и не хотят проблем для своего бизнеса. Они просят вас забрать свой иск и предлагают 200 тысяч кипрских фунтов. Это хорошие деньги, мистер Глебов. В долларах это почти полмиллиона.

— Мое исковое требование более скромное — 150 тысяч фунтов. Но дело не в этом.

— А в чем?

— Вы сами себе отгрызаете руку, — сказал Глебов.

— Что?

— Я не отзову иск. — Глебов встал и пошел к выходу, стараясь преодолеть новый прилив удушья, тошноты и головокружения. На лестнице Габи успела подхватить его — он потерял сознание.

Очнулся он в госпитале, в реанимации, с иглой от капельницы в руке. Если бы Габи в течение 40 минут не отвезла его в больницу, Глебов бы умер. Обычные дела при инфаркте, сказали ему позже. Но Глебов не только не умер, но через две недели уже встал на ноги и, хотя и прислушивался к рекомендациям врачей, все-таки начал активную жизнь.

До первого судебного заседания он решил полностью положиться на отца Феотокиса, Дэмиса Сарриса и Габи Борсдорф. В Минске его ждали договоренности о выселении из проданной квартиры, и, просрочив их, он не мог уже более откладывать свой отъезд.

Провожали его душевно. Как и в первый раз, они сидели во внутреннем дворике храма, под кипарисами, за простым сосновым столом. Стол был накрыт щедро. Здесь были и клефтико, и мезе, и сувлаки, и кефтедес, и шефталия, и кальмары, и осьминоги в красном вине, и само вино Коммандария. Греческое гостеприимство, как солнце, заливало все вокруг.

Глебову казалось, что его девочка тоже сидела рядом с ними, за общим столом, а потом медленно повернулась к нему, и на фоне легкого света он увидел, какая она красивая: заколотые прямые волосы, большие оленьи глаза, тонкая рука, плавно поправившая прядь и потянувшаяся за кружкой с кофе…

— Не перестаю удивляться, как все-таки Господь людей сводит, — сказал отец Феотокис и покачал головой. — И правда, жизнь — это чудо.

— Да… — сказал Глебов.

— Я так вижу, что вы еще вернетесь сюда, и не один раз. — Отец Феотокис привычным жестом провел рукой по седой бороде. — Кипрская церковь подарила нам участок земли, и мы будем строить большой храм. Этот-то маленький. Люди во время службы стоят на улице. Сами видели. У нас, конечно, тепло, но бывают дожди, зачем же людям под дождем мокнуть? Нехорошо.

Действительно, еще несколько раз Глебов прилетал на Кипр. Он сильно сдал и осунулся, и не то чтобы потерял интерес к жизни, но как-то изменился, перестал уделять внимание тем мелочам, которые еще два-три года назад казались ему значительными. Глебов напоминал человека, который очень долго бежал, а потом вдруг остановился, отдышался, посмотрел по сторонам и медленно пошел по дороге.

Однажды на Кипре он снова перенес инфаркт, и Габи пришла к нему в клинику.

Они поговорили о деле. Глебов лежал, больше слушал, чем говорил, и в его внешности прочитывалась странная отрешенность.

Казалось, ему ни до чего уже не было дела. Габи была рядом, сидела у его изголовья, тихо что-то сообщала, но он слышал слова другой женщины — слова резкие, неприятные, жесткие, — слова, которые доносились откуда-то издалека. «Глебов, ты ничего не понимаешь! — кричала ему эта женщина. — Ты — зубило! С зубилом можно работать, но жить с зубилом нельзя!» Глебов вслушивался в эти слова, вспоминал их, закрывал глаза, стараясь ответить себе на какой-то давний сокровенный вопрос, но ответ все никак не находился. Когда Габи собралась уходить, он посмотрел ей в глаза. В его взгляде уже не было прежней цепкости, напористости, но появилась какая-то задумчивость.

— Отец Феотокис прав, Габи, — сказал Глебов и положил слабую кисть правой руки на грудь. — Жизнь — это чудо. Но знаете что? Не мы крутим в этой жизни рулетку. Нет, не мы. За семь дней нельзя перестроить свою жизнь и понять, что твоя жена больше никогда не вернется… Но если бы даже и можно было понять, могло бы что-нибудь не случиться, а?

Габи ничего не ответила. Она вспомнила очень практичную и элегантную тойоту в одном из автомагазинов у побережья. Габи давно уже мечтала поменять машину — старая выходила из строя, а дочку надо было возить в школу. Она хотела спросить Глебова, нельзя ли заплатить ей немного больше,

чем они договаривались, но решила сделать это чуть позже. Женщина только дотронулась до слабой руки Глебова и вышла из палаты.

Вскоре европейские газеты сообщили, что Глебов процесс выиграл. Мариуса Кондуриоти и Такиса Факаидиса приговорили к 12 и 10 годам соответственно. Иляна Кодряну получила 5 лет. Иск Глебова в 150 тысяч кипрских фунтов был удовлетворен кипрским правосудием только в размере 43 тысяч евро.

Через месяц после того как деньги поступили на счет в Минске, Глебову на сотовый неожиданно позвонил Володя. Он поинтересовался, получил ли Глебов деньги по иску.

— Почему это тебя так волнует, Володя? — спросил Глебов.

— Потому что, если у вас нет денег, вы можете забрать свои триста долларов. Вы мне ничего не должны.

— Нет, Володя, я получил деньги.

— Точно?

— Абсолютно.

Еще через неделю Глебову позвонила Габи. Голос ее был почти спокоен.

— Вчера убили Кондуриоти и Факаидиса. При этапировании в тюрьму, — сообщила она. — Вы меня слышите?

— Да, — тихо сказал Глебов.

— Преступника задержали. Отец Феотокис попросил Сарриса вести его дело.

— Боюсь, я знаю, как его зовут, Габи. Я вышлю деньги на его защиту. Хотя, мне кажется, он не особо в ней нуждается. У него есть две пары туфель, семь новых рубашек, пять галстуков и три костюма. Про автомобиль я, разумеется, молчу...





ИВАН ПЕХТЕРЕВ

На небосводе любви

Святая Русь

Русь, ты — белые березы
На погостах и в судьбе,
Русь, не раз пытались грозы
Очи выпалить тебе.

Ты не сникла, не ослепла,
Пред бедой не впала в страх,
С Православной верой крепла
И врагов разила в прах.

Но душа невольно стынет,
Если вспомнится, как рать
Дураков
Твои святыни
В грязь старалася втоптать.

И смотрела ты сквозь слезы
На поруганную честь,
Но, как белые березы,
Твои храмы не известь.

Посмотри — в сердцах светает,
В тех сердцах, где лик Христа.
Русь великая, святая,
Здравствуй ныне и всегда!

Гармония

Я не ищу гармонии в природе.
Николай Заболоцкий

А я ищу. Вон разные светила
Усыпали полночный небосвод,
Они идут по кругу — значит, сила
Такая есть, что задает им ход.

Являют птицы звонко вдохновенье —
Поют и славят праздник бытия,
И на виду гармония их пенья,
Хотя у каждой песенка своя.

Конечно, есть разлады и в природе,
И все-таки уверен я, что в ней
Согласья больше, чем в любом народе
И даже, может, у родных людей.

Уходящие деревни

Сгорбленные печи
Старых деревень…
Их печаль мне плещет
В душу каждый день.

А они ж растили
Столько лет хлеба,
Были в звонкой силе,
Да лиха судьба.

Нету перспективы,
Хоть у них вокруг
Те ж леса и нивы,
Тот же зелен луг.

Тут живут давненько
Старики одни,
Как их деревеньки,
Горбятся они.

Им хватает пенсий
За нелегкий труд,
Но давнишних песен
Не хватает тут.

Свадеб не хватает.
Ах, беда, беда:
Без детей летают
Аисты сюда.

Смотрю документальное кино

Смотрю документальное кино
Былой войны, былой войны большой.
Смотрю я на экран, как бы в окно —
И вижу я и слышу страшный бой.

Экран сверкает бешеным огнем,
Дрожит от воя смертного свинца…
Смотрю кино: а вдруг увижу в нем
Лицо живого моего отца?!

Июль

Светозарен день июля,
Солнце звонкое над ним,
Липа каждая, как улей,
Пахнет медом молодым.

И душа моя погожа,
Как на липе, в ней цветы,
И на липу так похожа
Золотой прической ты.

Впрочем, ею не одною —
Больше, чем от лип густых,
Веет зноем, сладким зноем
Все сильней от губ твоих.

Лазоревка

Лишь займется веселая зоренька, —
Я не знаю, зачем, почему, —
В синей шапочке птичка лазоревка
Прилетает к окну моему…

За окном сад в серебряном инее,
Может быть, его приняв за цветь,
Эта птичка с лазоревым именем
Начинает сиятельно петь.

Всех синичек на свете синей она
И поет всех синичек нежней —
И земля, что снегами завеяна,
Как душа, внемлет радостно ей.

И от песни мороз умягчается,
Тот мороз, что ярился досель,
И я слышу, как перекликается
С синеглазою песней капель.





АННА ВАСИЛЬЕВА

Лето наших надежд

Миниатюры

Лет двенадцать назад познакомился я с Анной Васильевой. Хрупкая стройная девушка ждала меня в коридоре с общей тетрадкой в руках. «Мне посоветовали показать вам стихи...» Как будто вчера это было... Отчетливо помню ту зеленую тетрадку, которую я читал и перечитывал вечерами. Немного настораживала взрослость ее тематического диапазона: и обращение к образу Анны Карениной, и свечи у изголовья «в день прощальный», и трамваи, которые «уходят в небо по четвергам»... Но об этом чуть ниже. А тогда, в самом начале века, многие преподаватели и студенты с нетерпением ожидали выхода педуниверситетской многотиражки «Настаўнік», где на каждой литстранице появлялись все новые и новые стихи Анны, которые впечатляли и настораживали, но никого не оставляли равнодушными. Несколько ее стихотворений попали в руки Анатолия Аврутина, и он включил их в антологию «Современная русская поэзия Беларуси». Потом Анна неожиданно перешла на прозу, и по ее первым рассказам я понял, что и в прозе она совершенно индивидуальна, ни на кого не похожа. Я не однажды заслушивался ее рассказами в неподражаемо чудесном (с картавинкой) исполнении во время заседаний литературного объединения «Крокі» и на университетских литературных вечерах.

Чуть более года назад я узнал страшную весть: Анна Васильева (уже Васильева-Давидович, жена художника Сергея Давидовича, мать двоих детей, одному из которых не было и месяца) ушла в небо в один из четвергов, в которые, как она когда-то написала, «уходят трамваи». Остались ее стихотворения, остался подготовленный и сверстанный ею собственноручно сборник стихов и рассказов «Отдам себя в надежные руки» (какое пророческое название!), с некоторыми произведениями из которого хочется познакомить читателей «Нёмана».

Микола ШАБОВИЧ

Имя, которое хочу забыть

От моего прошлого — чужому будущему
из настоящего, которого нет

Листья шуршат под ногами. Так шуршит газета, когда ее сомнешь в руке, но дома, в теплой комнате, этот звук режет ухо, а тут, на улице, успокаивает. Против воли начинаешь прислушиваться к шороху, шелесту, шепоту… «Прощайте, прощайте!» — шепчут опавшие листья. Разрывает небо крик какой-то

птицы — тоже прощается с солнышком и теплом. Уходит оно, прошелестев под ногами, махнув на прощание птичьим крылом. Уходит оно, лето наших надежд.

Я взрываю каблуками пестрый ковер. Раз-два, раз-два — шагаешь рядом ты. Молчим. Впрочем, я и так знаю, о чем ты сейчас думаешь. Вот уже скоро час как мы шатаемся по этому переулку в пять домов, на нос упала холодная капля дождя, посмотреть футбольный матч уже однозначно не получится… да и вообще пора домой! Держи такие мысли при себе, радость моя! Мы будем мерить шагами этот переулок столько, сколько я захочу!

Не по душе тебе эта прогулка, вижу, что не по душе, но ты не уходишь, дышишь мне в ухо, задеваешь меня плечом, — а главное, молчишь. И я ничего говорить не буду.

Ты знаешь, в такие дни я всегда хочу превратиться в птицу. Лететь, разрывая крыльями воздух. Чувствовать каждой клеточкой своего тела свободу, свободу от условностей и ограничений, когда нет ни завтра, ни вчера, ни забот, ни огорчений — только сегодня и сейчас…

…Интересно, как рвется воздух? Как бумага? Как шелк?

Мне кажется, как шелк. Он, как и шелк, такой мягкий, легкий… но иногда бывает таким плотным! Сейчас, осенью, мне почему-то тоскливо. Я мечусь, не нахожу себе места, не знаю, где голову приклонить, забыться хотя бы на несколько минут… и не могу, не могу надышаться. Осенью я всегда хватаю воздух ртом, жадно, как рыба, и всегда мне кажется, что его слишком мало для меня.

И в то же время именно осени я всегда жду с нетерпением, так, как самоубийца ждет боя часов, заведомо зная, что с последним ударом нажмет на курок.

…Яблоки! Как я хочу яблоко! Только что с дерева, еще не обсохшее как следует после ночного дождя. Украденное из чужого сада, да так, чтобы пришлось прыгать через забор, улепетывая от злой собаки, пробежать по переулку, ежеминутно оглядываясь, а потом где-нибудь за сараем впиться в него зубами, разрывая не слишком-то сочную мякоть и ежесекундно морщась от кислоты. Слопать за считанные секунды вместе с семечками, оставить только хвостик...

Пошли отсюда. Яблоки я куплю на базаре. Правда, они будут уже совсем другими, защупанными, затисканными чужими взглядами. И вкус у них будет совсем другой…

Ползет, ползет по зеленой яблочной щеке не высохшая за день дождевая капля. В ней отражаются дома, деревья, мы… вверх ногами. Почему? Спросить — у кого?

Опавшие листья прошепчут в ответ что-то невразумительное. Не знают? Не хотят сказать?..

Все, что я знаю о твоем имени, так это только то, что оно темно-синего цвета.

Протягиваю руки. Две горсти темно-синего снега начинают таять. Холодные струйки протекают между моими пальцами и падают вверх, в небо. Холодными струйками утекает от меня твое имя. Я забываю его, я ускользаю из-под твоей власти.

Бреду по дороге, низко опустив голову. Я думала, что теперь обрету свободу, — но ее у меня по-прежнему нет. Я легкая, как пушинка, — и в то же время тяжелая, как камень. Я бы хотела взлететь, но темно-синие руки

настойчиво влекут меня вниз. Твое имя, растаявшее в небе, прочно удерживает меня на земле. Твое имя, которое я хочу забыть.

Свобода — это только иллюзия, ее нет и никогда не было. Все мы носим свои цепи — разница лишь в отношении к ним. Я останусь, хороший мой, хоть и не верю, что ты действительно этого хочешь.

Я растворяюсь в твоих глазах цвета темно-синего звука, в последнем отчаянном порыве хватаясь за огромные темно-синие буквы твоего имени. Они обступают меня, точно непроходимый лес. С трудом пробираюсь между хитроумными завитушками, ежесекундно рискуя заблудиться в темно-синих зарослях вертикалей, горизонталей, кружочков и росчерков. Впрочем, заблудиться я не успею: золотое перо ручки фирмы Parker выводит твое имя.

Со стены на меня поглядывают огромные темно-синие глаза. Я подхожу к ним и спрашиваю, чего они хотят. Глаза непонимающе смотрят, щурятся и в конце концов закрываются, недоверчиво рассматривая меня из-под пушистых темно-синих ресниц. Тем лучше: они не будут пытаться что-то объяснить мне на своем темно-синем, когда-то таком родном, а теперь уже полузабытом языке.

Темно-синие буквы обступают мою кровать, протягивая ко мне свои длинные руки. Я пытаюсь закричать, вскочить, убежать, — но удается только слегка отстраниться от них. Радостно прижимаюсь к холодноватой поверхности стены…

…В муке раздирая простыни в клочья, вместе с кровью выплевываю острые темно-синие звуки…

Нет, это совсем не гвоздь впивается в вялую полубезжизненную плоть — просто фотовспышка на секунду разрывает завесу дождя, приклеивая к зеленоватой стене мою маску. В вечность врезается искаженный отпечаток лица женщины, которой нет и никогда не было. Ее лукавые глаза откровенно посмеиваются: а ловко, однако, провела она всех тех, кто не делает разницы между ней и мной! Что ж, пусть будет так.

Совершенствуемся в лживости, понемногу забывая все признаки и свойства истины. Полунамеки, полувзгляды, полуприкосновения, всегда оставляющие возможность двоякого толкования (второй вариант нравится мне больше — давай признаем его верным!). Но все-таки где-то в глубине живет и мучает нас их первый, настоящий смысл — не беда, как-нибудь заглушим: на что же еще фантазия дана! Подставляем ладони и ловим жизнь кончиками пальцев. Совершенствуемся во лжи, убеждая себя в том, что вокруг не руины, а роскошный белокаменный дворец.

Полупрогулки, полупобеги. Сегодня мы будем говорить ни о чем: любое неосторожно сказанное слово может «возмутить ключи» и лишить нас последней защиты — паутины лживости. Это наш общий дамоклов меч, мой и твой. Ты хочешь, чтобы он упал? Тогда — молчи!

Хорошо тебе сейчас? Так вот, больше этого не будет: что поделаешь, периодически ведь и я могу позволить себе маленькую вольность! Но вообще-то неизвестность мне милее: слишком слаба я для того, чтобы снять маску окончательно и бесповоротно.

Ирония — это защита слабых, тех, кто больше никак не может оградить себя от муки срывания покровов. Смеюсь над тобой, над собой, над нами, над целым светом… не торопись упрекать меня в язвительности и злоязычии: я только защищаюсь. Не хочу, чтобы ты видел, насколько я слаба. Наверняка и ты защищаешься от моей защиты. Совершенствуемся в лживости.

Слова застревают в моем горле, разрывая голосовые связки своими острыми звуками. Они слишком просты для того, чтобы наша пустота могла вместить их в себя. Давай лучше посмеемся над ними — авось испугаются и уйдут туда, откуда пришли.

На самом деле я всегда хотела сказать тебе только одно: забери меня и увези хоть куда-нибудь. Я не могу без мыслей о тебе — хотя бы раз на десять минут.

Ничего такого я тебе не скажу. Пассивная я, по сути дела, героиня. Та самая Елена Прекрасная, которой что Иван-царевич, что Дмитрий, что Василий — все едино. А на худой конец и Серый Волк сойдет, лишь бы в итоге уволок.

Никуда ты меня не увезешь. Гораздо проще унести фотоаппарат, в котором живет женщина с веселыми глазами, чем-то похожая на меня. Даже жаль, что ее никогда не было.

Совершенствуемся в лживости. Для начала нужно увериться самим — тогда и другие не почувствуют обмана.

Я с тобой прощалась

Из памяти твоей я выну этот день…
А. Ахматова

А ты и не знал, что я с тобой прощалась.

Я вставала на цыпочки и вглядывалась в твои глаза, боясь упустить самое важное. Жадно, точно утопающий за соломинку, хваталась я за рукав нашего последнего дня, пытаясь замедлить его стремительный шаг. Нутром чувствовала: скоро невидимые стрелки сойдутся на двенадцати и мы разойдемся в разные стороны. Не ты уходишь и не я ухожу — уходим мы оба.

Но ты не знаешь, что сегодня я с тобой прощаюсь.

Такие дни ушедшее лето оставляет специально для прощания и для прощения. Душный, пряный, тяжелый аромат трав, засыхающих и скошенных, запах листьев, одновременно печальный и изысканно-противный. Запах меда и воска. Яблочный запах. Вон оно катится по тропинке, искушение на тонком черенке, и солнце отражается в теплом зеркальце его кожуры… Катись себе, катись. Я слишком хорошо знаю, что будет, если меня все же прельстит твой гладкий бок. Впрочем, чаша горького яблочного сока меня и так не минует.

Запах голосов, запах разговоров. Мята, лаванда и душица. Лавандой пахнут только самые мягкие, самые добрые… и самые хрупкие вещи. Ласка тоже пахнет лавандой. Перебираю твои пальцы. Этот пальчик мой, и этот… и этот… Все, все, все отпускаю!..

Ты еще не знаешь, что сегодня я с тобой прощаюсь.

Солнце, душица и мед. Так звучит только самое непрочное и самое дорогое. Высоко-высоко, где-то под самым небесным куполом поют колокола. Я часто слышу их, особенно по утрам, когда еще не развиднелось. Большие, тяжелые, они Ивана Грозного в лицо знали. Пятьсот лет поют они свои вечные песни о вечном, многое привелось им увидеть и узнать. Вот кто дал бы мне нужный совет — да мне его не понять…

Тихо шипит кофейная пена. Поет и она — о призрачности и эфемерности всего сущего. Время течет между пальцами, как песок. Остановись, кофейная пена, не исчезай!

Я не хочу помнить о том, что сегодня с тобой прощаюсь.

Под Рождество снег пахнет медом, летом солнце пахнет арбузами, а осень всегда пахнет Channel № 5, лепестками увядших роз и яблоками. Расстава-

ние — это только красное яблоко, катящееся по дорожке, разметавшиеся по ветру волосы и разорванные сети паутины. Апофеоз моей любви — рябиновые инициалы на стекле. Апофеоз моей нежности — разомлевшая под солнечными лучами веточка душицы. Апофеоз моего горя… Горя нет. Грусть-печаль. Светлая.

Зеленая-зеленая, несмотря на осень, трава. Упасть и лежать в ней долго-долго, до скончания века. Вспомнить все, чего никогда не было, забыть все, чего никогда не будет, простить всех, кто ни в чем не виноват… и остаться в этой траве, медленно-медленно потягивая медовый напиток покоя из голубой чаши неба.

Ты уйдешь, осядет и растворится кофейная пена, умолкнут языки и прекратятся пророчества. Ляжет руинами мой замок из песка. Укатится по дорожке последнее яблоко, и я не успею его догнать. Но вот это останется навсегда: голубое небо, зелень травы, тихий предзакатный свет… И я буду жить. Горьковатый яблочный вкус не вытравит медовый вкус покоя. И я буду радоваться и благодарить.

Даже в тот день, когда я с тобой прощаюсь.

Еще вчера была осень.

Еще вчера блестел и переливался под солнцем всеми цветами радуги хрустальный кубок неба — сегодня он неожиданно превратился в глупую фарфоровую чашку, из которой и пить-то ничего нельзя, кроме как мутный кофе, отдающий жареным луком. Лежит снег, но не рождественский, пышный и мягкий, а какой-то жалкий, мелкий, сам себя стыдящийся и уже немного уставший от зимы, которая длится целую вечность — день.

Вчера деревья стояли обнаженные — сегодня они, голые, дрожат под ветром. Всем и каждому теперь открыты неряшливые вороньи гнезда, в которых ежатся под промозглым ветром тощие черные птицы, изредка нервно покаркивая.

Кафедральный собор, всегда стройный и грациозный, неожиданно стал тяжелым и величественным. Он один не пытается сжаться, стушеваться — он просто застыл, оцепенел пред лицом чего-то страшного. Вокруг него остановилось и время, и пространство. Сегодня пятница.

Ветер гонит куда-то скрученный в бараний рог кленовый листок, на несколько секунд давая ему отдышаться, а потом вновь и вновь пощелкивая своим обжигающим бичом.

Где укрыться от холода?

Самое страшное в судьбе вечных странников — минуты передышки. Истинное страдание всегда идет рука об руку с надеждой на избавление и всегда жадно хватается за любые соломинки… Кленовый листок изо всех сил пытается запутаться в ветвях родного дерева, зацепиться за камень на мостовой, — но ветер без пощады выдергивает его из убежища и тащит… куда? Он знает.

На Крестном пути тоже были остановки — разве стал он от этого менее страшным?..

Что может сказать кленовый листок, уносимый ветром в неведомую даль?

Что я могу сказать тебе? Что еще вчера была осень?..

Только голос на другом конце провода… Два голоса сплетаются где-то там в пространстве, перекликаются, перебивают друг друга… А я смеюсь

над пошлыми избитыми словечками, которые говорились многим до меня и будут говориться многим после. Я могу даже убить твой голос, бросив трубку, отключив аппарат…

Набираю несколько цифр. Его нет дома (тебя нет дома?). Передайте, что звонил Женя. В смысле — жена. В смысле — я.

Только синие буквы на белом листке. Пусть будут только буквы, летящие в никуда. Я леплю адресата по своему образу и подобию, подарив ему чужое имя и чужие черты. Даже обидно, что на самом деле его не существует. Отключаю телефон, чтобы ты ненароком не помешал мне разговаривать с тобой.

Только боль. Мило улыбаясь, ты протягиваешь мне жизнь, похожую на смерть. Канат протянут над пропастью, на дне которой плещется небытие. Один неверный шаг…

А я хочу жить. Давай уедем.

Это я не тебе — тому, кто не побоится увезти.

Завтра я уезжаю. Одна.

Лениво сбрасываю с себя обрывки паутины псевдолюбви и псевдоверности. Никто не заставит меня умереть раньше, чем истекут положенные мне пять тысяч лет.

Только нервная истома. Против воли опять растворяюсь в глубине твоих глаз, опять падаю в омут твоих рук. Может быть, не надо? Не надо. Но никуда не денемся. Только что мы были больше целого мира — а сейчас я связываю в узел грязные простыни… и проваливаюсь в снег своей холодности.

Голос в телефонной трубке. Он собирается на скачки (ты собираешься на скачки?). Будьте так любезны, передайте, что звонила его кобыла. Ипподром закрыт на ремонт — до скончания века. Пусть лучше учится играть в преферанс.

Криво усмехается прижатый моими пальцами джокер — продолжим игру? Подарить, что ли, кому-нибудь эту карту? Пожалуй, лучше оставлю ее себе: ведь только я смогу о ней забыть.

Учусь убивать. Вы когда-нибудь видели, как умирают синие буквы на белом листке? В высшей степени трогательное зрелище! Вы слышали, как захлебывается, бьется в судорогах голос в телефонной трубке?..

…Не забыть завтра утром подключить телефон…

Похороны боли

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она…
А. С. Пушкин

Похороны боли проходят несколько не так, как было запланировано: покойница не соизволила почтить их своим присутствием. Просто отделалась звонком за час до предполагаемого начала гражданской панихиды и сообщила, что на ближайшее и, безусловно, светлое будущее у нее совсем другие планы. Сложив все заготовленные славословия и всхлипы к подножию пустого гроба, медленно-медленно выхожу на улицу и привычно бреду домой.

Боль плещется на дне рва, окружающего мою крепость, растекается по трубам-венам, чтобы в самый неподходящий момент подобраться к сердцу. Здесь — боль, там — небыль. Между ними живем-пробираемся по узкой

стене к неизвестной нам самим цели. (Стенокардия: болезнь стены, по одну сторону которой боль, а по другую — небытие.)

Боль — аномалия, счастье — норма. Уравновешенный быт без слишком высоких взлетов и слишком низких падений. Тем, кто находится на два вершка выше-ниже середины, остается только посочувствовать. Тяжело воспарять на куриных крылышках — а хочется, бог мой, как хочется! Но и боль свою схоронить хочется, вздохнуть глубоконько на могилке — и окопаться где-то между телевизором, секцией и мечтой об автомобиле. Впрочем, судьбу не выбирают (точнее, выбирают, но как-то так, что потом уже она выбирает нас и отстаивает свои права при малейшей попытке улизнуть). Жадно, страстно ищем тот берег, где персонально для нас гостеприимно распахнул свои двери некий порт, — и до ужаса ясно осознаем, что все порты закрыты из-за плохой погоды и рано или поздно сядут наши кораблики на рифы.

Так и вижу: таз, заполненный мыльной водой, и скорлупки под бумажными парусами… Но ведь и на нас кто-то ставит!

Может быть, мой кораблик даже и не разобьется. Глядишь, брошу якорь в какой-нибудь тихой гавани, выстрадаю право умереть в своей постели… А не получится — умру в чужой, и пусть мне завидуют.

Мало знать, что все высокое и чистое рано или поздно заканчивается на автобусной остановке — нужно понимать это с самого начала, еще тогда, когда протягиваешь ладонь для рукопожатия, а ее перехватывают для поцелуя. И — принять ее, остановочку эту, и быть готовой даже на смертном одре не выдохнуть: «Сожалею…» Я не могу обещать любить вечно — я обещаю помнить, и это неизмеримо много. Памятью рук, памятью губ, памятью тела. Памятью сердца, рядом с которой все остальное не стоит ломаного гроша. Сегодня — наше. А завтра, хороший мой, мы уже будем с другими. Прощай: мне пора на войну.

Воюем каждый божий день: за буханку, за колбаску, за икорочку. Сначала отвоевываем место под солнцем, потом — место под Сочи. Ежедневно размениваем миллион на рубли, выгоняем душу на панель. Нравится, не нравится — спи, моя красавица. Вот с этим. Или с этим. Можно и с этим… Не твоя, одним словом, забота, укажут. Без красивых слов: все мы работаем в сфере торговли (телом, душой, честью, совестью — чем еще?). А я — как коллектив. Что же, мир, в конце концов, не рассчитан на тридцатилетних девочек.

Детство подкрадывается на мягких лапах, чтобы неожиданно клацнуть зубами над самым ухом и напомнить о нашей невзаправдашности. Оно не упустит случая намекнуть: в мир взрослых нас пустили по ошибке, и в скором времени это досадное недоразумение будет исправлено. Ошибаешься, дорогое! Мы уже совсем взрослые: мы достаточно много зарыли в землю.

Взрослеем. Понимаем. Свыкаемся с болью.

Записываю в блокнот своего мобильника: «Я тебя помню». Минутное колебание: следует ли добавлять слово «еще»? Хочется верить, что я буду помнить тебя долго-долго… Без восклицательного знака тоже лучше обойтись. Я не протестую против величайшего дара природы — способности забывать. Я просто перекраиваю свою память, оставляя лишь самое дорогое.

Надпись в блокноте врезается в мое тело, словно скрепа, соединяющая меня с моей болью намертво.

Верою оправдаемся. Не делами: они могут лишь привести нас на суд. Не словами: они затерлись от долгого употребления, и уже в сам момент их рождения корректор заносит над ними ручку. Памятью оправдаемся. Верностью. Мы помним о Тебе, Господи. Мы любим Тебя — извини, что иногда об этом тяжело догадаться. И мы знаем, что Ты помнишь о нас. Спасибо.

Я приду к тебе под вечер, в тот самый час, когда город переполнен потерявшимися женщинами, в глазах которых голубой льдинкой застыло одиночество. Белые снежинки уснут на моих ресницах, запутаются в волосах, заблудятся в пушистом воротнике шубки. Здравствуй, милый! Как, ты опять занят?..

Ты талантлив, бесспорно, безгранично, безнадежно талантлив — я, соответственно, теряю право даже на одаренность. Летящей походкой я удаляюсь в твою тень, и стук моих каблучков громко отдается в вечерней тишине коридоров. Что поделаешь! Любой талант любит, чтобы ему приносили жертвы.

А я сегодня начиталась стихов, и чужое томление властно разливается по моим венам. Мне хочется бродить по Старому городу, врезаясь в плотный от сигаретного дыма, невысказанных признаний и звонков мобильных телефонов воздух. Хочется сосисок с капустой и настоящего чешского пива. И чтобы играла музыка, от которой щемит сердце и перехватывает дух — что-то вроде танго, но не обязательно именно оно. И, безусловно, чтобы рядом был мужчина, которого я немножечко люблю. Между прочим, это приглашение.

Оно останется невысказанным, как и многие другие. Не беда! Кто сказал, что сосиски с пивом, съеденные в одиночестве, становятся от этого менее вкусными? До Старого города я превосходно доберусь на автомобиле, пробегусь по магазинам и в одном из них куплю себе маленькую забавную собачонку. Пусть символ Нового года стоит у меня на столе — авось принесет если не женское, то хотя бы собачье счастье!

Идет мокрый снег, «дворники», точно так же тяпляписто, как их «тезки» в спецодежде, размазывают грязь по стеклу. И никто не видит, что я плачу, — вероятно, от радости. Разве что парочка любителей посмотреть, «как блондинка паркуется»…

Камера люкс с видом на море

Абонент временно недоступен, — а я сижу на краю неба, болтаю ногами и машу белым платком вдогонку своим выходным.

Небо плавится. Из голубого оно становится сначала рыжим, потом багровым. А мне до сиреневой звезды, я прогуливаюсь по бурым облакам и щедрой рукой направо и налево раздаю приглашения туда, где носят исключительно красное. Ведь я пока еще нужна самой себе, и невостребованная нежность вот-вот хлынет через край моего сердца. Очередная нежданная весна обрывает провода; милым голосом, безукоризненно поставленным за годы работы автоответчиком, сообщаю ей, что абонент временно недоступен. Кошка вышла на обеденный перерыв.

Видел ли ты когда-нибудь кошку в клетке? А я — видела. Много-много лет назад, когда все деревья были баобабами, жил в нашей семье хомячок. А чуть позже появилась кошка: просто взяла и пришла, промяукав, что отныне ее дом — здесь. Так и начали жить: люди, хищник и добыча. Хищник, разумеется, бродил на свободе, добыча сидела в клетке, и периодически ее выпускали размять лапки. Хомячок бегал в буфете среди хрусталя, а одуревшая от острого мышиного запаха кошка пыталась уяснить, куда же делось мягкое-теплое-вкусное. Она просовывала в клетку голову, передние лапы… Как-то раз моя сестра решила подшутить над зверем, резко схватила серую, впихнула ее в клетку — и заперла… Несчастное животное металось в слишком тесной для него проволочной сетке и даже не мяукало, а выло с невыразимой тоской и безнадежностью… Но страшнее всего были кошкины

глаза — огромные черные провалы, на дне которых плескалась мутная жижа сумасшествия… Она долго не могла прийти в себя, когда ее, наконец, выпустили на волю, колотилась и завывала все так же жалобно и безумно. Дыбом встали даже шерстинки возле носа…

Ты многое видел, ты многое знаешь — расскажи мне, в чем разница между обезумевшей кошкой и смертельно перепуганной женщиной. А не хочешь — не надо. Это и не только это популярно разъяснят там, где все одеваются в серое. Там кошек не сажают в клетки — по письменному заявлению им предоставляют персональную камеру с правом выбора пейзажа за окном и дизайна решеток.

Женского счастья хотелось? — извольте, получите и распишитесь вот здесь, здесь и здесь. Счастлива беспросветно — уже недели две. Мое отчаянное милое Вчера ломкими коготками скребется в запотевшее стекло и упрашивает впустить его в теплую комнату. Я прокрадусь к тебе большой серой кошкой, свернусь клубком на твоих коленях и промурлычу что-то невразумительное по поводу того, что проза — это неудавшиеся стихи, творчество — редкая разновидность безумия, а день без тебя — маленькая смерть. И добавлю, что звери моей породы недолго живут вдали от тех, кто умеет читать в их раскосых зеленоватых глазах.

Давно не ношу белое, мне не к лицу красное. Пожалуйста, подари мне новую серую шкуру — простую, непритязательную, немаркую. Ну, не совсем уж серую: это небезопасно, в сумерках могут наступить. Какую-нибудь элегантную темно-серую с искрой. Но не пеструю: хлопотно. Да и мало ли — вдруг кто захочет заиметь пятнистую шапку…

Имя нарицательное: кошка

Стиль жизни: кошка…

Семейное положение: временно гуляю сама по себе

Уровень притязаний: камера люкс с видом на море

В знак благодарности я нарисую большое-большое красное сердце, полное любви, нежности и тревоги, и пошлю его тебе по электронной почте, указав в графе «Тема»: «Служебная информация».

Сначала я хотела написать о том, как все начиналось, каким неотразимым был ты и какой прекраснодушной была я, — но так и не смогла улучить минутку, чтобы привести в порядок свои основательно запылившиеся воспоминания. Поэтому пишу о том, как песочной струйкой Время проскальзывает между моими пальцами, расслаиваясь на двенадцатисекундные отрезки…

Ногти обреченно царапают телефонные кнопки, которые, повинуясь всесильному Закону Всеобщей Метаморфозы, тут же преобразуют мои сегодняшние надежды в цепочку из семи разноцветных звеньев.

Дозвонилась. Абонент мнется, пытается уйти от разговора и всеми силами дает понять, что вообще-то он временно недоступен. «Ну… возьми, что ли, машину, покатайся по магазинам, сходи куда-нибудь… А вот завтра (читай: через сто, двести, тысячу лет обмена злобными эсэмэсками) — завтра все будет совсем иначе...» И оба мы понимаем, что еще на несколько недель ты выторговал-таки право нагуливать седину на чужих подушках.

Обручальное кольцо натирает палец, пытаясь удержать хотя бы меня от ухода в свободное плавание по морям адюльтера. (Ты, конечно, храни меня, мой талисман, но смотри не переусердствуй!) Кто-то жарко дышит коньячным перегаром мне в ухо и глухим шепотом спрашивает, причисляю

ли я себя к мастерам культуры. «Если я непременно должна уйти отсюда с кем-то, — задумчиво тяну я, стараясь не замечать, как полузнакомые пальцы с жадностью оголодавшего зверя вгрызаются в теплую мякоть моего бедра, — позвольте удалиться под ручку с моим одиночеством. Насколько я могу судить, у нас впереди многообещающая ночь...» Чужая рука уже не пробует мое тело на вкус — теперь она бессильно и обреченно комкает его, словно листок бумаги, на котором было написано прошение, вернувшееся с визой «Отказать». Увы! Как говорится, ушла в себя (закрытая территория, документы, дающие право на вход, просьба предъявлять в развернутом виде). Я ничем сегодня не могу вам помочь — разве что при случае посвящу какой-нибудь из еще не задуманных рассказов. Предположим, он будет называться «Депрессия как состояние, жанр и стиль жизни» — на всякий случай запомните!

В кармане назойливо трезвонит телефон, пытаясь что-то передать моему будущему из чужого прошлого, — а я бреду по городу, красивая и невостребованная, словно кнопка удержания вызова, позволившая себе на время забыть о том, сколько стукнет нынешней осенью, и уж тем паче — о том, что ровно в 17.30 мое сердце по обыкновению превратилось в тыкву.

Наскоро прикидываю, какое из запасных лиц сегодня будет кстати — очаровательной в своей непроходимой тупости инженю, загадочной и нервной женщины-вамп, измотанной до стадии простыни на ветру государственной служащей, резкой и расчетливой бизнесвумен, утомленной необходимостью во всем следовать советам Карнеги светской львицы… «Ты мне прямо скажи, че те надо, че те надо…» — опять взывает сотовый, и ты отводишь мои руки, уже было нашарившие в косметичке соответствующую случаю резиновую улыбку. Много надо, катастрофически много. Рада тебя слышать — но задержать меня удастся всего на несколько секунд. И, вообще-то, сегодня я буду поздно… Деловая сеть для деловых людей давно и благополучно отучила меня часами болтать ни о чем и ждать у моря погоды, когда бесценное время уходит куда-то отнюдь не прогулочным шагом, на ходу расслаиваясь на двенадцатисекундные отрезки…

Небо приближалось к земле настолько стремительно, что даже самые оптимистичные Атланты уже начинали почесывать затылок и задумываться о перемене места работы. Город как мог защищался от этого противоестественного слияния, по кирпичику возводя серую стену из первосортных дождей. (Дожди прибывали в фанерных ящиках откуда-то с северо-запада, длинные и тусклые, и в довесок к ним почему-то непременно упаковывали немного тоски и обреченности.) Спасаясь от холода и сырости, я, как только стрелки часов сходились на половине шестого, всеми правдами и неправдами выпрашивала краткосрочную командировку и отбывала в город неопознанных лиц, весело встряхивая сухими волосами.

В записной книжке моего мобильного телефона он значился вторым. Первые номера приходили, уходили, а чаще банально менялись — второй занимал свою строчку на протяжении многих лет. Я без труда узнавала его по газетному снимку пятнадцатилетней давности, угадывала его стать даже в тысячной толпе. Земля качалась под ногами, бурлила водоворотами, и меня, словно маленький кораблик, несло куда-то вниз по течению, — но телефон был рядом, и нетвердой рукой я набирала двойку, как радист выстукивает SOS, сбивчиво бормотала что-то о том, как неудержимо падает небо, и улавливала точный курс где-то в переливах его мягкого, обволакивающего голоса.

Не скрою, временами бывало иначе, и тогда я уныло возвращалась из своей маленькой командировки ни с чем. Вдоль позвоночника змеилась тупая застаревшая боль, а ненужное сердце прекращало биться. За окном висело небо, низкое и тяжелое, но, к счастью, я не могла этого заметить: не хватало света… Я тихо ненавидела человека, обладающего властью включать и выключать мои глаза, как настольную лампу, но знала: скажи он завтра «кис-кис-кис» — приползу, подметая хвостом пол, и задеру все четыре лапки кверху, обнажив беззащитное пушистое брюшко с розовыми бусинками сосков. Делай, мол, что хочешь. Хочешь — погладь, хочешь — шапку сшей. Стихи, зачатые в такие ночи, рождались нежеланными и уходили в дождь без имени и будущего, чтобы приобрести в городе неопознанных лиц постоянную прописку.

Во всяком случае, так было в прошлой жизни, которая закончилась абсолютно неожиданно. Просто последний Атлант, пробормотав сквозь зубы что-то о проклятой работе, быстро отошел в сторонку, и небо, наконец, рухнуло на землю, со всего размаху огрев меня по затылку.

Я аккуратно сняла свою прекрасную чистую любовь
и повесила ее рядом с платьем на спинку стула.

Круговорот свершался с неизбежностью и предсказуемостью любого замкнутого цикла. Приходили, приезжали — на трамвае, на метро, на черном мерседесе с личным шофером. Забредали — по давнему приглашению, по дороге, по случаю или просто некстати. Влюблялись: робко и нежно, горячо и пылко, с большим прицелом или с несерьезными намерениями. Целовали: ручку, щечку, губки, коленку... (Тс-с! А теперь — время задернуть занавески!) Расписывались: в альбоме, на обоях, в чековой книжке, в книге записи актов гражданского состояния. Провожали: до порога, до острога, в очень дальнюю дорогу… Один за другим замыкались круги, змеились, сворачивались в знаменитую диалектическую спираль. А потом — дождались мы с ясного неба не только грома, но и молнии. Края рассеченного ее огненным лезвием нутра заплавились сразу же, и на первый взгляд было совсем незаметно, что на месте души осталась лишь безжалостно выжженная брешь.

Черным провалом, на дне которого заманчиво искрился снег, играла музыка и разворачивались самые неожиданные перспективы, стал февраль. За ним в распахнутую дверь влетел март, праздничный и уже заметно подгулявший, преподнес белую розу с трогательными зеленовато-желтыми прожилками. (Весна была в ударе, ее первому месяцу хотелось творить добро направо и налево; не помню, дождался ли он хоть какой-то благодарности.) В апреле, потемневшая, нехорошая и в то же время отчаянно расцветающая в первых лучах банальных комплиментов, я: выбирала свою судьбу из трех протянутых попугаем бумажек с предсказаниями будущего; умирала — на твоем пороге больной собакой, которую даже хозяйская ласка уже не могла удержать в этом мире; набирала — все твои номера, начиная с минского и заканчивая пражским. (Ответом было до боли знакомое «The subscriber is not available now. Please, call back later!»)

Ничего не прояснил и май: не по-весеннему пьянящий воздух, отягченный душным ароматом сирени, лишил меня остатков рассудка, подталкивал в кольцо рук, отнюдь не желавших принимать февральских невозвращенцев. Сопротивлялась по мере своих слабых возможностей — но сирень была сильнее. Первого июня с бетховенской расстановкой постучалась с виду неприметная Я-без-тебя-не-могу-жить.

На часах была половина десятого — или без четверти пора. Но под покровом серой вязкости сумерек к дверям чужого дома подобралась иссохшая немота, вымаливающая хоть одно слово, не утратившее в лабиринтах демагогии своего натурального цвета и вкуса. Нечаянную гостью приняли не как врага, измором взявшего крепость, но как избавление от неопределенности, отвели ей лучшее место, пестовали, холили и лелеяли. Я равнялась на свое отражение, случайно запечалившееся в твоих глазах, вставала на цыпочки и мучительно росла — сперва по колено, потом по пояс, потом по локоть… (Выше не получалось: сказали, нужна стремянка.)

Что такое любовь в самом жестком значении? На этот вопрос вам ответит разве что тридцать первая весна, приговоренная к высылке за пределы существования строгим судом осени. Счастье мое, не произошло ровным счетом ничего! Не выстрелило ружье, в чисто декоративных целях висевшее на стенке с чеховских времен; возможно, его просто никогда не заряжали. Я не ушла из дому с одним саквояжем, хоть, каюсь, несколько раз паковала вещи. Лето, вопреки традиции не ставшее маленькой жизнью порознь, все же не принесло с собой свежего дыхания перемен к лучшему. Я вступила в сентябрь без тебя — слышишь? Очередной круг привычно замкнулся, вступив в тот возраст, когда уже не к лицу претендовать на порочность…

Публикация Сергея ДАВИДОВИЧА.





МИЛАНА ЛЕВИЦКАЯ

Пусть тебя будет больше

* * *

Ручке чернильной
Никогда не понять, зачем
Имя твое на странице
Вывела дважды…
Но пусть тебя будет больше.

Ревность

Я сегодня видела тут одну —
Говорят, волчица…
У нее глаза антилопы — да нет, не гну,
Что ей стоит выйти в степь и сорвать луну
Вот такими глазами… И ее губы наверняка
По вкусу похожи на кленовый сироп,
и так же липки…
А мне колют что-то от столбняка
И говорят, что теперь ничегошеньки не случится, —
Мне говорят, я сегодня видела,
как делают прыжок без парашютных строп…
Да, но как же при этом глаза ее не-на-ви-де-ла…

* * *

Новый, коммунистически-кумачовый,
На столе — яснейший из всех пролетарий —
Мною купленный вчера карандаш: в моем серпентарии —
Давно не хватало на черном двух пятнышек алычовых…
Так вот, о карандаше:
Грифель — это эстетика… А еще
Его можно нервно точить, и опять ломать, и бросать через плечо
С воплями о душе,
Которая не выносит,
Конечно, позора мелочных обид, да и просто просит
Маму, тыча в разодранный шов рукава: «Ну, маа, зашей?» —
Потому что зашить — это уже не ново,
Стало быть, этому — не учились в средней школе:

Учились пить и кричать с трибуны «Доколе!»
А зашить — это кухня, это зуд головного
Органа, быт, в общем, это. А мы же для главного, мы — для вечного…
Поэты высоток, блочных многоэтажек,
Презирающие деньги и накопительство стажа,
Плюющие смело — чуть ли не в каждого встречного…
Поэт с карандашом — он во сто крат дороже,
А главное — черновики, пожеванные в оргии порывания
С прошлым, доказывают его… не сущность — существование,
Что, я вам скажу, в конечном, — поближе к физии, может,
Простой карандаш… И все на душевную сложность правá,
Немыслимые эквилибры ручной поэтики,
Я против пафоса, говорю, я против буржуйства патетики,
И, конечно, плохо, что сама ведь тоже свои рукава
Не зашиваю…
Зато знаю про чувство ритма и чувство долга,
Зато «долго
Не заживаю»…
Не день без строчки — без строчки век.
В карманы шуйце мне убрать десницу.
Случано встреченный человек?
— Ты пишешь? — Нет… И порвать страницу.

* * *

У меня зазвонил телефон:
— Кто говорит?
— Смерть. И восприми стоически…
— Не может быть, там по рифме подходит «слон»!
Так-то так, милый, но мы с тобой наскоро, прозаически…

* * *

Ни дня без строчки… Совсем ни дня…
А если нет реактивной смеси?
А если, пощипывая и садня,
Без этой строчки промчался месяц?
А если — два?.. Досчитав до ста,
Не выйти из внутренней перебранки,
И рифма, сорванная с листа,
Невовремя, словно с поджившей ранки,
Уже не радует… Что тогда?
Ну, что тогда, господин Олеша?
Послушайте… Вам — что с гуся вода…
А себя мне впору послать к лешему.



ВАСИЛЬ ТКАЧЕВ

Улица Бабушкина

Рассказ

У него действительно такая фамилия — Бабушкин. Только, в отличие от известного революционера, он был не Иваном Васильевичем, а Петром Михайловичем, среди друзей и близких у него было еще и прозвище — Почтальон. Откуда оно, это прозвище, взялось, спросите? Все очень просто: в свое время, когда Бабушкин жил в деревне, он работал несколько месяцев почтальоном, о чем особенно любит рассказывать каждому встречному. И хотя уже давно городской житель, прозвище сохранилось: Почтальон да Почтальон. И Бабушкин не сердится. «А что? Первая профессия — она с тобой навсегда. Приятно вспомнить: вот жизнь была — газеты и письма разносить! Легче легкого!..»

Теперь Бабушкин уже на пенсии, до этого работал на заводе электриком, и поэтому от нечего делать иной раз просто ходит по двору широким шагом, заложив руки за спину. Словно начальник, придирчиво осматривает близлежащую территорию. Иногда ему предлагают войти в складчину, и тогда мужчины распивают в беседке бутылку-две вина, рассуждают о жизни.

— Бабушкин, я сегодня на твоей улице был, — посмотрел как-то на Петра Михайловича сосед Игнатович. — Там мой кум дом купил. Смотрю, и правда, на прибитой к стене дома вывеске написано: улица имени Бабушкина. Ты что, может, и не знаешь, что твоим именем назвали улицу?

Петр Михайлович лениво отбивается:

— Да слышал, слышал! Как не слышал!.. Радио, кажись, тоже слушаю!..

— И не признается, мужики! — довольный своим розыгрышем, окинул взглядом присутствующих Игнатович. — И чего, думаете, молчит, не признается?

— Понятное дело!..

— Чтоб не проставлять!..

— Ценю за находчивость! — подытоживал разговор Игнатович. — Так что будем делать, Бабушкин? А? Почему молчишь, жадина? Магазин, кстати, вон рядом, вон!.. Он ждет тебя!..

Посмеялись, пошутили, на том и закончили. Уже чуть позже Бабушкин решил все же съездить на улицу Бабушкина, и хоть это не близко, за Сожем, где-то в частном секторе, — решился. Здесь, однако, оговоримся: если бы он опять не выпил стакан вина, возможно, его и не потянуло бы на ту улицу. Но — выпил и поверил, что она названа именно в его, Петра Михайловича, честь, а потому зазорно прожить жизнь и не побывать на улице, которой он пожертвовал свою фамилию.

— И не держите меня, и не отговаривайте!

«Улица Бабушкина», — объявил бодрый голос водителя автобуса.

— О, моя, моя улица! — оживился Бабушкин и важно посмотрел на пассажиров, которые на него не обращали никакого, конечно же, внимания, что даже

немного возмутило, потому на этот раз он сказал более громко: — Моя улица!.. Бабушкина!.. Петра Михайловича!.. — И молодцевато спрыгнул на землю.

Автобус поехал дальше, а Бабушкин остался на остановке. Стоял и с удивлением смотрел по сторонам с видом начальника высокого ранга, который приехал на важный объект, а его никто не встречает. Непорядок, одним словом. Но не стоять же так все время. Бабушкин взглядом измерил улицу вдоль и поперек, а потом распростер руки, радостно и возвышенно произнес:

— Так вот ты какая, моя родная! Ну, привет, что ли? Вижу, неважные у тебя дела. Чем докажу? А тем, что богато домишек, а не домов — по обеим твоим сторонам — разместилось. А где коттеджи? Особняки? Ну, три-четыре я вижу. И это на моей улице?! Прости, однако! Это не ты, улица, виновата, а городские власти. Они, они, скажу тебе честно, недосмотрели, промахнулись. Могли б дать имя Бабушкина и улице в новом микрорайоне? Могли б! Около Ледового дворца, например. Идут на хоккей ватагой болельщики и читают: о, так это же улица Бабушкина! Легче идти было бы. Я убежден в этом. Для Мазурова, для Чичерина и им подобным нашлись улицы в новом микрорайоне, а мне, получается, — шиш. Хорошо еще, что дорогу отремонтировали, рытвин нет… Места для остановки автобуса неплохо оснащены, сказать нечего... Подожди, так тут, по моей улице, кроме автобусов, ничего больше не ходит? Ну да. А где троллейбусы? Кто скажет? Где, где троллейбусы?

Настроение у Бабушкина совсем испортилось, когда он узнал, что на его улице нет ни одной точки, где можно было бы посидеть с бокалом пива или с другим, более крепким напитком.

— Конец света!..

Бабушкин сел на скамью и пожалел, что ничего с собой не взял. Как же — приехал в гости, и с голыми руками. Нет чтобы угостить малышню, что вон около дороги развлекается. Он бы насыпал им конфет в горсти и сказал: «Это вам от того дяди, дети, именем которого названа улица, на какой вы живете и теперь вот рыщете… или играете, так сказать, в бадминтон и в мячик. Ах, вы не верите? Вам что, паспорт показать? Так смотрите, смотрите!..» Бабушкин даже вообразил, как дети прилипли к карточке в его паспорте, а более взрослые читают: Ба-буш-кин!.. Что, получили?!..

Тем временем подъехал очередной рейсовый автобус, из него вышел всего один человек, мужчина средних лет, щуплый, в светлой сорочке с длинными рукавами и в черной бейсболке, козырек которой находился над ухом, и направился в сторону Бабушкина. Поскольку человек тот шел неуверенно, Петр Михайлович поднялся, подал команду:

— Стоять!

Человек замер, не понимая, зачем и кому предназначался этот приказ, показывая на себя пальцем и не сводя глаз с Бабушкина, спросил:

— Вы… мне?

— Тебе, тебе!

— В чем, собственно говоря, дело?

— Как ты идешь по моей улице? Какими шагами? — Бабушкин приблизился к растерявшемуся мужчине. — Ты где находишься?

— В чем, собственно говоря, дело? — опять повторил вопрос человек с неуверенной походкой. — Ты кто? Не милиционер, случайно?..

Бабушкин поднес, как и мечтал недавно, посматривая на детей, паспорт к лицу незнакомца, приказал:

— Читай! Фамилию, фамилию читай.

— Ба-буш-кин, — послушно прочитал тот, икнул. — А я, может, Дедушкин? Х-хи-хи-хи-и!..

— Ты мне здесь шутки брось, — посоветовал Петр Михайлович. — А теперь иди сюда. — Он подвел его к дому, на стене которого была прикреплена вывеска с названием улицы.

— А теперь читай здесь…

Незнакомец опять икнул, протер глаза рукавом, не сразу прочел:

— Улица имени Бабушкина. — Он выдержал паузу, посмотрел на Бабушкина, на вывеску, улыбнулся. — Нет, здесь что-то не так…

— Все так, дорогой мой: ты стоишь на моей улице.

— Ёшкина мать!..

— А ты как думал, земляк? На улице Бабушкина!..

Незнакомец, автоматически быстро вытерев ладонь правой руки о брюки, подал ее Петру Михайловичу:

— Будем знакомы: Тузиков Павел Егорович. Тысяча девятьсот…

— Не надо, дальше можешь не говорить, — прервал его Бабушкин. — Так что строго тебя предупреждаю: больше в таком виде, как сегодня, чтоб я тебя на своей улице не видел.

— Как пить дать!

— Я дважды не повторяю. У меня, может, есть характер. Есть, есть, конечно же. Если бы я был слабаком, сарделькой, какой черт назвал бы моим именем улицу, а?

— Не говори!.. Кто б назвал?.. Так как, говоришь, тебя зовут? А, прости, прости: Бабушкин. Так я на твоей улице, оказывается, и живу. И не знал! Слово даю — не знал! Живу и живу себе спокойно. А тут, выясняется, есть, существует где-то и человек, на улице которого я осел? Вот он, перед тобой. Далеко ходить не надо. Дай я тебя поцелую!

Бабушкин отвел руки Тузикова с растопыренными пальцами, которые тот наставил на него, подальше от себя:

— Если бы я со всеми целовался, знаешь, что со мной было бы, а?

— Чудеса, однако!.. — не мог успокоиться Тузиков. — Вон мой дом. Пойдем, гостем будешь!

— Посмотреть, как люди живут на моей улице, надо. Чтобы иметь представление. Ну, тогда пошли!..

— Жена как раз на второй смене. Она тоже была бы рада.

Вскоре они сидели за столом в передней, Бабушкин листал альбом, а Тузиков показывал пальцем, поясняя снимки. Перед этим он не побоялся оставить гостя одного в доме — а чего бояться, когда это вон кто! — и сбегал в магазин, принес бутылку водки. Поскольку денег у него не было, то их выделил Бабушкин. «Конечно же, именем бедняка улицу не назовут, — добродушно думал Тузиков по дороге в магазин и из магазина. — Вот повезло так повезло! Хоть раз!..»

Когда выпили по рюмке, Тузиков поинтересовался, какая у Бабушкина самая любимая песня. Тот сначала задумался, даже сморщил лоб, а потом ответил, будто отрезал:

— Я без гармошки не пою!

— А если балалайка?

— Так себе… Но не побрезгую, если будет хоть какой аккомпанемент.

— У соседа возьму! — пообещал Тузиков и улизнул из дома.

Пока он где-то бегал, Бабушкин посмотрел в зеркало, что висело на стене рядом со столом, сделал важный, серьезный вид и сам себе сказал: «А что, может, оно так и есть… Не знаю, кто тот Бабушкин, однако же, если брать по большому счету, какая разница — кто он, тот Бабушкин? Может, это улица всех Бабушкиных, которые живут на белом свете? В Москве, в Питере, в том

же нашем Гомеле? В Америке, если уж на то пошло, а? Нате вам, Бабушкины, улицу! Нет, Петр Михайлович, ты родился в сорочке. А сосед, Игнатович, так и заявил: «Я, Петр, был на твоей улице». А ты, Игнатович, побудь на своей. Что, отхватил? Где она, твоя улица? В каком болоте? То-то же! И не каркать мне! Где, где вы видели улицу имени Филина? Имени Степана Игнатовича Филина? А моя — вот она, родная! Не беда, что пока не ходят троллейбусы. Пустим!»

— Кого «пустим»? — показался на пороге с балалайкой Тузиков.

— Это я про свою улицу. Пустим, говорю, и троллейбусы.

— Пустим! Обязательно! С оркестром! — тряхнул балалайкой Тузиков. — Гуляй, город!

Бабушкин поправил хозяина дома:

— Гуляй, улица Бабушкина. Прошу не обобщать. Кстати, и песню напишем. Я попрошу самого известного композитора…

— Лученка можно, — предложил Тузиков. — Он для нефтепровода «Дружба» вон какой гимн сочинил. Его, его возьмем за композитора.

— А слова сами сложим, — предложил Бабушкин. — Да, Павел?

— Как пить дать!

— Стукнемся! Пусть все слышат!..

— Кто лучше, чем мы, знает материал? Я здесь живу. Так? Так. Вон на том огороде… под грушей… моя пуповина зарыта, может быть. Или где-то рядом. А ты, Бабушкин, про свою улицу да чтоб не знал, какие слова придумать? Х-хе-хе-хе!..

— Найдем. Это все вторично, брат.

— Подожди, а что — первично? — Тузиков, как часто делал до этого, опять протер рукавом рубахи глаза: они у него почему-то слезились.

— Выпить надо, — признался Бабушкин.

— Так в чем дело?

— Наливай, — промолвил Петр Михайлович и почти прослезился. Еще немножко, и лицо будет мокрым.

— Что, что с тобой, брат Улица? — насторожился Тузиков.

— Потому и плачу, что очень хорошие люди живут на моей улице. От счастья.

— Здесь ты на все сто. Угадал. Лучших людей нет на всем белом свете.

— И это все благодаря моей улице! Она, как магнит, собрала вас в кучу. Ты веришь мне, Павел?

— Как пить дать!

— А еще плачу, что редко сам бываю на своей улице. Занят очень, государственных дел хватает. А хочешь, насовсем перееду сюда? Соседями будем — хочешь? Возьму и перееду? Кто запретит? О-го-го!..

— Дай пять!

Пожали друг другу руки.

— А это, кстати, идея. Голова еще варит.

— По тебе же видно, что не дурак.

— Хоть и прозвище у меня — Почтальон.

— Вот как, а!

— Не обращай внимания. После школы газеты и письма разносил. Меня почтальонская сумка и вывела в люди.

— Верю!

— Одному начальнику принес конверт, а он и давай интересоваться, кто я и что я. И посылает меня учиться на эле… Тьфу ты! На элеватор начальником. А потом и пошло-поехало. И закрутилось!..

— И пошло-поехало — вот как!.. Знай наших, однако!.. А Зинка на второй смене, змея!.. А у нас — праздник!.. Съела, Зинка? Получила?

— Я, Бабушкин, должен жить на улице Бабушкина. И только так. Все, решено: завтра переезжаю. Продаю свои апартаменты и покупаю здесь дом. Есть дом для меня?

— Найдем!.. Хе, проблема!..

Выпили за переезд, запели. Песня не пошла, поэтому некоторое время посидели молча. Бабушкин наконец вздохнул, помахал головой, положил руку на плечо хозяина дома.

— Я б добился, чтобы и твоим именем назвали какую-нибудь улицу в нашем городе. Вон сколько их, многоэтажек, возводят!..

— Добейся, друг! Век не забуду! Можно, я тебя поцелую?

— Потом. Не все сразу.

— Так в чем же дело?

— Не думай, у меня, где надо, свои люди есть. А как ты думал! Ого, люди!.. Однако же твоя фамилия — Тузиков — к улице никак не подходит. Ну, представь себе: висит вывеска, а на ней большими буквами написано: «Улица имени Тузикова». Кто такой? Откуда? Да и захотят ли люди жить на улице, которая носит такое собачье название? Подумай, Тузиков!..

— Хочешь, я фамилию жены возьму? У нее красивая фамилия — Потеруха. Как, а?

— Тогда это будет улица жены. А баб к таким серьезным делам допускать нельзя, а то наломают дров.

— Наломают! Как пить дать!.. Так как же быть, почтенный, а? Зуд какой-то у меня появился, хоть ты что ему!.. Не упустить бы свой шанс.

— Будем думать. Для чего у нас головы? Все, думаем!..

Тузиков сидел с очень печальным лицом. Бабушкин успокаивал его, а потом уснул. Проснулся он утром на диване. Поднялся, осмотрелся. Не сразу вспомнил, где находится, а когда разобрался, что к чему, тихонечко притворил за собой двери и потопал на автобусную остановку, боясь, что проснется Тузиков и бросится вслед за ним…

Он старался не вспоминать вчерашнее. Но как не вспомнишь, когда стоишь на улице Бабушкина — с другой улицы в город никак не въедешь: автобусы ходят только по ней…

Перевод с белорусского Татьяны ДЕРЕХ.





ГЕННАДИЙ ПАШКОВ

Для тех, кто сердцем ощущает сердце

Купаловские рощи

Словно застыли
деревьев макушки.
Солнце свой делает
круг по привычке.
У Радошкович
кукуют кукушки,
сонное эхо
везут электрички.

Горы с пригорками
в легком тумане.
Речка-быстрянка
неслышно струится.
Ельник
отечески-нежно
на камень
огненно-рыжую
сыплет иглицу.

Тропка босая.
Трипутник примятый.
Мост не свои
вспоминает причалы.
Тенью завешена,
милая хата
так синеглазо
меня повстречала.

Стая форели
почти безустанно
в глади зеркальной
без всякой заминки
все собирает
волшебную тайну —
ночью упавшие
бусы-слезинки.

Сколько те рощи
над тихой криницей,
словно небес
дорогие дары,
перелистали
листов разнолицых
от зелени майской
до белой поры!

И не искали
работы попроще…
Рыжая осень
нам в дверь постучала.
…Только кукушки
в купаловских рощах
вечность пророчат
песням
Купалы.

В родных местах писателя Саулича

Я вхожу неслышно
в чудо-сказку бора,
и по тропке узенькой
хочется пройти.
А вокруг Глубокого —
глубина озерная,
и глубин вот этаких
больше не найти.

А подует ветер —
хахаль одинокий —
и взметнутся птицы
стаею крутой.
Может, это солнце
плещется в затоке
иль на леске окунь
бьется золотой?

Посмотри — повсюду
красота и сила!
Мест родных названья —
их не сосчитать! —
Мнюта…
Плиса….
Свила…
Свилица…
Подсвилье…
Так они чаруют,
что не передать!

Глубочанин, чувствуешь
ты свои просторы
и улыбкой светишься
на своем пути.
Тихие деревни,
синие озера…
И глубинки глубже,
право, не найти.

* * *

«Любимый мой…»
Не надо слов таких.
От чувств былых
осталось только эхо.
Зачем, скажи,
ты вновь роняешь их,
какого ради горестного смеха?

«Любимый мой…»
Прошу — молчи…
Молчи!..
«Любимый мой…»
Жестокая какая! —
Глаза целую — карие лучи, —
Капелей слез почти не замечая.

«Любимый мой…
Вернуть бы вспять года…»
Прошу тебя,
пожалуйста, не надо.
«Смотри, для нас сегодня,
как тогда, —
и тишина,
и неба звездопады;
и схлынут тучи,
словно миражи,
дождинки нам
свое сыграют скерцо!..»
Но не для нас.
«А для кого, скажи?!»
Для тех, кто сердцем
ощущает сердце…

Трепещут искры.
Догорает вечер.
Придет рассвет,
остудит блажь и сны.
Прозрачной ватой
падает на плечи

последний снег
нахлынувшей весны.

* * *

Живет средь нас
от предков русых
и греет светлую мечту
язык прекрасный белорусов,
что так богат на доброту.
Мой русский брат,
латыш
и ненец,
что на своих гласят-поют,
и мой язык не меньше ценят
и равноправным признают.

А ты,
ступая на равнину,
где столько ветров выло злых,
зачем так сморщился ехидно
от слова
прадедов своих,
от слова чистого, святого,
что воронью не заглушить,
что на славянском вещем поле
могло косу и меч острить;
от слова,
что лечило души,
не уповая на года,
и что влюбленные на ушко
шептали с нежностью всегда;
что озаряло горизонты,
мерцало звездочкой в тиши?
Откуда ж ненависти столько
у этой выстывшей души?

Я не за то,
чтоб все народы
брели по узкой колее,
а я за то,
чтоб сквозь невзгоды
не изменить родной земле,
и жить ее суровой долей,
и, несмотря на воронье,
родимым небом,
росным полем
и — песней ласковой ее.

Костер

Трещат упрямые поленья,
свивая огненный клубок,
и легким маревом
забвенья
струится с искрами дымок,
как будто жизнь тайком,
украдкой
сквозь пальцы
истово течет
и только привкусом несладким
полынно губы опечет.
А ты
осеннею порою
там, где печалится река,
смиряешь пламя костровое,
как будто юркого щенка,
и только чувствуешь, хоть кротко,
как под спасительным огнем
твое все тело,
словно соты,
вдруг наполняется теплом,
и понимаешь ты, конечно:
чтоб счастья
выстроить шатер,
не нужно много —
день и небо,
и — для общения — костер.

Поздний разговор

— Не верь случайному суду…
— Все покаяния — излишни…
— Позволь тогда —
я по привычке
хоть на минуточку
                                        зайду…

— Зайдешь?..
— Зайду!..
— …Не слишком поздно…
— Так, значит, можно?..
— Значит, можно…

Как паутина волшебства,
тебя гардина верно прячет.
Но я —
                во власти естества —
бегу,
        надеясь на удачу.

И скоро
тихое
«с любовью»
тебе,
взволнованный,
промолвлю…

Взглянула.
Щелкнула ключом,
отгородившись вдруг плечом,
и пригласила как-то чинно
на кухню, где другой мужчина.

На стол два шкалика поставила
и, наливая нам двоим,
его как мужа
мне представила,
меня —
приятелем своим.

* * *

Юная… Юная!..
Помнишь едва ли ты…
Мне же тот миг — словно сказка чудесная.
Грудки упругие негою налиты —
кажется, блузка не выдержит тесная.

Книги забылись
и все наставления.
Ранняя цветь балагурит с бедой.
Будто бы чайки,
белеют колени
над приунылой вечерней водой.

Видимо, девочка много умеет…
Туфельки в руки.
Смеется:
— Беги!..
Пусть захлебнутся чистюли от гнева!
Им не понять сладострастной пурги.

…След на песке
день ушедший покинул.
Полночь. Уснуть не могу до утра.

…Боже, неужто приходит пора
воспоминаньями
греться
такими?!

* * *

Недолог век у юности, увы.
Как яблонька весной, ты белоцветишься.
И платьице с оттенком синевы…
И, кажется, от радости вся светишься.

Рассветною росинкою дрожишь,
когда с небес дохнуло первым холодом.
По саду в лунном свете ты бежишь…
Таинственно.
Так звездно.
И так молодо.

…Не узнаю. И путаются даты —
так облетает утренняя мгла.
Неужто эта женщина когда-то
той беззаботной девочкой была?!..

Перевод с белорусского Миколы ШАБОВИЧА.



ТАТЬЯНА ВОРОНКИНА

Абсурд реальности — реальность абсурда

О рассказах-минутках Иштвана Эркеня (К 100-летию со дня рождения писателя)

«Родился я в 1912 году в Будапеште. Отец мой был аптекарем, мать — превосходной домохозяйкой, сохранившей это умение до конца дней своих… Сочинитель, говорите? Воля ваша, но уже в самом этом слове есть нечто подозрительное. Немало мы их повидали на своем веку, сочинителей этих. Забежит, бывало, этакий щелкопер в аптеку за пилюлями, и покупке-то всей — грош цена, а он и ту норовит в долг забрать… Ладно, сказал отец, хочешь стать писателем — пиши. Но прежде хотелось бы ему хоть краем глаза взглянуть на мой диплом провизора.

Сказано — сделано. Через четыре года отец держал в руках диплом, подтверждающий, что его сын стал фармакологом. Для меня открылась пора радужных мечтаний, но тут последовало новое условие отца: чтобы встать на ноги, мне нужен второй диплом — инженера-химика. И я стал инженером-химиком — в обмен на пять лет своей жизни. Едва успел увидеть свет тощенький сборничек моих рассказов, как началась война.

Между мною и писательским столом всегда оказывалась какая-нибудь помеха, и, чтобы обойти очередное препятствие, требовалось, как правило, лет пять: война, плен, революции… Откладывать было некуда, и я начал писать. Я писал романы, рассказы, хватался за пьесы, брался за киносценарии. Поначалу все, что выходило из-под моего пера, получалось в эдакой легкой, гротесковой манере, потом манера моя год от года все утяжелялась и утяжелялась, пока не забуксовала окончательно под собственной тяжестью.

И наконец в зрелую пору жизни, когда юные годы стали для меня далеким прошлым, мне все же удалось возродить в себе многое из давних, юношеских склонностей моей натуры: склонность к юмору, гротеску, к отображению комического и трагического. В этот период были опубликованы мои повести и короткие рассказы, более известные как «рассказы-минутки», потому что некоторые из них укладывались строчек в десять, а иные и вовсе выходили короче вполовину. Добавлю еще, что первой моей пьесой, шагнувшей на театральную сцену, была «Семья Тотов».

В рамки этой шутливой автобиографии укладываются основные моменты жизни и творческой деятельности Иштвана Эркеня (1912—1979), классика венгерской литературы, писателя, слава которого давно перешагнула рубежи его родины. Правда, вначале всемирную известность снискали его пьесы — «Семья Тотов», «Кошки-мышки» и др., — обошедшие подмостки всех континентов, от Америки до Австралии и Японии, не говоря уже о Европе. В СССР на сценах десятков крупнейших театров страны с успехом ставились спектакли по пьесам Эркеня. Идут они и сейчас, в двух московских театрах, в том числе в МХТ им. А. П. Чехова под руководством О. Табакова. Однако И. Эркень, обладающий уникальным даром сатиры и гротеска, считал себя прежде всего прозаиком. «На

днях, — рассказывал он мне однажды, — какой-то человек уступил мне место в трамвае. Потому что видел спектакль по моей пьесе, объяснил он, и тот ему очень понравился. Ах, если бы кто-нибудь встал передо мною в знак уважения как перед автором прозы!..» Мечта И. Эркеня сбылась. Его произведения выдержали испытание временем, они по-прежнему оказались нужны людям, и после бурных пертурбаций конца 80-х—90-х годов, когда для культуры и настоящей литературы, казалось, уже никогда не найдется места, именно книги Эркеня стали первыми выходить у него в стране. И у нас с 2000 г. вышло пять его книг, готовятся к выпуску новые публикации. Вниманию читателей журнала мы предлагаем подборку «рассказов-минуток» И. Эркеня.

В рассказах этих немало удивительного. Они короткие, отсюда и название — «минутки», — тем не менее автор сообщает читателю все то, что намеревался сказать — самое важное. Это могут быть бытовые рассказы на уровне анекдота, философские притчи, абсурдные зарисовки, и хотя знаешь, что Эркень широко декларировал свое пристрастие к гротеску и абсурду, все же не раз приходит в голову: как он до этого додумался? И — пресловутое: что автор этим хотел сказать? Иштван Эркень при жизни охотно отвечал на эти вопросы — возможно, желая помочь читателю, а может быть, попутно кое-что анализируя, проясняя и для самого себя.

«Через какое-то время после того, как я начал сочинять «Рассказы-минутки», весь творческий процесс стал с головы на ноги, потому что уже не я вымучивал их, а они заставляли меня писать. Сколько раз я давал зарок покончить с короткими рассказами и заняться другим, более важным делом, но видишь, как зарождается нечто интересное и так и просится на свет божий. И это «нечто» настолько явно гротескное и неимоверно забавное и заключает в себе столь поразительно сложные противоречия, столь странные, сжатые очевидные истины, что было бы безумием не изложить все это на бумаге. Я вынужден сесть и написать их, труд не велик — рассказы действительно короткие, но все же рождаются они по внутреннему побуждению».

Иногда источники той или иной отправной мысли произведения удается проследить чуть ли не с документальной точностью. Среди писем И. Эркеня к родным, друзьям, коллегам и т. д. вдруг натыкаешься на его послание ко второй жене, отношения с которой к тому времени, похоже, разладились, и Эркень делится с ней своими печальными размышлениями.

«В комнате у меня с люстры свешиваются две липучки — осенних мух превеликое множество, а кроме того, уйма божьих коровок, над радиатором, они постепенно умирают, и тельца у них становятся темно-красными. Зато мухи летают взад-вперед по комнате и время от времени натыкаются на липучки. Тогда всякий раз мне приходит в голову мысль: вот ведь и со мной все обстоит в точности как с этими мухами. Я внимательно присматривался к тому, что происходит с ними. Сперва они увязают в клейстере двумя-тремя лапками. Вытащат одну-другую, принимаются чистить, но тем временем застревает хоботок или лапка. Тут уж они давай жужжать, трепыхаться крылышками, надеясь устранить досадную помеху. Затем начинают биться отчаянно, так как одно крылышко застряло в липучке, следом за ним — другое, и тогда наступает тишина. Вот и я так же умолк. Отнюдь не хвалюсь и не жалуюсь, всего лишь констатирую факт. Поверь, я на женщин теперь смотрю, как муха с одной липучки смотрит на товарку, застрявшую на другой клейкой ленте. Наверняка есть и такие, которым даже не хочется освободиться, — как мне, например. Да и зачем этого хотеть?..»

Кому не доводилось видеть своих ближних (или самого себя) погрязшими в засасывающей тине обстоятельств, когда бьешься, пытаясь высвободиться, подобно мухе на липучке? Вероятно, и писателю не давал покоя этот яркий образ, и в результате появился на свет рассказ «Молодожены на липучке».

Конечно, далеко не всегда зарождение сюжета выявляется с такой очевидностью, о чем говорил и сам писатель.

«Работа над рассказом-минуткой начинается вовсе не с возникновения сюжета. Сейчас мне шестьдесят, стало быть, сознательной жизни на мою долю выпало лет сорок пять. Можно предположить, что существуют рассказы, над которыми я тружусь вот уже четыре с половиной десятилетия, только не отдаю себе в этом отчета. Так уж срабатывает этот механизм: перевариваешь тему сорок с лишним лет, а потом садишься и пишешь рассказ за три минуты...»

«Порой писательская фантазия не способна придумать лучше того, как события совершаются в реальной жизни — в особенности события роковые. Тогда я и воспроизвожу их так, как они происходили», — признавался Эркень.

Благодаря этой писательской установке родился забавный цикл коротких рассказов, которым Эркень предпослал общее название: «Я сочиняю рассказы-минутки или вы?» Сюда вошли нелепые газетные тексты, объявления и пр., которым в наше время, к сожалению, несть числа. Наткнешься на очередную безграмотность, бессмыслицу и вздохнешь с горечью: «Эркеня на вас нет!» Впрочем, с такой лавиной «сюжетов», пожалуй, и ему бы не совладать.

Иной раз почерпнутые «из жизни» сюжеты в писательском изложении приобретали столь пугающую достоверность, что Эркень был вынужден делать специальную оговорку, дабы избежать неприятных последствий. Так, например, давая согласие на публикацию рассказа «На Землю с Луны возвратилась венгерская космическая ракета», он письменно просил главного редактора газеты указать в подзаголовке: «Из цикла рассказов-минуток Иштвана Эркеня». «Иначе публикацию воспримут как сообщение, и воспримут всерьез», — писал он.

При нынешних вседозволенности и снятии всяческих запретов, пожалуй, стоило бы подобным образом предостеречь и легкомысленного читателя забавного рассказа «Несколько минут внешней политики».

Перечитывая вновь и вновь рассказы-минутки, в очередной раз поражаешься провидческому чутью их создателя, обмолвившегося однажды: «Гротеск — это превращение невероятного в вероятное».

И в самом деле, сюжеты рассказов Эркеня всего лишь каких-то несколько десятилетий назад поражали своей невероятностью, хотя не вызывало сомнений, что писатель всегда имеет право дать волю фантазии. Что же мы видим теперь? Например, рассказ «Водитель машины» построен на заведомо абсурдной основе: человек покупает завтрашний номер газеты и... далее сбывается все описанное в газетной заметке. Сорок лет назад читателю казалась абсурдной, нереальной именно эта деталь: сегодня и вдруг завтрашняя газета?! Теперь этим никого не удивишь, с вечера можно приобрести завтрашние выпуски многих газет. Какие новости они для нас приберегают и каких катастроф можно избежать, зная о них заранее?

Остроумнейший рассказ «Всегда есть надежда» поражал своей абсурдной бессмысленностью: клиент заказывает на кладбище склеп с удобствами (по тем временам): зацементированный, с шиферной крышей и... с электропроводкой. «Зачем?!» — изумляются кладбищенские служители. «Как зачем? Чтобы было светло!» Смешно, не правда ли? Но кто не

слышал о сооружении в некоторых странах приватных мавзолеев со всеми удобствами вплоть до установки телевизора? Тут даже Эркень развел бы руками!

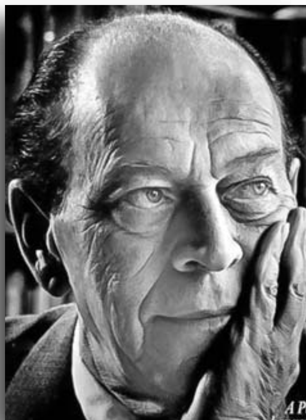
Одна из актуальных тем нынешних средств информации, не слишком научных, зато массового пошиба, — предполагаемый конец света. Каких только сроков нам не назначали, сколько раз за последнее время мы его ожидали — к счастью, пока что безуспешно, а венгерский классик давно предугадал эту абсурдную ситуацию и высмеял ее. Прочтем рассказ «Транспортные ограничения...» и посмеемся! А впрочем, над кем смеемся? Вот то-то и оно!

«Изучайте иностранные языки!» — призывал Эркень в одном из своих рассказов о войне. По причине незнания языков венгерский солдат едва не попадает под расстрел. Этот бесхитростный, вроде бы без всякого подтекста рассказ вспомнился несколько лет назад, когда в одном из наших домов призрения спустя более полувека (!) после окончания войны, обнаружился пациент, говорящий на каком-то диковинном, непонятном языке. В конечном счете оказалось, что этот язык — венгерский, а венгр, контуженный во время войны и попавший в тыловой госпиталь, не смог объясниться с окружающими, так как не знал никакого другого языка, кроме родного. Эта необыкновенная история всколыхнула мир, а продолжение ее было гротескным совершенно в духе Эркеня. Человек вернулся на родину, в Венгрию, он не помнил, как его зовут, и тем не менее в нем опознали своего давно пропавшего родственника сразу несколько семейств, вступивших в нешуточную юридическую борьбу за право обладания несчастным родичем, который и венгерский-то успел основательно подзабыть.

В свое время немало шума наделал рассказ Эркеня «Обудайские близнецы», у героини которого двоилось в глазах, и ей виделись две горы Геллерт в Будапеште, две Федерации женщин и — о ужас! — даже две партии! Не стоит забывать, что в период написания рассказа мысль сия казалась не только крамольной, но попросту невероятной. А кто теперь сочтет число партий в бывших однопартийных странах — Венгрии и России?

Последний пример совсем свежий. Рассказ «Лишь бы выжить», поражающий щемящей тоской и безысходностью, был специально переведен для этой подборки. Поправлюсь: речь здесь идет не только — и не столько — о безысходности, ведь даже мираж может оказаться спасительной соломинкой. А недавно в одном научно-популярном журнале читаю об иранских ученых, создавших робот размером с муравья. Благодаря встроенному микропроцессору лилипут помнит, где находится его «дом», и самостоятельно возвращается туда после прогулки. По мнению ученых — обнадеживающе завершается статья, — подобные разработки смогут найти применение в самых различных сферах — от бытовой до военной.

Итак, дорогу гротеску! Его ведь все равно не остановишь...



ИШТВАН ЭРКЕНЬ

Рассказы-минутки

С лошадьми нам сподручнее

На железнодорожном переезде у мотоцикла заглох мотор. Позади в нетерпении выстроилась длинная вереница автомобилей и телег; на обгон не пойдешь, потому как со стороны Фюреда движется встречная колонна военных грузовиков — конца и края не видать.

Пассажиры мотоцикла — крестьянская семья. Глава семьи — коренастый, с угловатым лицом мужчина лет сорока, в черных сапогах, черных галифе и белоснежной рубашке под черным пиджаком. По всей вероятности, семейство едет в гости, поскольку женщина на заднем сиденье тоже разряжена на выход, а в коляске примостилась девчушка со светлыми косичками, вся в накрахмаленных бантах, оборках, кружевцах, в ушах сережки с лазуритом, крохотным, с маковое зернышко.

Мужчина в сердцах пинает педаль запуска. Мотор всхрипывает и умолкает.

— Н-ну, п-шел! — яростно рычит он.

Следуют еще две-три бесплодные попытки. Крестьянин обходит мотоцикл кругом и снова ударяет ногой по педали.

— П-шел, тварь вонючая! — злобно обрушивается он на мощный «Чепель». — Сдохнуть бы той матери, что тебя на свет породила!..

Присев на корточки, он ковыряется в механизме. Вновь дает пинка строптивцу, и мотор начинает пыхтеть. Мужчина стряхивает с колен пыль, усаживается в седло.

Мотоцикл, неспешно переваливаясь, преодолевает рельсы. Женщина надевает очки в резиновой оправе, защищающие от пыли. Все трое восседают горделиво, с прямой осанкой, вздернув подбородок и взирая перед собой, словно путешествуют в карете. Хозяин, оттопырив локти, свободной хваткой держит рукоятки руля, как и положено испокон века, с той поры, как существуют человек, лошадь и конская упряжь.

Ничего нового

Как-то раз на могиле № 14 двадцать седьмого участка одного из будапештских кладбищ с грохотом опрокинулся гранитный обелиск в добрых три центнера весом. Тотчас вслед за этим могила разверзлась, и из мертвых восстала покоившаяся там госпожа Хайдушка, урожденная Штефания Нобель (1827—1848).

На обелиске стершимися от времени буквами было выгравировано также имя ее супруга; однако тот, неизвестно почему, не счел нужным воскреснуть.

Из-за пасмурной погоды посетителей на кладбище было мало, но те, кто услышал грохот, поспешили к месту происшествия. Тем временем молодая жен-

щина успела стряхнуть с себя комья земли и причесалась одолженной тут же расческой.

Какая-то старушонка в траурной вуали спросила, как она себя чувствует.

— Спасибо, хорошо, — ответила госпожа Хайдушка.

— Не желает ли она чего-нибудь выпить, — поинтересовался шофер такси.

Нет, пить ей пока не хочется, ответила бывшая покойница.

— Совсем никудышная стала эта пештская водопроводная вода, — заметил шофер, у него тоже нет ни малейшей охоты ею накачиваться.

— А чем она так уж плоха, эта пештская вода? — спросила госпожа Хайдушка.

— Ее хлорируют.

— Хлорируют, да еще как, — подтвердил Апоштол Баранников, садовод-болгарин, торгующий цветами у кладбищенских ворот. — Поэтому рассаду, какая понежнее, приходится поливать дождевой водой.

Кто-то из присутствующих заметил, что теперь повсеместно пользуются хлорированной водой.

На этом разговор иссяк.

— Ну, а что еще нового? — поинтересовалась молодая женщина.

Да вроде бы ничего особенного, ответили ей.

Опять наступила пауза. И тут пошел дождь.

— Вы не промокнете? — спросил у воскресшей Деже Дейч, мелкий частник, специализирующийся на изготовлении рыболовных снастей.

— Неважно, — сказала госпожа Хайдушка. Ей лично дождь как раз по душе.

— Смотря какой дождь, — заметила старушка.

— Она имеет в виду именно такой теплый, летний дождичек, — пояснила госпожа Хайдушка.

Что до него, вмешался Апоштол Баранников, то этих дождей хоть бы и вовсе не было, плохая погода только посетителей отпугивает.

Ему такая точка зрения вполне понятна, поддержал цветовода специалист по рыболовным удочкам.

На сей раз в разговоре наступила более долгая пауза.

— Расскажите же еще что-нибудь! — госпожа Хайдушка обвела присутствующих взглядом.

— Что тут особенно рассказывать-то? — отозвалась старушка. — Вроде бы мы уж и так все порассказали.

— Неужто со времен Освободительной борьбы так ничего и не произошло?

— Произойти-то оно всегда что-нибудь да происходит, — махнул рукой изготовитель удочек. — Но как немцы говорят: “Selten kommt etwas Besseres nach”[1].

— Уж это точно! — добавил шофер такси, а поскольку у него была одна забота — подцепить пассажира, то он разочарованно поплелся к своей машине.

Воцарилось общее молчание. Воскресшая заглянула в яму, над которой еще не успела сомкнуться земля. Подождала немного и, убедившись, что разговор исчерпан, распрощалась с обступившими ее доброжелателями.

— До свидания, — сказала она и шагнула к могиле.

Специалист по рыболовным снастям предупредительно подал молодой женщине руку, чтобы та не поскользнулась на раскисшей глине.

— Всего наилучшего! — крикнул он ей вслед.

---

[1] Редко на смену приходит лучшее *(нем.)*.

— Что там стряслось? — поинтересовался шофер такси, когда вся троица показалась у кладбищенских ворот. — Уж не залезла ли дамочка обратно к себе в могилу?

— Вот именно, — кивнула головой старушка. — А ведь мы так душевно разговорились!

In memoriam dr. k.h.g.

Halderlin ist ihnen unbekannt? Вы знаете Гельдерлина? — поинтересовался профессор К. Х. Г., когда рыл яму, чтобы закопать дохлую лошадь.

— А кто это? — спросил немецкий охранник.

— Автор «Гипериона», — пояснил профессор К. Х. Г, он очень любил просвещать людей. — Крупнейший представитель немецкого романтизма. Ну а Гейне?

— Кто они такие? — спросил охранник.

— Поэты, — ответил профессор К. Х. Г. — Но ведь имя Шиллера вам знакомо?

— Знакомо, как же, — огрызнулся охранник.

— А Рильке?

— И этого знаем, — побагровел охранник и застрелил профессора К. Х. Г.

Что передают по репродуктору?

Все четыре стены в раздевалке от пола до потолка сплошь заняты шкафчиками. Все шкафчики отпираются одним и тем же ключом. А ключом заправляет гардеробщик: запирает кабинку, если посетитель успел натянуть плавки, отпирает замок, если клиент желает одеться. Тридцать пять лет он снует взад-вперед вдоль рядов кабинок и любую из них может отыскать с закрытыми глазами.

Иной раз посетителей в бассейне бывает немного; тогда гардеробщик садится передохнуть и слушает транслируемые по репродуктору радиопередачи. А иногда схлестнутся две волны: вновь прибывших посетителей и тех, что собираются уходить. Такой наплыв публики гардеробщик называет «затором», и в эти напряженные моменты он едва управляется. Впрочем, не считая заторов, гардеробщика в его работе не подстерегают никакие неожиданности. Занятие простое, не лишенное приятности и все же трудное — словом, тот вид работы, при котором не обязательно быть человеком.

— Видали, какой затор тут было образовался? — бросает он мне реплику.

— Я наблюдал за вами, господин Шуллер. Вы буквально ни единого человека ждать не заставили.

— Опыт — он, конечно, многое дает. Хотя иной из здешних гардеробщиков, даром что и по годам мне ровня, в такой суматохе наверняка бы голову потерял.

— Вы хотите сказать, что опыт — это еще не все?

— В некоторых случаях — да. По-моему, не каждый пригоден для того, чтобы стать гардеробщиком.

— Вам виднее, господин Шуллер.

— Да что там, скажу вам больше: в нашем деле мало быть просто пригодным. Для того чтобы и при самом большом стечении народа не терять головы, гардеробщику требуются особые качества.

— Какие качества вы имеете в виду, господин Шуллер?

— Присутствие духа, зычный голос, умение решительно — а если потребуется, то и силой — вмешаться… Конечно, возможности для такого вмешательства представляются крайне редко.

— Полагаю, у вас, господин Шуллер, бывали подобные возможности.

— Всего один раз тут возникло такое столпотворение, что не будь аккурат мое дежурство, без давки не обошлось бы.

— Когда же это случилось?

— Когда по репродуктору передали, что объявлена война. К тому же денек выдался дивный, солнечный, и бассейн был переполнен.

В окно раздевалки светило солнце. Сегодня тоже дивная погода, бассейн тоже переполнен, так же громко вещают репродукторы, передавая последние известия.

Господин Шуллер подходит к окну. Прислушивается. Я вопросительно смотрю на него.

— А-а, ничего интересного, — пренебрежительно машет он рукой. — Это где-то в Бенгалии…

Дотошный читатель

— Будьте любезны Михая Славика.

— Сейчас не могу его позвать, но если вы попали в аварию, то скажу заранее: мы сможем принять машину только в следующем месяце.

— Он сам звонил мне.

— А-а… Так бы сразу и сказали, что вы его знакомый! Что у вас с машиной?

— Машина здесь ни при чем. Я только что пришел домой и увидел на столе записку: Михай Славик и номер телефона.

— Тогда позвоните, пожалуйста, через двадцать минут, сейчас в слесарном цехе обеденный перерыв.

* * *

— Будьте любезны Михая Славика.

— Сейчас позову.

— Михай Славик слушает.

— Вы просили меня позвонить?

— Да, я решился вас побеспокоить. Хотел кое о чем спросить.

— Пожалуйста.

— Ведь это вы переводили роман Трумэна Капоте?

— Да, «Другие голоса, другие комнаты» перевел я. Вы читали?

— Я прочел, и мне очень понравилось, но у меня есть одно замечание. Хотелось бы узнать, почему в этом романе негры говорят не так, как другие люди.

— Не так, как другие?

— Они говорят как иностранцы. Я хотел бы узнать, почему это, вот и полюбопытствовал.

— Ага, вот вы о чем… Видите ли, я переводил эту книгу три года назад, теперь уже повыветрилось из памяти, но, помнится, есть там одна служанка, у нее шея порезана. Возможно, вы ее имеете в виду?

— И ее тоже.

— Ну, тогда все в порядке. Я совершенно точно помню, что эта девушка и в оригинале говорит на ломаном английском языке.

— Что значит «на ломаном»?

— Ломаный значит ломаный. А как по-вашему?

— По-моему, не совсем так. «Ломано» говорят на чужом языке, которого не знают как следует. Можно говорить «ломано» и на родном языке, если, например, человек неграмотный, необразованный или малоразвитый. Но это разные вещи.

— Ну а как, например, говорит эта негритянка?

— Она говорит, как иностранка, которая плохо знает английский. Именно это мне бросилось в глаза, потому я и решился вам позвонить. Ведь негры живут в Америке, все кругом говорят по-английски, так что и родной язык у них тоже, выходит, английский.

— Мне попадались цыгане, которые всю жизнь живут в Венгрии и все же говорят на ломаном венгерском, как иностранцы.

— Это хорошо звучит, но ничего не доказывает. У цыган есть свой язык, а у негров — нет.

— Признаю, здесь вы правы. Не знаю даже, что вам возразить. Прошу поверить мне на слово, я всегда перевожу очень точно, до скрупулезности. Так что смело можете мне поверить: эта девушка и в оригинале говорит по-английски неправильно. К тому же редакторы сверяют перевод слово в слово.

— И редакторы могут ошибаться. Загляните в «Гека Финна»! Если не ошибаюсь, перевод Каринти. В «Гекльберри Финне» негры говорят по-английски как примитивные и неграмотные люди, но, во всяком случае, не как иностранцы. Или, может быть, с точки зрения переводчика, это неважно?

— Напротив, очень важно, но «Гекльберри Финна» переводил не я. К тому же этот роман написан сто лет назад.

— Простите, но это лишь подтверждает мою правоту. За сто лет негры должны научиться говорить по-английски лучше, а не хуже.

— Пожалуй, и здесь вы правы.

— Надеюсь, я вас не обидел?

— Что вы. Напротив, стоит подумать над тем, что вы сказали.

— К сожалению, я не знаю английского и не могу прочесть в оригинале, но я как-то споткнулся на этих диалогах. Потому и позвонил вам, что хотелось докопаться до истины.

— И очень хорошо сделали, что позвонили.

— Простите, я вынужден прервать разговор: заведующий гаражом стучит в окно. А вообще-то перевод очень хороший.

— До свидания.

— Всего доброго.

Песня

Сочинителя песен звали Енэ Янасом. Судьба свела нас после прорыва русских, потому что его батарею разбили, а я под Николаевкой потерял свою часть. Мы прошли вместе километров триста, изредка подсаживаясь на попутный транспорт, а больше пешком, по снегу, по льду, всегда под огнем противника, пока, наконец, около Белгорода его не скосило короткой очередью.

До той поры я не представлял, как сочиняют песни. Кто бы мог подумать, что это такое простое дело! Из Янаса песни так и перли, лились, били струей, как родник из-под земли. Что бы он ни увидел, что бы ни услышал — все моментально становилось песней, со словами, рифмами, мелодией. Оставалось только придумать название.

В песню попал жестяной бидон с повидлом, который мы откопали из-под развалин разбитого снарядами склада. Встретился нам какой-то мост, который, можно сказать, прямо у нас под носом взорвали партизаны. А когда мы перебирались через реку под разрушенным мостом, по льдинам, Енэ Янас уже распевал:

Старый деревянный мост прогнил в воде.
Господи, хоть ты бы мне помог в беде.
Как же мне добраться к Аннушке моей.
Переплыть стремнину с тысячью смертей?

Я все допытывался, как это у него получается. А он говорил, что и сам не знает. Я выспрашивал, сколько песен он сочинил. И этого он не знал. Может, три тысячи, а может, четыре...

Уже показался Белгород, когда начал падать снег. Я надвинул поглубже ушанку, но все равно слышал, как напевает Янас:

Покрывает землю белой пеленой,
Слышу, мчатся сани, может быть, за мной.
Кружись, кружись, снежинка...

Послышалось пять щелчков. Пришел конец Янасу, осталась неоконченной песня.

Иногда она приходит мне на память. Я пытаюсь продолжить ее. Ломаю голову, подбираю рифму к слову «снежинка». Но напрасно. Каждый из нас умеет делать что-нибудь такое, что после него не способен завершить никто другой. Так уж оно повелось.

Perpetuum mobile

Аушпиц рассказывал, что прежде был подручным пекаря в булочной на улице Вереш Палнэ в центре Будапешта. По утрам, рассказывал он, запросто съедал килограммовый каравай хлеба. Весил он в ту пору девяносто два килограмма.

— Как думаете, сколько во мне теперь?

Этого мы сказать не могли. Факт, что Аушпиц уже не выходил по нужде, а это дурной признак, только пил воду, что признак еще более дурной. Знай пил и пил воду. Ему и пить-то не хотелось, а он все пил — как бездонная бочка.

Одежда его сплошь покрылась гнидами — тоже не к добру. Единственный способ сдерживать вшей — поминутно давить их, иначе они расплодятся и усеют гнидами все одежные швы, особенно в тех местах, которые прилегают к теплому телу. Подмышки у Аушпица сделались совершенно серыми от гнид. Мы не стали ничего говорить ему. В таких случаях слова уже не помогают.

Однажды ночью я проснулся от того, что он беспрестанно ворочался.

Я спросил:

— Скажи, Аушпиц, что ты делаешь?

Он ответил:

— Ем.

Я спросил:

— Что же ты ешь, Аушпиц?

Он ответил:

— Я, видишь ли, поедаю гнид. И вшей тоже, знаешь ли.

Я зажег спичку, но тотчас же и задул ее. Фронт подступил уже совсем близко; даже курить по ночам запрещалось. Я успел всего лишь увидеть, что лицо у него спокойное, почти довольное.

— Не болтай ерунды, Аушпиц, — сказал я ему.

— Что же мне, ждать, покуда они высосут из меня всю кровь? — спросил он.

Надо продержаться максимум две недели, объяснил он. А если поедать вшей, то эти две недели выдержишь играючи, поскольку ничто не пропадет впустую. Каждая капля крови, которую у тебя высосут, снова поступит в организм; то есть не станешь сильнее, но и не ослабеешь.

— Значит, ты изобрел перпетуум мобиле, — сказал я.

Он не знал, что это такое. То, что не требует затрат энергии, сказал я. Ему все равно было непонятно. И пока он поедал гнид, я объяснял ему принцип вечного двигателя. Потом мы уснули. Утром я попытался растолкать его, но жизнь в нем уже угасла.

Наша страна маленькая (уточнить название)

СУПРУГА ПАЛАЧА: Удивительно вкусное это печенье с сыром!
ПАЛАЧ: Просто тает во рту.
СУПРУГА ЖЕРТВЫ: Рекомендую попробовать и сладкое тоже.
СУПРУГА ПАЛАЧА: Сроду не едала такого вкусного печенья.
ЖЕРТВА: Надо бы нам собираться почаще.
СУПРУГА ПАЛАЧА: Только так и можно ближе узнать друг друга.
ПАЛАЧ: Каждая встреча сближает.
СУПРУГА ЖЕРТВЫ: Нас так мало, надо уж держаться вместе.
ЖЕРТВА: В единстве сила.
ПАЛАЧ: Послушай, дружище, мы с тобой пили на брудершафт?
ЖЕРТВА: Конечно. Потому и обращаемся друг к другу на «ты».
ПАЛАЧ: А мне хотелось бы еще теснее скрепить узы дружбы.
ЖЕРТВА: Тогда давай выпьем.
ПАЛАЧ: Дай тебе Бог здоровья!
ЖЕРТВА: И тебе, друг, тоже.

Двойная радость

Памяти Фридеша Каринти

1. ГАЗЕТА ДЛЯ РЫБОЛОВОВ

С радостью извещаем своих собратьев по спорту, что будапештский Хлебопекарный комбинат запустил в оборот наживку для лещей — тархоню. Эту замечательную новинку можно приобрести в любом специализированном магазине в стограммовой расфасовке.

Приготовление тархони — к величайшей радости жен рыбаков — очень просто: бросить тесто в кипящую воду, варить пять минут, затем откинуть на дуршлаг. Примерно часа через полтора наживка приобретает полную упругость, благодаря чему способна удержаться на крючке четыре-пять часов. Удачный улов лещей гарантирован!

2. ГАЗЕТА ДЛЯ ЛЕЩЕЙ

С радостью сообщаем нашим ув. читателям, что будапештский Хлебопекарный комбинат (чьи «рыбацкие галушки» доставили многим из нас незабываемое наслаждение) освоил новое мучное изделие.

Этот вид продукции называется «тархоней» и гораздо доступнее прежнего. Если вода тихая, наживка сохраняется на крючке часа четыре-пять, значит, нам незачем спешить и суетиться.

Лещи, внимание! Не бойтесь новшеств, не пренебрегайте прогрессом! Рыболовная тархоня вкусна, питательна, богата витаминами! Ешьте на здоровье!

Избранные места из переписки

Недавно скончавшийся доктор Бенедек Балла, известный коллекционер, человек разностороннейших интересов и изобретатель, вел оживленную переписку с адресатами из многих стран мира. Насколько безудержным был полет фантазии покойного общественного деятеля, выяснилось лишь теперь, когда началась систематическая обработка его корреспонденции. Ниже мы публикуем несколько отрывков, которые — благодаря личности адресатов — представляют определенный исторический интерес.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН:

Благодарю за столь лестный интерес к моей особе. Это тем более трогательно, что вам при посредстве шведского Красного Креста удалось переслать свое письмо в разгар Второй мировой войны, через весь охваченный сражениями мир сюда, в Соединенные Штаты. О себе могу сказать всего лишь, что я жив-здоров, хотя, как вы верно подметили, меня и занимают сложные проблемы физики. Вы совершенно правы и в том, что при моей многотрудной научной деятельности меня могла бы несколько потешить и утешить лохматая, игривого нрава венгерская собачка-пули. Я сомневаюсь лишь, удастся ли шведскому Красному Кресту при теперешней ситуации переправить собачку из Дебрецена через океан. Будет то кобель или сука — мне абсолютно безразлично, в этом вопросе я целиком полагаюсь на Вас. Остаюсь глубоко преданный Вам за трогательную заботу

Ваш Эйнштейн

ТОМАС МАНН:

Глубокоуважаемый доктор Балла!

Роман под названием «Волшебная гора» написал действительно я — еще в молодые годы — и очень рад, что моя книга снискала Ваше одобрение. Однако спор, разрешить который Вы меня призвали, к моему величайшему сожалению, Вами проигран. Томас — это мое имя, а Манн — фамилия, потому что в немецком языке — в отличие от венгерского — принята именно такая последовательность написания. Так что зовут меня Томас Манн, а не Манн Томас, и Вам придется выставить своему приятелю полтора литра сливовой палинки.

Томас Манн
Кильхберг-ам-Цюрихзее

Н. К. КРУПСКАЯ:

Дорогой доктор Балла!

Спасибо Вам за слова одобрения и добрые советы, заслуживающие самого пристального внимания. К сожалению, я не смогла проинформировать своего супруга относительно адресованных ему Ваших дружеских строк; мой муж занят чрезвычайно важными делами, он сутками не бывает дома и даже ночи проводит в Смольном. Не знаю, верно ли я истолковала Ваше письмо, поскольку переводчик — венгерский военнопленный, не умеющий толком читать-писать, по-русски говорит с грехом пополам. Но если он не ошибся, то Вы предлагаете вниманию моего мужа учение Карла Маркса и даже выслали ему бандеролью труд Карла Маркса «Капитал». К сожалению, из-за уличных боев почта у нас работает с перебоями, но

пусть Вас это не беспокоит: Владимир Ильич обстоятельно изучил труды К. Маркса. Я рада, что Вы — по Вашим словам — с «благожелательным вниманием» следите за событиями в Петрограде, а также хочу Вас заверить, что муж мой — не из обидчивых, так что, если вы усмотрите какие-либо недостатки в его деятельности, можете смело указать ему на них.

С ком. приветом (за В. Ленина)

Н. К. Крупская

ФРАУ ГИТЛЕР, УРОЖД. ЕВА БРАУН:

Герр Балла!

Ваше любезное послание — благодаря героическим усилиям германской национал-социалистической почты — мне доставили даже сюда, в подвал Рейхсканцелярии, хотя большевики уже окружили Берлин и все окрест лежит в руинах.

Вас проинформировали верно, фюрер действительно верит в графологию, так что я зачитала ему Ваш анализ в перерыве между двумя воздушными налетами (иначе бы нам друг друга не услышать). Фюрер с удовлетворением принял выводы, к которым вы пришли, изучив его автограф и отметив признаки острого ума, решительности, чуткости и человеколюбия. С довольной улыбкой он признал, что закорючка у буквы «р» заставляет предполагать успех некоего дерзкого начинания и поражение союзников. За последнее время фюрера постигло немало неприятностей, и по этой причине чело его, и без того отмеченное бледностью от спертого подвального воздуха, иногда приобретает мрачное выражение. Однако Ваше умное и убедительное письмо рассеяло эту хмурость, за что я Вам глубоко признательна. В преддверии окончательной победы

Хайль Гитлер!

Ю. ГАГАРИН:

Отвечаю вкратце, поскольку стараюсь не пользоваться радиосвязью в личных целях:

1. У меня нет дедушки по фамилии Балла, уроженца города Комаром.
2. Только после старта чуть-чуть кружилась голова.
3. Пива я с собой не захватил, только воду.
4. В бутылку, а потом затыкаю ее пробкой.
5. За рецепт лапши с творогом спасибо, жена будет рада.

Привет из космоса

Гагарин

АЛЬБЕРТ КАЭТАН-мл.

Уважаемый господин!

От имени всей нашей семьи благодарю за проявленный интерес, но, к искреннему сожалению, мы и сами не знаем, по какой причине нашу улицу — бывшую улицу Шандора Петёфи в XXI районе Будапешта — переименовали в улицу Альберта Каэтана-старшего. Мой покойный отец всю свою жизнь занимался исключительно частным извозом на собственном грузовичке, дважды приговаривался к штрафу за мелкое хулиганство в нетрезвом виде и один раз был осужден на исправительные работы (за контрабанду табака). Все это — как мы и сами понимаем — еще не достаточное основание для того, чтобы имя его было увековечено. Мы склонны усматривать разгадку в сдержанном, скрытном нраве нашего отца. Возможно, в часы молчания в мозгу его зарождались столь передовые идеи, что, даже невысказанные, они сделали нашего отца достойным бессмертия.

С приветом

семья Каэтан

Бойня

Первым делом нас повезли на смотровую площадку, откуда открывалась панорама города. Затем мы осмотрели ансамбль президентского дворца в стиле ренессанс, откуда наш маршрут шел к целебному источнику; там — по настоянию экскурсовода — все мы отведали кисловатой, но, как уверяли, животворной водицы. После этого мы снова расселись по своим местам в автобусе. Гид, припав к микрофону, живописал красоты Старого города, а исчерпав тему, направил автобус к Национальной галерее. Собрание скульптур я еще успел осмотреть, но затем у меня начались боли, и дальше я с группой не пошел. Остальные полюбовались полотнами Рембрандта и Брейгеля.

— А теперь, возвестил голос в микрофоне, — мы посетим один из современнейших комбинатов нашего города — бойню. Забой животных происходит в столь гуманных, даже, можно сказать, облагороженных условиях, что сцену эту смело могут наблюдать не только слабонервные дамы, но и дети.

Мы проходили одно за другим огромные помещения. Все кругом было залито светом, средь мраморных стен негромко звучала музыка: не прерываемая мычанием скота или визгом свиней. Наш маршрут вел от весовой вплоть до ветчинного цеха, и все выглядело совершенно иначе, нежели я себе это представлял. Я не видел замирающих в ужасе, ревущих от страха, пятящихся назад животных и нигде не обнаружил дюжих забойщиков, держащих наготове кувалду. Убойный скот, свиньи, овцы, проходя через сверкающие чистотой коридоры, попадали в большой зал, где без применения электротока, усыпляющих средств или ядовитых газов постепенно погружались в дрему, засыпали и столь незаметно переходили ото сна к смерти, как лодка из устья реки вплывает в стоячие воды.

Я отвел экскурсовода в сторонку.

— Хочу попросить вас об одной любезности, — начал я.

— К сожалению, это невозможно, — тотчас же парировал он.

— Поверьте, у меня очень веские причины, — сказал я.

— У всех веские причины, — возразил он.

— Я бы вас отблагодарил, — сказал я.

— О, мне сулили такие богатства! — отмахнулся он.

— Выходит, только овцам можно? — спросил я.

— Сожалею, — сказал он, — но всем остальным это категорически запрещено.

Сообщение общества по охране животных

В результате долгой и упорной борьбы руководство нашего общества возобновило свою деятельность: на заводе по изготовлению консервов, кроличьего рагу и рыбной ухи пущен в строй новый цех — цех вскрытия коробок.

Здесь вскрывают только что изготовленные консервы, извлекают из соуса куски кролика или рыбы и составляют из них единое целое, после чего, доставив животное на место отлова, выпускают на волю.

Выражаем благодарность дирекции завода, которая после долгих споров и препирательств наконец-то сумела правильно осмыслить принципы гуманизма.

О моем самочувствии

— Добрый день.

— Добрый день.

— Как поживаете?
— Спасибо, хорошо.
— Как здоровье?
— Нет причин жаловаться.
— А зачем вы тащите за собой эту веревку?
— Веревку? — переспросил я, оглянувшись. — Это мои кишки.

Нас много в самих себе

В подъездах будапештских домов освещение скудное, так как домоуправление в целях экономии разрешает пользоваться лампочками лишь в сорок ватт. С наступлением темноты здесь ничего не различишь, не понять даже, кто идет тебе навстречу — женщина или мужчина.

Должно быть, этот полумрак отчасти повинен в том, что один из жильцов, пианист Аттила Маркштейн, блестящий исполнитель Баха, мурлыча себе под нос божественную мелодию фуги, вдруг встал в тупик, не зная, где он находится — на первом этаже или на третьем. Пианист припустился по лестнице одновременно вверх и вниз и в результате на повороте ко второму этажу столкнулся с самим собой.

Маркштейн не испугался, понимая, что о шизофрении не может быть и речи, ведь раздвоилось не сознание, а его тело. Он вскрикнул, но лишь потому, что, спеша вниз, пребольно пнул ногой собственную лодыжку, а взлетая наверх, угодил головой себе под дых.

— Пардон! — расшаркался Маркштейн со свойственной ему учтивостью. — Виноват.

— Что за разговор?! Я вовремя заметил вас, видел, как вы поднимались по лестнице и свернули на площадку.

— Наверняка тогда уже поздно было разминуться.

— Я вполне успел бы притормозить, — пренебрежительно отмахнулся Маркштейн, стоявший выше. — Ан нет! Я и не подумал посторониться, а даже плюнул вам в физиономию.

— Просто так, ни за что ни про что? — изумилась кроткая половина его существа. — И даже не потому, что я снизу толкнул вас в живот?

— Из-за таких пустяков за нож не хватаются.

— Плевок я стер, а нож отобрал, вывернув вам руку. Я понял, сударь, что характер у вас вспыльчивый.

— Это вы называете вспыльчивостью? — язвительно процедил Маркштейн, тот, что стоял ступенькой выше. — У меня деды с бабками по отцу и матери были алкоголиками. Говорят, в таких случаях потомки — с вероятностью в семьдесят восемь процентов — становятся преступниками.

— Плюнуть в лицо еще не преступление. Я сам виноват, что не успел вовремя извиниться перед вами.

— Маркштейн, Маркштейн, не стройте из себя святого! Да стоит мне разозлиться, и я запросто шмякну новорожденного младенца головой об стенку!

— Боже правый! Но ведь такие, как вы, и привели мир к фашизму!

— Кроме того, я преследую любовными домогательствами свою престарелую мамашу, — язвительно задирал один Маркштейн другого. — А вы небось и не знаете, с чем едят эдипов комплекс?

— Впервые слышу это выражение, сударь.

— Не беда. Но теперь уж вам придется смириться с фактом: я — чудовище, которое гнездится в вас. Прощайте!

Что остается делать в подобных ситуациях? Смириться. Конечно, это не так-то легко, в особенности применительно к человеку, который

до сих пор (во всяком случае, так ему казалось) полностью заполнял самого себя. Как говорится, булавке негде было упасть. Однако нужда заставит. Вот и Аттила Маркштейн пыжился-тужился, но в конце концов потеснился и свыкся, сжился с самим собой. Человек многое способен вытерпеть.

И что же случилось в ближайший вторник? Очередной сюрприз! Маркштейн (оба они) проснулся от звуков пения. К своему величайшему изумлению, он обнаружил, что поет он сам. Но что?

Не Баха. И даже не Букстехуде. С гитарой в руках, завывая, как шакал, он во всю глотку выводил приторную, тягучую, отвратительную для его утонченного слуха мелодию:

Жизнь не трудна, а легка,
И не горька, но сладка,
Пока ты лежишь в объятиях моих!

Музыкант вскочил. И это тоже он?! Если — да, тогда, возможно, объявится еще уйма Аттил Маркштейнов? Но ведь кожный покров не растяжим до бесконечности… Со сколькими еще своими обличьями придется делить эту тесную оболочку?

Кто ее видел?

Госпожа Марта Кальман, урожд. Флюгл, сорока одного года, жительница Будапешта, 7 числа текущего месяца, пополудни отправилась в кино и с тех пор домой так и не вернулась. Словесный портрет: роста высокого, хотя скорее низкого, склонная к полноте, а точнее говоря, худющая. Глаза: голубые, то есть зеленоватые, а может, карие. Цвет волос неопределенный, зимнее пальто темно-синее, вернее, коричнево-рыжее, возможно, серое, воротник оторочен мехом. (Если уж быть точным, то не мехом, а бархатом, или вообще без всякой оторочки.) Особая примета: женщина.

Сообщений от лиц, могущих навести на след пропавшей, с нетерпением ожидает обеспокоенный муж.

Кто что умеет

Элек Барк, тридцативосьмилетний банковский кассир, его жена (урожденная Нора Ульрих, владеющая искусством пластики, моложе мужа на десять лет) и двое сыновей-гимназистов погожим весенним днем направились в зоологический сад. Однако в сад им попасть не удалось, потому что у ворот стояла огромная толпа народа, а кордон полицейских и пожарных машин и карет «скорой помощи» преграждал путь толпе. От стоявших поблизости они узнали, что из террариума выбралась на волю пятнадцатиметровая кобра, которая в данный момент, свернувшись кольцом, лежит у кассовой будки.

— Простите, — повторяла Нора Барк, проталкиваясь сквозь толпу, пока, наконец, не подобралась вплотную к чудовищу. Она тихо и вкрадчиво замурлыкала что-то, затем погладила кровожадную змею по голове и вошла в ворота зоологического сада.

Змея послушно проследовала за ней через ворота по газону, вдоль загонов со львами и тиграми, назад к собственной клетке, которую преподавательница ритмики тщательно заперла, после чего неторопливой походкой вернулась к своей семье.

— Как тебе удалось? — спросил ее муж при всем изумленном народе.

— Мне это ничего не стоит, — скромно ответила Нора Барк. — У меня диплом заклинателя змей.

— Так почему же ты только сейчас мне об этом говоришь? — вскричал супруг.

— Да потому, что ты никогда не спрашивал, — ответила жена и, взяв за руки обоих сыновей, в сопровождении мужа направилась к главному входу.

Не лезьте на рожон!

Гвоздь следует вколачивать следующим образом: прежде всего наметить для него место — в стене, в доске или еще где-нибудь, затем двумя пальцами левой руки взять гвоздь и прислонить острием точно к этому месту. При этом необходимо следить, чтобы он стоял прямо.

Теперь молотком, зажатым в правой руке, производим удар по гвоздю. Однако одного удара мало. Самый правильный способ — это часто, но не слишком быстро и в то же время не слишком медленно, в соответствующем темпе, точными ударами вбивать гвоздь. При этом не сводить глаз со шляпки гвоздя, иначе он станет вихляться и скоро выскочит. А так он прямо войдет в дерево и долго продержится.

Конечно, возможны небольшие промахи и осечки, особенно поначалу. Можно, например, промахнуться, отчего или больно ударишь по пальцу, или согнешь гвоздь. В таких случаях лучше взять новый. Однако накопленный опыт со временем позволит вам забивать гвозди не глядя. Дело в том, что в нас подспудно заложен навык, развивая который, мы сумеем даже вслепую попадать всегда по шляпке гвоздя.

Когда дело дойдет до этой стадии, значит, достигнута высшая степень совершенства в забивании гвоздей. Это вершина. Пытаться идти еще дальше означало бы лезть на рожон, ибо слабыми человеческими силами при несовершенной нервной системе и ограниченном круге знаний большего достичь невозможно.

Конечно, бывают и исключения, но очень-очень редко. В Североамериканских Соединенных Штатах, в городе Сан-Диего (штат Калифорния), 7 июня 1927 года некоему торговцу фруктами, по имени Дж. Э. Брингэм, удалось не молотком вбить гвоздь, а гвоздем заколотить молоток в ящик с фруктами. А в Мадрасе (Индия) некий не упомянутый по имени субъект загоняет гвозди в твердое, как камень, красное дерево без помощи молотка — лишь силой пристального взгляда.

Все это прекрасно, но не для нас. Наше дело радоваться, если мы научимся по всем правилам, держа гвоздь двумя пальцами левой руки, забивать его молотком.

Жалобы рисового зернышка

Почтительнейше прошу прощения. Лишь тревога за наше будущее вынудила меня заговорить.

Тот, с кем я обычно спорю, — мой третий сосед, иными словами, нас отделяют всего лишь два рисовых зерна. Мой собеседник — существо, тонко чувствующее и трезво взирающее на мир, — страстно отстаивает свои убеждения, порой впадая в крайности.

Предмет наших споров не так уж и сложен. Его можно сформулировать совсем просто: одинаковы ли мы, рисовые зерна? Что принесет нам будущее? И каково будет наше потомство?

Ведь мы — и это самое печальное во всей истории — селекционный сорт, так называемый «тибетский морозоустойчивый». Это означает, что мы не только лучше среднего переносим холод, но и в других отношениях — от содержания крахмала и до урожайности — представляем собой отборный сорт. А уж что будет с другими, лучше и не задумываться. Хватит с нас собственных забот.

После того, как нас посеяли, мы прорастаем, затем начинаем колоситься, даем семена. Готов признать, что это несколько однообразно. Однако приятель мой — любитель острых формулировок — говорит так: «Мы всего лишь повторяем самих себя». Тут я обычно ссылаюсь на закон Менделя в доказательство, что и из нас, мол, получаются новые варианты, а он только машет рукой и цитирует максиму Ли Тай-линя: «Лишь обновление приводит к вечности. Тот, кто не способен выделиться среди прочих, уже не живет».

Вот тут я начинаю горячиться. Как-то раз сунул ему под нос зеркало: ну что, разве мы не одинаковые? Он ответил мне язвительной улыбкой. И — поскольку даже случай ему благоприятствует — он все еще улыбался, как заявился почтальон, этакий плюгавый интеллигентишка-очкарик, и еще издали крикнул мне:

— Эй, рис! Тебе письмо!

Это он так зовет меня — просто «рис», и все тут. Имен у нас нет, они нам ни к чему. Принято давать названия двум разным сортам сыра, двум видам зубной пасты или двум романам, чтобы их не спутать, ну а рис — он, мол, и есть рис. Мы даже на конверте не пишем адреса. Я вскрыл письмо, заглянул в него и вернул почтальону.

— Я, конечно, всего лишь скромное рисовое зернышко, — обиженно сказал я, — но не люблю, когда меня путают с другими.

Каждое рисовое зерно в течение своей жизни соприкасается в среднем с 200—300 тысячами других рисинок. Мозг наш устроен так, что способен дифференцировать это количество индивидов. Не узнать кого-то среди нас считается оскорблением, а в особенности со стороны почтальонов, ведь у них глаз наметан профессионально.

Так что можете себе представить, как сконфузился почтальон.

— Ну и растяпа я! — попытался он обратить дело в шутку. — Наболтал тут невесть что! Вот разиня, вот олух!

При этом он непрестанно озирался, взгляд его перебегал из стороны в сторону, сначала на моего соседа справа, затем — на первого слева, затем — на второго соседа слева и наконец остановился на моем приятеле.

— О, теперь я вижу: ведь письмо адресовано вам! Должно быть, у очков стекла запотели, вот я и обознался.

— Минуточку, давай разберемся! Если письмо адресовано мне, тогда зачем было отдавать другому? Или тебе что тот рис, что этот — без разницы?

Взглянули бы вы на того почтальона! Приятель скорчил мне очередную язвительную усмешку, и я чуть не лопнул от злости. Жаль, что вы нас не видели, но поверьте, мы даже не похожи друг на друга. Мой приятель — марксист (хотя из всего учения ему по душе лишь принцип революционного насилия), я же поначалу баловался троцкистскими взглядами, а затем перешел на сторону Ганди, поскольку чураюсь каких бы то ни было активных действий… Ладно, согласен, это тонкости, но вот вам, к примеру, наши характерные приметы.

Он: коренастая фигура, цепкий взгляд, широкий склад души. Натура, страстно предающаяся радостям жизни, однако умеет не только брать, но и давать, и ради доброго слова готов снять с себя последнюю рубашку; превосходный пловец, неоднократно спасал жизнь утопающим.

Я: мягкий, кроткий, несколько женственный по натуре. Голос у меня приятный, я вполне сносно пою популярные песенки и под настроение, стоя по колено в воде, при голубом сиянии луны могу развлечь хоть целое рисовое поле. Есть у меня и особая примета: брошенный в воду, я камнем иду ко дну.

И ухитрился же этот почтальон перепутать нас!

— Ну как, приятель, — спрашиваю я, — неужели между нами нет разницы?

Почтальон от смущения то краснеет, то бледнеет. Взгляд его перебегает с меня на моего приятеля, и видно, как мозг лихорадочно ищет выход из положения.

— Ах, что вы, разница огромная!.. В вас содержание крахмала составляет почти восемьдесят процентов!

— А в нем?

Собственно говоря, к чему эти настойчивые расспросы? Судите сами: разве не гордыня движет нашим стремлением во что бы то ни стало отличиться от себе подобных? Ведь с того момента, как мы появляемся на свет, и вплоть до университета мы получаем одинаковое воспитание и одинаковую информацию от окружающей среды, где, в свою очередь, заложена одинаковая информация, и если так пойдет и дальше, то внуки наши будут похожи как две капли воды!

И все же я не могу остановиться. Пристаю к почтальону до тех пор, пока тот не подтверждает, что содержание крахмала в нас одинаковое.

— Даже на мешке написано: «Тибетский морозоустойчивый, содержание крахмала 80%»…

Ишь, как выкручивается! Ведь у нас почтальон скорее умрет, чем признается, что спутал два разных лица… Ну да ладно, подкинем ему вопросик полегче.

— Слушайте меня внимательно, — говорю я. — Перед вами река. Вы падаете в воду. Вас подхватывает водоворот, вы захлебываетесь, того гляди утонете… А на берегу стоим мы оба, мой приятель и я. Вам ясна ситуация? Тогда ответьте мне, — спрашиваю его я, — кто прыгнет в воду, чтобы вас спасти, он или я?

У него трясутся руки. Дрожащим пальцем он указывает на меня, затем на моего приятеля и снова на меня.

— Он, — произносит почтальон срывающимся голосом. — И вы тоже, — указывает он на меня. — Ни один из вас не дал бы мне утонуть!

Вы слышали? Пороть такую ахинею, когда — как вам известно — на груди у моего приятеля красуется медаль «За спасение утопающих»!

Удручающее зрелище, да и только. С вами тоже так бывает? Потому что, когда я вижу, как мучается глупый и двуличный тип вроде этого почтальона, мне, например, становится его жалко. (Интересно, а почему в нас не пробуждается жалость, когда на наших глазах страдают натуры смелые и открытые? Впрочем, это к делу не относится.)

— Ладно, — говорю, — лучше уж перестану терзать вас вопросами. Есть между нами какие-нибудь отличия или нет — пусть это останется на вашей совести. Конечно, вы не обязаны отвечать. Однако не скрою, — добавляю я, — что в почтовом ведомстве у меня имеются кое-какие связи.

И что бы вы думали? Да-да, от этих моих слов он тотчас вошел в разум! Наверное, с этого и надо было начинать.

— Вижу разницу, — тотчас выпалил он.

— В чем же именно?

— Сперва нужен кусочек мыла…

— А еще что?

— Еще соломинка, которую надо обмакнуть в мыльную воду.

— А затем?

— Тогда остается лишь подуть в соломинку, чтобы образовался мыльный пузырь.

— Ну и что же в результате получится?

— Тут-то и выявится разница.

— Каким образом?

— Дело в том, — говорит почтальон, весь обливаясь потом, — что его пузырек лопнет чуть раньше вашего.

Раньше моего — вы слышали? Я бросил торжествующий взгляд на своего приятеля. Наконец-то ему досталось поделом! Сколько лет он страдал оттого, что мы якобы все на одно лицо, на весь мир раструбил свои сетования, хотя — призываю вас в свидетели — нет на свете двух одинаковых рисовых зернышек!

Домой

Девочке едва исполнилось четыре года, и, конечно, воспоминания ее были расплывчаты, но мать, чтобы довести до сознания ребенка грядущие перемены, подвела дочку к ограде из колючей проволоки и издали показала ей эшелон.

— Что же ты даже не радуешься? Этот поезд повезет нас домой.

— И что тогда будет?

— Тогда мы вернемся домой.

— А что значит «домой»? — спросила девочка.

— Это там, где мы жили раньше.

— А что там есть?

— Помнишь своего мишку? Может, и куклы твои целы.

— Мама, — спросила девочка, — а дома тоже будут охранники?

— Там — нет.

— Значит, оттуда можно убежать?

Некоторые варианты нашего самовоплощения

Что греха таить, я, как и все дети, мечтал о разных глупостях. Мне хотелось стать пилотом, машинистом паровоза или по крайней мере самим паровозом. Иной раз я замахивался и на большее: вот, мол, вырасту и сделаюсь венским экспрессом!

Наш дальний родственник, аббат Книза, человек образованный и рассудительный, пытался уговорить меня стать речным камешком, да меня и самого привлекала эта завершенность, это округленное спокойствие. А вот мать моя, та, напротив, желала, чтобы я попытался отыскать какую-нибудь связь со временем. «Стать бы тебе, сынок, яйцом — это и рождение, и кончина одновременно, само быстротечное время, заключенное в хрупкой оболочке. Из яйца может получиться что угодно», — выдвигала свои аргументы моя добрая матушка.

Но вот ведь неисповедимы пути господни. Знаете, кто я сейчас? Песок в песочных часах, должно быть, для того, чтобы угодить и маминому, и дядюшкиному желанию: ведь песок — он как бы вечность, а песочные часы — исконный символ течения времени. Они изображались еще в египетском письме, где иероглиф «часы» означал: «Заходит солнце», «Господи, время-то как летит», «Птицы слетаются к своим гнездовьям» и «Отчего у меня кружится голова, любезнейший господин доктор?»

Тепленькое местечко вроде этого заполучить не так-то легко, но дядюшка Книза, в похвалу ему будь сказано, хотя и не одобрял столь соглашательские жизненные принципы, все же поспособствовал, чтобы меня определили песком на случайную работу. (Под случайной работой подразумевается, что мною пользуются лишь от случая к случаю, при варке яиц, так что и тут я в какой-то мере выполнил и мамино пожелание.) Долгое время все шло тихо-спокойно, и я уж было начал поговаривать, что, слава Богу, мне удалось неплохо устроить свою жизнь, когда нежданно свалилась беда: я ни с того ни с сего стал сбиваться в комочки, а для песка это такая же катастрофа, как для балетного танцовщика, у которого начинает расти животик. (Но у нас это не связано с возрастом, песок ведь не стареет.)

И теперь все чаще случается, что ноги у меня проскальзывают, а бока застревают в узком стеклянном проходе. Разумеется, я пробовал просачиваться наоборот — головою вниз, но результат тот же: долгими минутами, а иногда и часами, приходится протискиваться, размахивая руками и ногами, а тем временем яйца перестают вариться, песочные часы останавливаются, ведь вся эта прорва песка у меня над головой пребывает в бездействии. И хотя песчинки молчат — не пикнут и вроде бы не подгоняют меня, но самим своим существованием оказывают на меня моральное давление, которое приводит к нервному расстройству. И тут не скажешь, будто ты не виноват, потому что виноват, да еще как! Ведь с самого начала явно была во мне эта склонность сбиваться в комки; иными словами, я по сути своей задира и буян, невыносимый тип, абсолютно не пригодный для того, чтобы быть песком.

В таких случаях какие только мысли не лезут в голову! Увидел бы кто меня сейчас — ни за что бы не поверил, что прежде мне было впору идти хоть безвоздушным пространством в лампочку накаливания. И только представьте себе, была когда-то одна девушка по имени Панни, хорошенькая, но глуповатая, она на батистово-шелковой фабрике работала. «Знаешь что, — сказала она однажды, — пойдем-ка со мной, сделаю я из тебя дамские трусики...» Тогда, помнится, я разобиделся на нее, а сейчас это предложение кажется мне райским блаженством; хотя и быть трусиками тоже не бог весть какая разнообразная жизнь, но все же есть тут некоторая пикантность.

И вот я опять застрял в узкой горловине. Находясь в стесненном положении, довожу до сведения всех, кто возлагал на меня какие-либо надежды, что хотя от близких своих я получил сплошь неудачные советы, в конечном счете лишь я один повинен в том, что избрал себе это невзрачное, но надежное жизненное поприще. А осмелься я рискнуть, то в случае удачи и притом без всякой протекции — поскольку я лично был знаком с инженером, который проектировал крупнейший в мире океанский пароход, — я мог бы добиться гораздо большего. Ведь если бы вместо «Куин Мэри» водоизмещением в семьдесят тысяч тонн тот инженер вовремя вспомнил обо мне, то сейчас мне не пришлось бы подбирать живот, чтобы протиснуться в это треклятое сужение; подскакивая на высоченных волнах, смело противостоя ветрам и бурям, я горделиво бороздил бы моря и океаны!

Простите, мне удалось протиснуться. Стекаю вниз.

Homo sapiens

1

Все, что зарождается в нашем сознании, есть предположение.

2

Часть этих предположений ошибочна, другая же часть верна.

3

Взвесив свои предположения, ошибочным мы говорим «нет», верным — «да». Стало быть, критическая оценка предположений является возможностью поиска истины.

4

Человек — единственное живое существо, способное к поиску истины, ибо только он умеет оценивать возможность как утверждение ее или отрицание. Следовательно, истина в нашем мире воплощена в образе мыслящего человека.

5

Эта наша способность помогла нам одолеть слепые силы природы, излечить болезни, освободить рабов, чтить своих ближних и планировать будущее, причем таким образом, чтобы из всех возможных миров восторжествовал наилучший.

6

Благодаря этому нам удалось искоренить ненависть, преступления и войны, безысходность и нищету. Теперь мы живем с чувством уверенности в будущем, безоблачной радости и счастья.

7

Нынешнее благоденствие — если рассудок наш сохранится здравым — пребудет с нами до скончания века.

Смысл жизни

Если много-много стручков перца нанизать на бечевку, то получится связка перца.

Если их не нанизывать, то никакой связки не получится.

А ведь перец один и тот же, такой же красный, такой же острый. Но все-таки это не связка.

Неужто же бечевка делает перец связкой? Нет, не бечевка. Бечевка тут, как мы знаем, дело второстепенное, а то и третьестепенное.

Так что же тогда?

Кто задумается над этим вопросом и постарается, чтобы мысли его не разбегались, а работали в верном направлении, тот может напасть на след великих истин.

Относительность страха

Две мухи — обыкновенные, нормальные домашние мухи, едва отличимые от своих соплеменниц, — иногда сойдутся на потолке какой-нибудь комнаты и, повиснув вниз головой, как повелось, хорошенько отведут душу, подробно рассказав все приятные и неприятные новости.

— Как поживаешь, товарка? — спрашивает одна другую.

— Хуже некуда!

Внимание: мухи — известные любительницы приврать. Их утверждения не следует принимать на веру буквально, однако даже над их преувеличениями стоит призадуматься.

— Да-а, на тебя посмотреть — вид не ахти какой цветущий!

— Было бы с чего цвести! Хочешь послушать?

Муха хотела, и товарка поведала ей, что позавчера, в воскресенье, в самый страшный день ее жизни, греясь на нежарком осеннем солнышке, она мирно посиживала себе перед вновь отстроенным зданием столичного

цирка, на конском навозе посреди мостовой, где по случаю выходного дня уличное движение схлынуло.

— И ты еще жалуешься? — удивилась собеседница. — Тут неделями конского навоза не увидишь.

— Дослушай до конца, — сказала другая.

И вот так посиживая, продолжала муха, она вдруг услышала неимоверный грохот, оглушительные крики, душераздирающие вопли, топот бегущих людей, и не успела она опомниться, как из вновь отстроенного цирка вырвалось ужасное чудовище, страшилище кошмарное, да как бросится прямо к ней.

— Не тяни, не тяни, а то я от страха с ума сойду, — подгоняла ее товарка, дрожа всем телом.

— Я не тяну, но, чтобы успокоиться, все-таки сосчитаю от десяти в обратном порядке. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один... И слава Богу! Чудовище промчалось — не преувеличивая — в полутора метрах от того навозного шарика, на котором я сидела. Представляешь: я была на волосок от гибели!

— И что это было за чудище? — спросила муха.

— Лев, — ответила другая. — Чего ты так напугалась?

— А я думала — ласточка, — облегченно вздохнув, пробормотала первая.

Обе рассмеялись, распрощались, разлетелись в разные стороны.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О Боже милосердный! Сотвори молитву за нас, робких людишек, кои норовят устрашиться каждого вырывающегося на свободу, прущего напролом и ревмя ревущего льва. А ведь опасны ласточки, и только ласточки. Спаси от них наши бренные души. Аминь!

Венгерский пантеон

— В газетах же сообщалось, что музей закрывается на две недели, — сказал по телефону швейцар. — Выставка «Реликвии освободительной борьбы» уже снята, а для экспозиции «Любимые женщины Ференца Листа» мы сейчас как раз подбираем материал.

— Что же мне с ними делать? Эта экскурсия была у нас запланирована на сегодня.

— Сводите их в Музей изящных искусств.

— Там мы уже были. И потом, посудите сами, ведь это пятнадцатилетние девочки, к тому же из провинции. Предметы говорят им гораздо больше, нежели лучшие картины мира!

— Ну где я возьму вам выставку? — Швейцар начал раздражаться. — И потом, я совсем один в музее.

Но голос учительницы звучал так жалобно, что швейцар попросил минутку на размышление, после чего заявил, что попробует подобрать коекакой материал, но наспех составленная экспозиция будет неполной. И за неимением каталога им придется довольствоваться его пояснениями.

В фойе был наклеен листок с напечатанным на машинке объявлением: «Выставка памяти Шандора Губауэра». В первом зале был выставлен для обозрения штык Шандора Губауэра-старшего, который тот принес еще с Первой мировой войны, но штык не слишком заинтересовал девочек. И в молитвенник мамаши Губауэра, урожденной Марии Шюле, они заглянули только из приличия, хотя он был примечателен тем, что хозяйка сплошь исписала его кулинарными рецептами. Но тем больший успех вызвала следующая витрина, где можно было видеть уже самого

Шандора Губауэра в возрасте восьми месяцев, голышом лежащего на животике.

— Ах, какая прелесть! — вздохнула одна из девочек, в которой уже заговорила будущая мать.

В той же витрине лежали игрушки: ржавое жестяное ведерко, лопаточка, тачка. Молочный зуб. Свидетельство о прививке оспы. Маленькие очки с выбитыми стеклами. (Как известно, Шандор Губауэр до пятнадцати лет был близоруким, но впоследствии зрение его выправилось.)

— Вот и вам, девочки, — назидательно заметила учительница, — следует регулярно показываться глазному врачу.

В следующей витрине — потертая записная книжка.

— Шандор Губауэр с юных лет записывал все расходы до единого филлера…

А это вышивальная машинка.

Девочки диву давались. Подумать только: за этой старомодной, с ножным приводом машинкой фирмы «Омаг», в то время как сам Губауэр тщетно бился за претворение своих дерзких замыслов, его супруга гнула спину от зари до зари… Только благодаря этой малооплачиваемой работе — вышиванию крохотных монограмм — ей кое-как удавалось заработать на хлеб насущный для своей семьи… Блаженной памяти вышивальная машинка! Ведь не прожить бы без нее семье в четыре человека на то убогое жалованье швейцара, которое получал Губауэр!

— А какого характера были его дерзкие замыслы? — поинтересовалась одна несведущая ученица.

— Самые разнообразные, — ответил швейцар. — Для удобства рассмотрения мы подразделяем их на три группы: концепции экономического, политического и научного характера.

К сожалению, из-за недостатка времени пришлось из всего этого многообразия выхватить лишь кое-что наугад. Научная деятельность Губауэра еще ждет своего изучения; одно очевидно: идея космической ракеты приходила ему в голову задолго до изобретения ее русскими, равно как и мысль об использовании солнечной энергии. (Он имел в виду гигантские станиолевые мешки, в которых можно будет сохранять энергию Солнца примерно так же, как сейчас продавцы сохраняют горячими жареные каштаны.) Что же касается политических взглядов Губауэра, то письменных упоминаний об этом почти не сохранилось, а рассказы друзей и близких преданы забвению.

— Какая жалость! А в чем состояли эти взгляды? — спросила учительница. Ей пришлось прикрикнуть на девочек, чтобы не болтали.

— Как известно, Губауэр был отважным борцом за мир. Однажды, к величайшему ужасу своей супруги, он погрозил кулаком маршировавшим по улице немецким войскам. С военной службы он дезертировал и жил по подложным документам; в витрине номер семь вы можете видеть удачно изготовленное командировочное предписание — подпись на нем подделана супругой Губауэра. Мужество Шандора Губауэра достойно преклонения. Однажды в конце войны, сидя (с фальшивыми документами в кармане) в саду одного ресторана, который находился под наблюдением сыщиков, Губауэр во всеуслышание заявил: «Дни Гитлера сочтены!» С соседних столиков на него даже оглянулись посетители.

— Сыщики? — ужаснулась одна из девочек.

— К счастью, просто его знакомые. Но Губауэр был таким человеком, что не побоялся бы сказать то же самое даже в присутствии сыщиков.

Девочки содрогнулись. Затем перешли к следующей витрине, где стоял игрушечный паровозик.

— Это комбинированная копилка «Родине будь предан непоколебимо!» — пояснил швейцар с горестной улыбкой, как бы говорившей: вот что

осталось от дерзновенных мечтаний возвышенной души — жалкая поделка, которую сам изобретатель считал забавой… Отрицательное заключение Бюро патентов лежало тут же рядом.

— А что значит «комбинированная»? — поинтересовалась учительница.

— Если опустить в нее монету, механизм исполняет «Родине будь предан непоколебимо!»

Одна девочка опустила монету в паровозик. Они ждали, ждали, но так ничего и не услышали.

— Наверное, не действует, — сказал швейцар.

— Не имеет значения, — сказала учительница и пояснила: — Это изобретение учит не только бережливости, но и патриотическому образу мыслей.

— Что же, у него не нашлось покровителей? — спросила какая-то девочка.

— Ни одного. Губауэр так и состарился в одиночестве, никем не признанный.

— И ни один из его замыслов не был осуществлен?

— В этой стране? — махнул рукой швейцар. — Целая человеческая жизнь прошла впустую.

Все молчали, словно и их коснулось дуновение национальной трагедии.

— А это майор Гагарин! — указал швейцар на цветной портрет.

— Они были знакомы?

— К сожалению, нет.

— По чьей вине?

— Встреча не состоялась, — уклончиво сказал швейцар.

Теперь оставалось осмотреть еще одну витрину.

— А это служебный проездной билет, по которому он ездил на работу… Шандор Губауэр жил скромно и уединенно, он не просил и не ждал для себя привилегий. Вот его завтрак: пол-литра молока, сто граммов чайной колбасы, хлеб.

Экскурсантки со всех сторон обошли молоко, колбасу, хлеб. У некоторых на глаза навернулись слезы.

Они поблагодарили швейцара, построились парами и двинулись к выходу. Через неделю школьницы писали сочинение на тему: «Что я видела во время учебной экскурсии в Будапеште?» Молодежь, как известно, падка на эффектные зрелища; девочки исписали целые страницы о церкви Матяша, о буфете самообслуживания, о национальном флаге на здании Парламента. А о мемориальной выставке Шандора Губауэра едва упомянули. Вот она, нынешняя молодежь.

Но ничего. Когда-нибудь потом, лет через двадцать, тридцать… Лет через сорок… Тогда они вспомнят Губауэра!

ДИАЛОГ О СМЕРТИ

Действующие лица:

О д и с с е й, царь Итаки
В д о в а к о р а б е л ь щ и к а

«Младший из всех на моем корабле, Эльпенор, неотличный
Смелостью в битвах, не щедро умом от богов одаренный,
Спать для прохлады ушел на площадку возвышенной кровли
Дома Цирцеи священного, крепким вином охмеленный».
(«Одиссея», перевод В. А. Жуковского)

Вдова. Еще одно слово...

Одиссей. Дай пройти.

Вдова. Одиссей, взываю к твоему великодушию и добросердечию, к мудрости и отваге, к уму и находчивости! Скажи: что сталось с моим супругом?

Одиссей. Оставь меня, почтенная матрона. К чему такая лесть?

Вдова. Я перестану льстить, только ответь мне, Одиссей.

Одиссей. Я не просил перестать. Вопрос мой был: к чему она, твоя лесть? Ведь я сказал, что не припоминаю твоего супруга.

Вдова. Смилуйся надо мною, о царь! От гостей твоего дома я узнала, что ты хранишь в памяти все до мельчайших подробностей. Помнишь даже, с какой стороны дул ветер на сто первый, сто второй или сто третий день твоих странствий. И лишь супруга моего ты не помнишь!

Одиссей. Нет, не помню.

Вдова. Ужели сердце твое равнодушно к моим страданиям? Скажи хотя бы, жив ли Эльпенор, иль умер.

Одиссей. Умер.

Вдова. Вот видишь! Выходит, ты все же помнишь его.

Одиссей. Не помню. Все, кто возвращался со мною из Трои на родину, погибли. Стало быть, и муж твой мертв.

Вдова. О, горе мне!

Одиссей. Утешься, женщина. Тому уж тридцать лет, и ты теперь в годах преклонных.

Вдова. Не тридцать — тридцать один. Только ведь Эльпенору, когда он взошел на твой корабль, было двадцать. И я, когда думаю о нем, поныне вижу его двадцатилетним....

Одиссей. Не думай о нем — вот тебе мой совет.

Вдова. О ком же мне еще думать? По вечерам страшусь ложиться в постель. Холод мертвого тела подстерегает меня под покрывалом. О царь, я сплю на смертном ложе!...

Одиссей. Клади под покрывало грелку. А мне пора идти, обязанности правителя не терпят отлагательства.

Вдова. Еще одно словечко, Одиссей! Коль скоро ты царь — думай о своих верноподданных. Когда объявляешь войну, думай о будущих вдовах.

Одиссей. Опомнись, мать! Я не объявлял войну, а лишь дал достойный отпор оскорбительному вызову Трои... И разве не пекусь я о вдовах погибших воинов? Разве ты не получаешь воспомоществование?

Вдова. Получаю.

Одиссей. Разве лишена ты права вплести в волосы белую ленточку на празднествах в честь Ареса и Аполлона?

Вдова. Никто не лишал меня такого права.

Одиссей. Разве имя супруга твоего не высечено на колонне средь славных имен прочих героев?

Вдова. Высечено.

Одиссей. Ну так позволь мне пройти, почтенная матрона. Дел выше головы, и распри меж народами по-прежнему не утихают...

Вдова. Постой, царь! Ведь кое-что мне причитается от моего супруга.

Одиссей. От покойника? Что же это за вдовье наследство?

Вдова. Право на воспоминания.

Одиссей. Какое такое право?

Вдова. Уж если ты отнял у меня его, двадцатилетнего, возврати по крайности память о нем. Я имею право знать, где и как он погиб. Кто последним видел его в живых. Какие были его предсмертные слова.

Одиссей. Ты мне в тягость, женщина, стоящая у врат Аида. Как бишь ты его описывала? Белокур он был или же темноволос?

Вдова. Белокуро-темноволосым был мой многострадальный супруг.

Одиссей. И ростом не мал и не высок?

Вдова. Среднего росту.

Одиссей. Глаза водянистые, нос приплюснут?

Вдова. Плечи покатые, грудь впалая.

Одиссей. Значит, красавцем его нельзя было назвать.

Вдова. Какое там — красавец!

Одиссей. Да и смышленым его вряд ли сочтешь.

Вдова. Вряд ли....

Одиссей. Смекалкой не отличался ни на ристалище, ни на поле брани.

Вдова. Уж это точно.

Одиссей. Зато выпить был не дурак.

Вдова. Что бездонная бочка.

Одиссей. Но уж хотя бы храбрости у него хватало?

Вдова. Он был труслив как заяц.

Одиссей. Зато человек правдивый, откровенный.

Вдова. Врал без зазрения совести, пьяница ненасытный.

Одиссей. Выходит, никудышный был у тебя супруг, почтенная матрона...

Вдова. Воистину никудышный.

Одиссей. Как, говоришь, его звали? Политес?

Вдова. Эльпенор.

Одиссей. Эльпенор?

Вдова. Да.

Одиссей. Эльпенора я не помню.

Вдова. О царь, не насмехайся надо мною! Ведь ты описал его так, что и мне лучше не сделать. Перечислил все его черты.

Одиссей. Мне жаль тебя, убеленная сединами матрона, но я не помню Эльпенора.

Вдова. Почему же ты так хорошо знаешь его?

Одиссей. Да потому, что все они были одинаковые.

Вдова. Что я слышу? Герои? Гордость Итаки?

Одиссей. Все они были такие.

Вдова. Глупые, трусливые, пьяницы и обманщики....

Одиссей. Все до единого.

Вдова. Вот оно что... Теперь мне все ясно. О царь, какое же ты мерзкое чудовище!

Одиссей.Выбирай выражения, грубая женщина.

Вдова. По всей Итаке разнесу слух: погибшие герои все до единого — трусливые твари. Утонувшие моряки — сплошь пьяный сброд. Все они одинаковы: тупоголовые бараны, годные лишь на убой....

Одиссей. Что ты мелешь, безмозглая баба?

Вдова. Я повторяю твои слова. Таков порядок вещей: они должны были все погибнуть... Болваны — какой от них прок! Пусть гибнут тысячи, чтоб жил один.

Одиссей. Постой!

Вдова. И этот *один* — ты, царь...

Одиссей. Ни шагу дальше, старая карга! Я расскажу тебе, как погиб Эльпенор.

Вдова.. Эльпенор? Так помнишь ты его или нет?

Одиссей. Помню. Он поразил десяток троянцев, когда в глаз ему впилась стрела. Герой даже не стал вытаскивать ее. Свой короткий меч он по самую рукоять вонзил в грудь всадника, но сам в поединке лишился правой руки. Схватив палицу уцелевшей левой рукою, он сокрушил еще два десят-

ка троянцев, затем у него оказалась перебитой нога, но он продолжал сражаться, пока в тыл ему не зашел отряд всадников... Тогда Политес...

Вдова. Эльпенор.

Одиссей. Я хотел сказать: Эльпенор... нанес врагам чудовищный урон, но в конце концов... Не стану уточнять подробности. Мы погребли его на поле брани и над могилой насыпали холм.

Вдова. Благодарю тебя, о царь Итаки! Отныне, на вдовьем моем ложе он и будет представать мне героем, а вовсе не таким ничтожеством, как в том стихотворении, описывающем его смерть....

Одиссей. Что это еще за стихотворение?

Вдова. Там говорится, что Эльпенор, упившись вином сверх всякой меры, лег спать на крыше дома Цирцеи и утром, когда вы стали звать его в путь, свалился оттуда и сломал себе шею...

Одиссей. Хорошо, что ты мне сказала. Завтра же запрещу эту писанину. Как, говоришь, зовут поэта?

Вдова. Я не говорила, но имя его Гомер.

Одиссей. Завтра же велю колесовать стихоплета.

Вдова. За то, что он солгал?

Одиссей. За то, что не распознал правду.

Вдова. Как ты жесток! А прежде, говорят, любил поэзию.

Одиссей. Теперь не до поэзии, когда я — царь Итаки...

Диалог о бессмертии

Действие происходит в Дуксе, в замке графа Вальдштейна, где Казанова на склоне лет писал свои мемуары и с милостивого соизволения графа присматривал за порядком в его библиотеке.

Джакомо Казанова и Пьетро Петрони, — два дряхлых старца у камина играют в шахматы.

Петрони. Ваш ход, дон Джакомо.

Казанова. Ошибаетесь, мессир Петрони... Я, с вашего позволения, только что пошел слоном...

Петрони. Да, но после этого я продвинул свою ладью.

Казанова. В самом деле! Воистину старость не радость. Вот и сегодня поутру, мессир, стоило мне глянуть в зеркало и увидеть свою усохшую желчную физиономию, похожую на выжатый лимон, и я не знал, плакать тут или смеяться... Неужели это ты, спрашиваю я себя, дон Джакомо Казанова, кумир женщин, гроза мужей, властитель девичьих грез?! О горе мне, мессир!

Петрони. Душа у вас по-прежнему молодая, дон Джакомо! Иные в ваши лета прикованы к постели — старческой немощью иль вроде меня — подагрой к креслу, а вы не зная устали строите жизненные планы, поглощены творчеством, пишете мемуары, которых публика ждет не дождется.

Казанова. Единственное мое утешение — это здешняя обитель, стены этого замка, где я благодаря милости графа Вальдштейна — под предлогом приведения в порядок его библиотеки — получил возможность запечатлеть на бумаге светлые воспоминания о прожитом.

Петрони. А я даже этого лишен. Какие воспоминания могут быть у банкира? Чем скорее все позабудешь, тем лучше... Зато вы, дон Джакомо, корпя над мемуарами, способны вновь вкусить пряного вина молодости... Позвольте поинтересоваться, сколько героинь будет упомянуто в вашей книге?

Казанова. Много... Ваш ход, мессир Падрони.

Петрони. Хожу. Кстати, меня зовут не Падрони, а Петрони... Если верить слухам, у вас было двести восемь возлюбленных...

Казанова. Клевета! Слух распространили мои недруги, дабы опорочить меня.

Петрони. Сколько же возлюбленных у вас было в действительности?

Казанова. Всего лишь двести одна. Но зато одна другой краше и щедрее на любовь... (*мечтательно*) чего стоит Мариэтта из Венеции, Беллина из Болоньи или леди Шарпилон из Лондона...

Петрони *(с завистью)*. Даже такая высокопоставленная дама?

Казанова. Отнюдь не единственная. Достаточно вспомнить хотя бы маркизу д'Юрфе из Парижа...

Петрони. Неужели и маркиза?!

Казанова. Да не одна, а целая дюжина! Вот из принцесс действительно была всего одна, зато чистых королевских кровей. Она фигурирует в воспоминаниях под инициалом Д.

Петрони. Ах, дон Джакомо!

Казанова. Все это было давно. А затем следует глава о моих похождениях в Санкт-Петербурге. Императрица Екатерина Вторая...

Петрони. Как, и императрица тоже?

Казанова. К сожалению, нет... Тут досадный пробел в моих мемуарах.

Петрони. Неважно, перечень и без того впечатляет... Дюжина великосветских дам!

Казанова. Если считать только француженок... Кстати, вам грозит мат, мессир Петронелли.

Петрони *(собираясь с духом)*. Дон Джакомо... Дон Джакомо... Всякий раз вы коверкаете мое имя, я уже устал поправлять вас. А между тем именно это имя вам следовало бы помнить.

Казанова. К сожалению, как только дело доходит до мужских имен, память мне изменяет.

Петрони. Речь идет о банкирском доме — неаполитанском «Банко Петрони». Где вы когда-то предъявили вексель за подписью кардинала Аквавивы...

Казанова. Как же, как же, помню кардинала Аквавиву! На редкость умный был человек и доброты несравненной.

Петрони. Возможно. Вот только подпись его, к величайшему прискорбию, оказалась фальшивой.

Казанова. Вам шах... Неужели вы намерены припомнить мне ту давнюю историю с векселем?

Петрони. Помилуйте, что вы! Ведь я не нищий... Хочу напомнить вам иной, куда более приятный эпизод. Если уж вам плохо запоминаются мужчины, то, вероятно, имя донны Лукреции пробудит в вас кое-какие воспоминания.

Казанова. Постойте! Лукреция? Ах да, она играла на гитаре в корчме в Кастельгандолфо...

Петрони. О нет!

Казанова. Обождите, обождите... Мурано, монастырь, гондола у подножия высокой кирпичной стены. Том второй, глава первая. Непорочная Лукреция...

Петрони. Опять не угадали. Речь идет не о трактирной девке и не о монахине, а об утонченной даме благородного происхождения. Это — донна Лукреция из Неаполя.

Казанова. Донна Лукреция из Неаполя? Кто бы это мог быть?

Петрони. Подскажу вам, дон Джакомо. Это моя жена.

Казанова. Ваша жена? О нет, мессир! Сомневаюсь, чтобы я имел честь знать вашу вседостойнейшую супругу...

Петрони. Знали, да еще как близко, дражайший дон Джакомо... Помогу вашей памяти: карие глаза, черные как смоль волосы.

Казанова.Так-так...

Петрони. И ножки столь изящные и миниатюрные, что ступня ее могла бы уместиться у меня на ладони.

Казанова. Хм... Вроде бы что-то брезжит...

Петрони. А на животе родинка, очертаниями похожая на ивовый листок.

Казанова. Ага!.. Где, вы говорите, родинка? На животе? Нет, не помню. Судя по описанию, я с этой дамой не был знаком.

Петрони. Вы меня обижаете!

Казанова. Но даже если и был знаком, то, смею вас заверить, относился к вашей супруге с должным почтением.

Петрони. Возможно. Тогда, значит, ваше «почтение» тому причиной, что супруга моя по прошествии года разрешилась от бремени здоровым младенцем мужского пола.

Казанова. В самом деле? Поздравляю.

Петрони. Прошу прощения, но это я вас поздравляю.

Казанова. Уж не хотите ли вы, мессир, обвинить меня...

Петрони. Юноша похож на вас как две капли воды.

Казанова. Взгляните на меня, мессир! Не лицо, а желтый, высохший лимон. О каком сходстве может идти речь?

Петрони. О, сходство весьма легко устанавливается. Ваш сынок уже трижды подделывал векселя.

Казанова. Это еще не доказательство! И позвольте мне клятвенно заверить...

Петрони. Отчего вы так упрямитесь, дон Джакомо? Донна Лукреция, хотя и не была маркизой, происходила из древнего сицилийского рода и встречала радушный прием в лучших домах Неаполя. А вы вместо того, чтобы позволить мне освежить вашу память, желаете попросту лишить сию достойную даму места в своих мемуарах!

Казанова. Мессир Пад... Пет... Впрочем, неважно. Сударь, единственный смысл и ценность моих мемуаров заключается в том, что я пишу только правду. Если я чего-то не припоминаю, значит, этого не было, а посему и не отражено в моих мемуарах... Продолжим игру.

Петрони (*умоляюще*). Не обижайте старика!

Казанова. Я ведь тоже старик. Кстати, вам — шах.

Петрони *(меняя тон).* Ладно, игра так игра. Видите ли, дон Джакомо, я прибыл сюда в качестве давнего кредитора графа Вальдштейна...

Казанова. Меня это совершенно не касается.

Петрони. Господин граф должен мне пятьдесят тысяч золотых дукатов, а стало быть, он у меня в руках.

Казанова. И что же?

Петрони. Ну, а вы, я полагаю, не возражали бы и впредь надзирать за графской библиотекой и трудиться над своими мемуарами, не так ли?

Казанова *(после некоторой паузы, со вздохом).* Я вас понял, мессир. Как, бишь, вы сказали? На животе у донны Лукреции родимое пятно сердечком?

Петрони. Я сказал: родимое пятно, похожее на листок ивы.

Казанова. Ладно, будь по-вашему! Упомяну в нескольких строках о донне Лукреции.

Петрони *(торжествующе).* Как это — в нескольких строках? Да вы бы еще сказали: «в скобках» или «в сноске». Нет, приятель, так дело не пойдет. Берите-ка перо да чернила и пишите, что я вам продиктую!

Казанова (*возмущенно*). Выходит, я должен писать свои мемуары под вашу диктовку?

Петрони. Не нравится — не пишите. У вас есть выбор.

Казанова *(вздыхает).* Я готов: мессир.

Петрони *(с воодушевлением диктует).* Благородная дама, супруга известного банкира Петрони, пыталась спастись бегством, но я настиг ее и с возгласом: «Попалась, Лукреция!» — заключил в объятия. Она сопротивлялась...

Казанова. Мне никогда не оказывали сопротивления!

Петрони. А вот она оказала! *(Входя в раж.)* В борьбе я нечаянно порвал ожерелье, и драгоценные жемчужины рассыпались по полу. «Ах! — вскричала она. — Только бы не прознал мой супруг и его вседостойные друзья!» Но я не обращал внимания на ее слова. Обуреваемый страстью, я схватил ее, с силой встряхнул за плечи и повалил...

Казанова *(в отчаянии).* Нет! Я никогда так не поступал!

Петрони (*с угрозой*). Ах, вы снова вздумали перечить?

Казанова *(покорно).* С силой встряхнул за плечи... (*разражается слезами.*) Повалил... Что еще я с ней сделал? Диктуйте. *(Плача продолжает писать под диктовку.)*

170—100

Это номер Экстремального справочного бюро, которое отвечает на любые вопросы.

Все больше народу обращается туда и задают все более сложные вопросы. (Были ли у Девы Марии месячные после непорочного зачатия? Как сочиняли музыку композиторы, когда рояль еще не был изобретен? Случайно ли встретились Маркс и Энгельс, или эта встреча была предопределена? Допустимо ли, что у нормальной пары зебр может получиться не полосатое, а клетчатое потомство?.. Попадаются еще более нелепые вопросы.)

Пришлось заключить договор со многими учеными и специалистами, организовать около 120 рабочих групп, создать при телефонной станции настоящий мозговой трест. Были налажены связи со Священным синодом и британской Королевской академией. Таким образом, даются ответы на самые каверзные вопросы, хотя, естественно, организационная структура усложнилась.

Но все это, конечно, не в ущерб самому добросовестному составлению ответов! Вот хотя бы один пример.

— Простите, пожалуйста... Тут у нас в маленького крокодильчика угодили мячом...

— Какой величины крокодил?

— Сантиметров тридцать.

— Тогда это просто ящерица.

Можно бы подумать, что с такими пустяками там и возиться не станут. Но не тут-то было! Коммутатор экстренно подключает группу первой помощи. Трубку снимает врач, неоднократно награжденный за спасение жизней. Он задает первый вопрос:

— Вы тоже ящерицы?

— Нет, мы учащиеся гимназии имени Иштвана Первого.

— Значит, вы не родственники пострадавшей? Тогда другое дело! А то членам семьи мы диагноз не сообщаем.

— Нет, мы только что увидели ее впервые. Мы играли в футбол, и в нее попал мяч.

— Она дышит?

— Да.

— Сердечная деятельность?

— Сердце работает нормально. Беда в том, что она не уползает с середины поля.

— А вы пошевелите ее.

Ребята побежали на площадку. Пощекотали ящерицу травинкой. Потом сообщили, что от прикосновения ящерица вздрагивает, но с места не двигается.

— Сотрясение мозга, осложненное параличом двигательных органов. Соединяю вас с группой невропатологии.

Так и ждешь, что невропатолог, махнув рукой, посоветует: «Добейте ее...»

Но этого не происходит. По долгом размышлении он спрашивает:

— Во что вы больше верите? В классические методы лечения или соединить вас с психоаналитиком?

— Наверное, лучше с тем, кого вы, дяденька, назвали последним.

Молодой участливый женский голос — само утешение: случай нетяжелый, легкоизлечимый. Больная, судя по всему, с детства страдала обостренным комплексом неполноценности, и очередная травма (то есть мяч, который упал ей на голову) стерла из ее сознания все, что касалось самоидентификации. Двигаться она не может потому, что не знает, что она ящерица. Стало быть, надо снова внушить ей это.

— Так что, значит, надо с ней сделать?

— Объяснить ей, что она ящерица.

— Да ведь она же не понимает человечьего языка!

— Это уже не ко мне относится.

— А к кому же?

— Есть специальная группа языковедов, которые занимаются исключительно речью пресмыкающихся. Кроме того, могу соединить вас с группой философов... Хотите поговорить с Господом Богом?

Еще бы не хотеть! Психоаналитик все тем же участливым голосом объяснила, что три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) несут дежурство материалисты, а в остальные дни — монотеисты, деисты, дзен-буддисты и экзистенциалисты. Обещать она ничего не обещает, но, когда соединила с нужным номером, — о чудо из чудес! — снял трубку сам Господь Бог.

— Чего вы хотите? Чтобы я воскресил вашу ящерку? — спросил он.

— Наверное, это было бы лучше всего.

— Так и быть, — сказал Господь Бог. — Ступайте себе с миром играть в футбол.

Дети возвратились на площадку. Обыскали все вокруг. Ящерицы как не бывало! Можно было спокойно продолжить игру. (Так между делом 170—100 поставил точку в конце многовекового спора: есть Бог или его нет.)

Вот так — надежно, точно и добросовестно — работает Экстремальное справочное бюро. Точнее сказать, работало!

Бедная страна! Стоит только какому-нибудь делу пойти удачно, как тут же вылезают на свет божий склочники, злопыхатели и недоброжелатели! Один такой пакостник возьми как-то и набери номер 170—100 да и спроси:

— Почем фунт лиха?

У дежурного на коммутаторе перехватило дыхание. Он не мог сообразить, к какому отделу это относится. Соединил с одним, подключил к другому, но ни от кого не получил вразумительного ответа, покуда и сам не запутался окончательно. Под конец в аппарате раздавалось лишь жалкое щелканье и треск...

С тех пор заглохло, зачахло Экстремальное справочное бюро, захирело настолько, что теперь уже даже на самые простые вопросы не может ответить.

На обычный вопрос, который час, дрожащий голос отвечает:

— Не знаем.

Бедняги, они утратили веру в себя.

Перевод с венгерского Татьяны ВОРОНКИНОЙ.



БЕЛА РИГО

Напутствие читателям Иштвана Эркеня

Татьяне Воронкиной

Выставка роз

Садовник, будь творцом, поэтом!
Сажай цветы и уповай в дальнейшем
на красоту раскрывшихся бутонов,
на будущее их благоуханье.
Свершится — как не вспомнить о тебе!
Пускай в помине, если канешь в Лету…
Но будет шанс воскреснуть на мгновенье.

Кошки-мышки

Не говори! Мяукай, лучше фыркай
и когти выпускай… или мурлычь.
Играй, когда твоей душе угодно
потворствовать инстинкту. Так ведь лучше!
Верь, не взбредет на ум, что ты старик,
а может быть, страшней того — старуха,
и в зеркале твоем уже видна развязка.

Семья Тотов

Не смотри тирану в глаза!
Он от этого свирепеет.
Не смотри и мимо него
(ему мнится возня за спиной).
Опусти, опусти очи долу.
И усни — его нет пред тобой.

Рассказы-минутки

(И еще несколько форточек откроется,
несмотря на стоящие холода.)

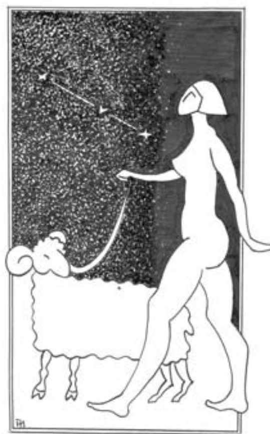
Суть познавая на одном дыханье,
в порыве правды можно задохнуться.

И боязно. (Шагнешь — вдруг так и будет!)
Но это все не больше чем страшилка.
Исторгнув из себя застойный воздух,
ты чистого — вдохнешь… Проветришь душу.

ЗНАКИ ЗОДИАКА

Овен

Овен? Вон в поисках своей овцы
он мечется, бросаясь на преграды:
нет для него ни в ком другом отрады.
М-да, весь в отца... (Тут правы мудрецы.)



В его роду знатнейшие бойцы
упрямой и напористой плеяды,
не ждавшие удачные расклады, —
все как один красавцы-удальцы.

Что до любви к единственной своей,
так ясно и понятно без затей —
он в данном деле ангелу подобен,

по крайней мере, честен и не злобен,
не ловелас и не прелюбодей...
Но грубоват — и этим неудобен.

Телец

Известно всем: ты — не телок, ты — бык.
И спорить с этим, безусловно, тщетно:
достоинство издалека заметно —
оно как у красноармейца штык.

(Однако что за прелесть наш язык!)
И рядом, и вдали — коров несметно,
и поведение твое конкретно:
ты, властолюбец, покорять привык.

Когда же на арене ты один,
средь жаждущих корриды образин,
и видишь пред собой тореадора —

уверен ты, предчувствуя сраженье:
коровки, коль потерпишь пораженье,
не позабудут твоего задора.

Близнецы

Близнец — не целое, а только половинка:
быть просто частью предназначено ему —

без *alter ego* он как будто ни к чему,
ну, что-то вроде одинокого ботинка.

И нету разницы, шоссе или тропинка
ждет за порогом, дополняя свет ли, тьму —
бросая вызов, лишь, заметьте, одному...
Ведь всем понятно — здесь не выйдет поединка.

Сойдутся вместе Близнецы — расклад иной:
они уверенны, нахальны, симпатичны;
они готовы к испытаниям различным —

не важно, стужа ожидает или зной —
глаза горят и вдаль уводит их дорога...
Но то, что двое их, — пардон — одна морока.

Рак

В твоем семействе, Рак, провидцы не родятся,
и ты брюзжишь о настоящем неспроста:
жить только прожитым — фамильная черта,
и тут не надо перед нами притворяться.

Ты не философ — ни к чему тебе кривляться —
ты и не станешь им, поверь мне, никогда,
а если в этом я не прав — тогда беда,
ведь кто-то будет твоим бредням доверяться.

Но аксиома есть, что вспять не повернуть:
не хочешь — все равно судьба укажет путь...
И с этим в целом, как известно, ты согласен,

и вот поэтому пример твой здесь прекрасен:
будь за прогресс ты или, скажем, — ретроградом,
и все ж, когда ты Рак, то лучше пяться задом.

Лев

Лев — царь и бог, владыка до кончиков когтей —
извечный победитель, привычный лишь к успехам
(не знающий пощады к растяпам, к неумехам),
как мил он, отдыхая от всяческих страстей!

В вылизыванье гривы искусник, чудодей —
он знает смысл ухода за шелковистым мехом,
хотя обычай этот сродни иным утехам,
он кажется счастливым, но все не так, ей-ей.

Он обитает в клетке, а не среди саванн:
величественность значит, скорее, блеф, обман,
скрывающий за позой душевный непокой.

Да, можно рассердиться и огласить округу
воинственным рычаньем, но для чего — на кой! —
чтоб позабавить публику и напугать обслугу...

Дева

Кто долго перед Девой устоит?
Походка, статность — мелочь все, детали:
забудете в момент, о чем мечтали, —
она и без того обворожит.

Лишь даже незначительный флюид
дойдет до Вас — воскликнете: «Видали?!»
Поймете: от любви Вы не страдали —
Вы так, самовлюбленный индивид.

И ощутите вдруг себя желанным,
и это не покажется Вам странным.
На всякий случай (можно тет-а-тет?):

не обольщайтесь — вот Вам мой совет.
По части чувства в Деве нет изъяна,
но — черт возьми! — она непостоянна.

Весы

Весы, по сути, взвешивать должны —
и эта мысль, конечно, тривиальна:
способность их к анализу похвальна,
и потому они для нас важны.

К примеру, захотелось ветчины,
немного, скажем, двести грамм буквально —
тут стрелка, подрожавши изначально,
укажет вес... И Вы — не голодны.

Бывает, правда, всякое, друзья, —
ведь полностью им доверять нельзя —
ну, как они внезапно станут врать?

На этот случай — нечего пенять:
мухлеж для каждого из нас обиден —
не жди, когда он станет очевиден!

Скорпион

Блюсти во тьме порядок ты должен, Скорпион, —
ночь или день для жизни, конечно, символично:
кто утверждать возьмется и огласит публично,
что здесь главней, поверьте, тот просто пустозвон —

у тайны мирозданья неписаный закон.
И если только это тебе не безразлично,
тогда предназначенье известно преотлично:
ты обладаешь жалом — и жалить твой резон...

Лишь сон дневной подступит, способствуя забвенью,
и вот уже ночные волнения прошли,
растаяли неспешно в неведомой дали.

Но пробужденье будет подобно откровенью —
не так все и не этак (никак не угодишь).
И снова отчужденье... Ты спишь или не спишь?



Стрелец

Тебя не перепутать с юным Купидоном,
и дело тут совсем не в возрасте твоем,
ведь ты охотник хладнокровный, и причем,
считаешь бытие охотничьим сезоном.

Ты неизменно в ожиданье напряженном,
и, этой сущности отдавшись целиком,
ты знаешь обо всем творящемся кругом:
вблизи иль где-нибудь в селенье отдаленном.

Но если на тебя вниманье обратить,
то можно, запросто сойдясь, поговорить —
ты к отношениям такого рода чуток —

побалагурить любишь: знаешь много шуток.
Хотя, будь бдительней, расстанетесь едва —
в руке твоей опять тугая тетива.

Козерог

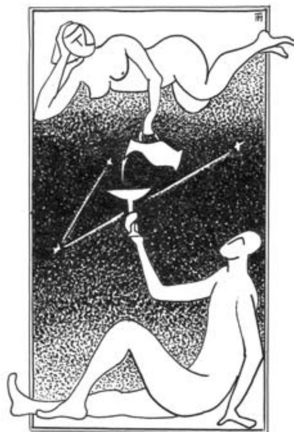
Конечно, все равно: что козлик, что козлина —
ты похотью своей известен, Козерог,
ты «супер» — ни к чему осмысливать предлог,
в любом обличье ты, по сути, кобелина.

Хоть в сексе корифей и вроде исполина,
но только про тебя разносится слушок —
сверх меры плодовит и, видимо, знаток
в рождении червя иль, может быть, павлина.

Пусть Вас не удивит мелькнувшая догадка...
Об отпрысках его бесперспективен спор:
беспечен наш герой и кончим тут сыр-бор —

влеченье для него не повод, а повадка.
Вот потому рога даны ему, поверьте,
чтоб упираться, и притом — до самой смерти.

Водолей



Ах, Водолей, затейник, баловник,
плескание тебе не надоело?
Хотя ты прав: совсем не в этом дело —
ведь есть у каждого какой-то бзик.

Но стоп! Вернемся. Вот иссяк родник,
и жизнь в округе явно оскудела;
вот вновь забил — и радость без предела.
Все это ты. О, как же ты велик!

Другой пример — жестокости урок:
с горы спускаешь селевой поток
иль насылаешь прочие невзгоды,

не зная, что еще на ум взбредет...
С тобой немыслим никакой расчет —
у моря также тщетно ждут погоды.

Рыбы

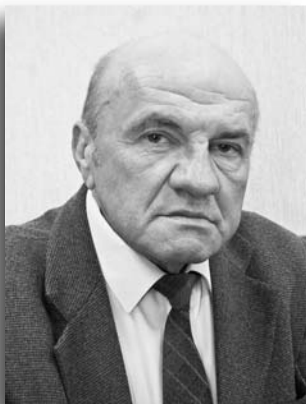
Под гладью вод, в прохладной глубине,
в подобье царства «щедрого» Аида,
неважно, из какого ты подвида, —
средь Рыб — со всеми будешь наравне.

Там дни проходят словно в полусне,
хотя за флегмой жизнь другая скрыта:
пусть море, озеро, бассейн, корыто —
не доверяй подводной тишине!

Но хладнокровию есть свой предел
(когда пора приходит нереститься) —
кто б страсть за этим предсказать посмел,

что Рыба может без ума влюбиться...
Вокруг нее уже бурлит вода.
— К столу! Уха готова, господа.

Перевод с венгерского Сергея ТЕЛЮКА.
Рисунки Ирины ТЕЛЮК.



АЛЕСЬ ЖУК

Листья опавшие (1970—2000 годы)

Вчера весь день шел влажный снег, и дети сделали снеговика. А в лесу, на соснах в военном городке снег лежит тяжело, по-зимнему. Там, где не ходят, чисто и бело, а на тротуарах мокро и грязно. На тополях, обрезанных весной, на молодых отростках держится еще зеленовато-желтый, почерневший по краям лист. Сказочно удивительные под свеженападавшим снегом трава и листья под деревьями. Эту неподвижную чистоту, красоту возможно передать только красками.

БМП по чистому снегу на перепаханном траншеями полигонном поле идут послушно и легко, даже празднично.

Был в деревне. Шел в черную ветреную ночь еле приметной на пашне тропинкой. Земля замершая. Холодно, поле выстужено ветром. Ветер на деревенской улице еще сильнее, деревья черные в темноте, как нарисованные сажей. На ветру стучат непривязанные калитки, поскрипывают ворота — дико, глухо, мертво.

Вчера виделся с Адамчиком. Он еще не совсем отошел после болезни. Немного бледный, улыбается грустно. Пришел с похорон Гурского, отнес туда венок, до конца остаться не смог. Сказал, что заезжал в издательство и оставил заявку на роман «Чужая вотчина». Видел я, как писал он его в Королищевичах, ученическим пером, макая его в чернильницу.

Ходил в лес, на полигон, дошел почти за Змеиных высоток. Август теплый, суховатый. В осинниках и березняках грибов мало. Поднял несколько подберезовиков, две семейки свинушек. Подосиновики резал в ложбине, где трава и держится по утрам роса, там немного и волнушек. И те, и другие смотрятся красиво, как цветы. Бери да и пиши рассказ про счастье грибника.

В «ЛіМе» на целую газетную полосу материалы о похоронах Гурского, даже стихотворение Белевича, а внизу сообщение от группы товарищей о трагической смерти художника Борозны. На фотографию места не хватило. А Борозна был не просто рядовой художник, но и личность белорусская.

В среду был сигнальный экземпляр моей книги. Лежит теперь на письменном столе. И как-то уже неинтересна: смотришь на нее, как охотничья собака на добытого зайца. Вчера зашли в «Журавинку» с Толей Кудравцом и Адамчиком. Пили совсем мало, смотрели на танцующих, разговаривали. Было покойно и хорошо. И совсем из другой жизни были воспоминания. У Адамчика об убитых красноармейцах в глиняных карьерах, к которым он полз мальчишкой ночью, чтобы забрать винтовку.

Толя вспоминал, как когда-то продавал орехи и грибы, переданные мамой, на вокзале в Бобруйске. Деньги нужны были на еду и на поездку домой в деревню. В чистом и просторном ресторанном зале как-то грустно вспоминали, что в детстве много голодали.

Три-четыре дня назад был снег, богатый, ровный, и светлое, немного розовое солнце утром, пар изо рта, светлое настроение. Сегодня вечером слегка падал снег, а с полуночи и под утро пошел дождь, воздух сделался водянисто-холодным, стало два градуса тепла. Во дворе от двух снеговиков, сделанных детьми, остались два кома мокрого, грязного снега. Машины разбили замерзшие колеи в грязь. Начало декабря, болезненный ветер, тоскливый дождь, морось.

Первый весенний день. Утром мороз градусов 14, а зимой было не больше 18-и. Щедрый мохнатый иней.

Днем такое солнце, что болят глаза. Это первый такой щедрый на солнце день от осени через всю оттепельную, дождливую зиму. У придорожных деревьев возле комлей растаял снег до мертвой выцветшей травы.

Был в лесу. В лесу влажно, еще не всюду сошел снег. Нет еще подснежников, грибов нет, до них неделя-две. Желто и свежо цветет орешник, дают сок березы. Считаные дни остаются до тепла, до сон-травы.

Из приема в Союз писателей: самое неуютное — стоять перед залом и отвечать на нелепые вопросы. Как пишешь? Никогда над этим не задумывался, пишу, как пишется. Имеешь ли квартиру? Это как понимать? Не будешь ли мне конкурентом при очередной дележке квартир?

Сын вчера высказал мне свое возмущение:

— Ты какой-то дикий свинья!

— Почему?

— Ты Диму не любишь.

— Почему не люблю?

— Ты его в садике оставляешь, а сам на работу идешь.

Загорал на Слепянском озере, которое неумолимо зарастает и скоро превратится в болото. Рядом немолоденькая пара с мальчиком и девочкой. Она полненькая, со складочками лишнего на боках, он светловолосый, высокий, весь в веснушках не только на лице, но и на туловище, так что можно и не загорать. И она, эта толстушка с широковатым ртом и подкрашенными губами, тихонько льнула к нему и украдкой целовала. И когда он поднялся, чтобы идти в воду, смутилась и меня, и детей, показала мужу на щеку.

А мальчик серьезно и громко спросил у мамы:

— Что, в помаде?

И она снова смутилась, счастливо и молодо.

Вчера обедал в ресторане. Недалеко за столиком сидела молодая дамочка. Ухоженная, досмотренная, как секретарша солидного начальника. Тоненькими пальчиками придерживала кусочек курятины, откусывала своими ровненькими зубками, будто одолжение делала этому кусочку. Подумал, что это можно записать и так: «Молодая, изящная с виду стервочка по-хориному остро кормилась курятинкой». Или как-то по-другому в этом же плане, но только обязательно со «стервочкой».

На берегу озера, под солнцем, на молоденькой травке, читал «Витраж» Янки Брыля, подписанный мне: «с симпатией и надеждой».

А вдоль воды туда-сюда медленно прохаживалась молодичка с такими изящными формами, что на ней казался лишним довольно условный купальник. И посматривала улыбчиво и приветливо.

А я, дурак, лежал и читал Брыля. И понял, что дурак, только вечером дома.

Грустное августовское солнце, светлая молочная краснота рябин, желтые сухие березовые листья в мягких вересковых соцветиях. И тревожный шум листвы под ветром, уже временами тугим и сильным. Цветет зверобой, синеет цикорий, доцветает фиолетовым цветом вдоль дороги дикий горошек.

Заломалось лето краснеющей гронкой придорожной рябины.

Подумалось о том, как человек бездарно в сутолоке дней не замечает, что ровно, но неумолимо утекает в невозвратность жизнь со всей ее красотой. Проходит молодость, зрелые годы и неумолимо упрямо приближается одинокая и холодная старость.

Удивительно, что, имея уже и годы, все еще чувствую себя мальчишкой во взрослой жизни. Что подло, плохо, чего не должно быть, — знаю, что правильно — нет! И дай Бог до самой смерти не знать этого окончательно правильного.

Ветер плотный, шумящий, и листья под ним ходят волнами. Солнце уже не мучает жарой, греет тепло и мягко, грустно, а ночью даже и на балконе третьего этажа душновато, и луна красноватая, как глаз от бессонницы. Невольно припоминается полевой ночлег в свежей пахнущей соломе.

Сентябрь сухой, ветреный, с большими серыми журавлями в поле, перепаханном на зиму и сизом, как крыло дикого голубя.

При чтении какое-то обостренное восприятие, словно до этого ничего никогда не читал, почти что ощупью каждое слово, интонацию, точку. Может, эта обостренность от того, что накануне читал Мориака и странички Камю.

Подумалось о длинноватой цитате Андре Моруа из Мориаковой «Пустыни любви» и его ремарке к этой цитате: «Эти двое в ту ночь так и не смогли преодолеть пустыню любви». Мне далеко до Мориака, вроде бы нечего даже и пытаться писать об этом, но оно будет мучить меня, и буду писать об этом, потому что испокон веков у каждого человека своя «пустыня любви».

После короткой поездки домой, в свои поля горько и просто понял: в жизни у меня всегда будут бумага, ручка и писание. От этого какое-то глухое сожаление о том, что можно просто жить, радуясь друзьям, подругам, компаниям!.. От этого понимания стало легче, как от свежего дуновения ветра, сентябрьского, с еще теплым привкусом.

В разговоре Микола Аврамчик удивлялся силе книги Брыля, Адамовича, Колесника «…Я из огненной деревни» и, немного смутившись, признался, что читал вчера вечером один в комнате и временами плакал.

Мы с Николаем Яковлевичем люди очень разного возраста и разного жизненного опыта, но и со мной при чтении было то же самое.

Пишу в эту свою красную тетрадь, а на первой странице стоит дата, когда я не был еще в армии, когда далеко было до книги, до членства в Союзе, до возможности заниматься своей работой. И тогда далеко еще было до понимания, что так и не случилось в жизни чуда, что сердце так и осталось одиноким охотником в холодном поле, где потемневшая от первых приморозков озимь, которой еще предстоит стать урожаем. А сердце все не хочет смиряться, не хочет остывать от желаний душа, только все чаще и чаще берет все на откуп разум и трезвая голова, распоряжается и принимает последнее решение. Что же, поохотимся и в холодном поле, от этой прохладности должны становиться яснее голова и свежими простые человеческие мысли.

Михась Стрельцов, немного хмельной, но трезво, говорил о своей оригинальности, о том, что он это доказал, — и пускай попробуют написать так те, что бросают камни в его огород, обвиняя в эпигонстве. Душевная тонкость, оригинальность таланта, равного которому у нас нет. Только грустно от мысли, что самое лучшее яблоко, если оно подточено жизнью, падает первым. Это, наверное, знал и Михась, когда писал свою «Загадку Богдановича». Верить в обратное очень хочется, и этим утешаю себя.

Да и не вечность тому назад, в те тридцатые годы, а многим позже, уже после войны, за закрытыми дверями писатели обсуждали книги коллег, писали протоколы обсуждений, один экземпляр выносили автору ознакомиться, а один, по старой заведенке, пересылали «туда». И эти живые не призраки ходят и теперь рядом, здороваются, и у них такие приличные и породистые морды.

Сидели над тихой водой, под тихим желтолистом. Так покойно и хорошо, что было слышно, как падает и тычется в ветки желтая листва. Говорили о вечном и даже о мужестве человека на земле. И каждый сам себе на уме, не хватает мужества жить, как считаешь нужным, притворяешься, что вынужден подчиняться обстоятельствам, условностям жизни. Так удобнее. Постарели, полысели, научились притворяться. А совсем недавно о своей ординарности и слушать не хотели, не то что говорить о ней, если же и не думали о гениальности, то надеялись сделать что-то значительное, стоящее. А теперь покорно признаем свою ординарность, даже посредственность, оставляем за собой только порядочность, но и сами не уверены, что всегда порядочны.

Тяжело думать, что из народа можно вытравить его историю и не оставить надежды на будущее. Это все равно что вытравить человека из человека, убеждая, что он и есть вершина всему. Падение начинается с того, что человек забывает, откуда он родом, стыдится слова, которое он услышал впервые. Иногда становится страшно, что живешь рядом с мертвыми.

Страшно сделаться привычным ко всему, грустным и никому не нужным человеком. В геометрической прогрессии растет индивидуализм, эгоизм одновременно с умением человека добывать себе комфорт любой ценой, что в космических масштабах порождает потребительство. И одновременно развивается изощренная жестокость, инстинкт поедания ближнего своего.

Как беден и несчастен человек с его необъятными амбициями и самим коротким мгновением его земного существования перед мертвым забвением, которое было, есть и будет.

Снова читаю Паустовского. Произведения населены чудесными образами не только людей, но и природы. И как хорошо эти образы живут и мыслят. И все от начала до конца проникнуто дыханием гуманизма, о котором у кой-кого поворачивается язык говорить — «абстрактный».

Дня три-четыре держится мороз около двадцати, снег сухой, сыпучий, жгучий тугой ветерок. Лыжная лихорадка в магазинах. Купил и сам лыжи. Поставил на балконе, синенькие, красивые.

Уже двадцать шесть лет, а я, как мальчишка, радуюсь новым, главное, что синим, лыжам.

Снежит. Заснежено и в городе, а деревни, наверное, завалены снегом. Сижу, заканчиваю в издательство сборник. Сказать, что он будет лучше первого, не могу. Но знаю, что в нем будет меньше лиричности, будут другие рассказы, будет «Чугун».



На грибной охоте. 2006 г.

Перед Новым годом смыло зиму со всем ее снегом. Ветрено, холодно. Только с утра замутилось небо, и пропала зима со всем ее снегом, после обеда ветер попробовал закрутить вьюгу. Жаль, что ненадолго, с малым снегом. Но и на ночь остался ветер, хмурое небо без единой звездочки.

Вчера заходил в «Нёман» к Левановичу. Заставил меня вписать в начало рецензии, кто такой Стрельцов, что совсем не нужно, да и сама моя короткая рецензия на «Ядлоўцавы куст» более походит на развернутую аннотацию или на доброе читательское слово, чем на рецензию.

Там же в затемненной комнатке между столов сидел Макаенок, спиной к окну, с другой стороны от него — в отутюженном костюме поэт Бронислав Спринчан.

Неудобно себя чувствуешь, когда начинают тебя хвалить при людях. Макаенок, наверное, это понял, когда я перевел разговор со своих напечатанных в «Нёмане» рассказов на Шамякина, сказал, что «Атланты и кариатиды» подписаны в набор, потому что знал, что Макаенок первым читал рукопись. Тогда и он перевел разговор на своих подчиненных, спросил, что планируют на ближайшие номера. И Леванович, и Спринчан засуетились, начали показывать планы, многословно объяснять то, что Макаенок и не собирался запоминать. Он махнул рукой, пошутил: «Поруководил — и довольно!» На прощание подал всем руку.

Смотрел по телевидению «Белую дачу» о Чехове. Запомнилось о капле счастья в жизни, на которую не у каждого человека есть шанс.

Вчера был на просмотре «Тартака» по Пташникову. Фильм в целом получился, будет даже и смотреться. Хотя много неестественности, наши актеры играют так, как на сцене, по-театральному, а на кинопленке это смотрится наигранно.

Температура около ноля. Туман, днем капает с крыш. Получилась гнилая зима, гнилая погода. Снегу мало даже в лесу. Белочка весело бегает с ветки на

ветку, с сосенки на сосенку, словно невидимой нитью связывает их. На веранде вокзальчика детской железной дороги, выкрашенного в свежий зеленый цвет, двое лыжников натирают мазью лыжи, веселые и стройные, он и она.

Вчера был у Адамчика, даже немного и поднадоел ему: на столе у него много работы. Уговаривает писать что-то крупнее рассказов. Я удивился, когда он сказал: «Никогда не считал самоцелью писать рассказы, на них учился, чтобы начать писать большее». Напрасно винит Стрельцова в том, что я «засел» на рассказах. А мне на сегодняшний день выписывать все атрибуты романа просто скучно и неинтересно, в романе не обойдешься без обязательных «рядов», ну повесть еще, так это широко развернутый рассказ.

Вячеслав Владимирович признался, что роман начал писать давно, даже написал один вариант и выбросил. Считает своим долгом сохранить в памяти людей то, что знает о своем народе. Еще говорил, что себя надо принуждать писать, подгонять, держать в рамках. О чем-то похожем я догадываюсь и сам, хотя пишу потому, что просто хочется писать. Сказал, что будет писать роман и далее…

Снова перечитывал бунинскую «Жизнь Арсеньева». Удивительно, как он смог записать на бумагу и оставил жить и мучиться на свете большую человеческую тоску и печаль, радости жизни при всей ее мгновенности.

Хорошие, солнечные и такие, как любовь немолодой уже женщины, добрые сентябрьские дни, такой крепкий запах опавшей листвы, такой привычный, что только теперь, когда пишутся эти строки, спохватился, что уже половина месяца, что вот-вот придут серая мгла и дожди.

Как все меняется в жизни, и довольно быстро. Теперь уже нельзя, что было совсем недавно: Лыньков в «Векопомных днях» Козлову дал фамилию Соколич как большому партизанскому командиру. И в то время даже критики и литературоведы в своих работах литературного героя называли живым Василием Ивановичем, а не Соколичем. Правда, сам Михась Тихонович называл свое писание «апупеей».

Что от нее останется в будущем? Дед Авсей и Палашка, или еще что-нибудь?

Взялся читать сегодня «Маладосць», с удовольствием читал Бриля, который умеет писать с истинной открытостью души. И в той же «Маладосці» читал и другого, который уже столько лет живет в городе и не мыслит своей жизни без городских удобств, а все описывает чугуны у печи, мокрые тряпки, на которых отцеживают пареный картофель, и так далее, и так далее. И герои его не просто разговаривают между собой, а гутарят «под народ». Как тут не подумать, что этот не старый еще писатель не «юродствует в своем крестьянстве».

О таком писательстве однажды Адамчик резко бросил:

— Не о чем писать, так жизнь начинают с натуры списывать.

Однако такое писательство не хлопотное — и проходное, и прибыльное.

Возвратился с совещания молодых писателей из Москвы. Само это совещание меня мало интересовало: моя первая книга в переводе на русский идет в следующем году, но побыть там было интересно, познакомился с ребятами из России, из других республик. К чести комсомольцев, они не устроили молодым писателям казарменный режим, кто считал нужным, ходил на семинары, кого на любовные приключения тянуло по случаю весны, тот больше внимания уделял этому. Жили в чистой аккуратной гостинице рядом с Новодевичьим монастырем, по два человека в номере, так что можно было в дружеских разговорах провести и всю ночь, что и главное на всех таких совещаниях.

А я тем более имел свободу, ибо являлся руководитем белорусской группы. В эти дни в Литве как раз проходили Дни белорусской литературы, и наши аксакалы, и секретари Союза писателей рванули туда, где чарка и шкварка. Потому в ЦК ЛКСМБ и сделали меня руководителем группы.

Руководить я ничем не руководил, но свободного времени хватало, чтобы несколько раз обойти все Новодевичье кладбище, увидеть могилы тех великих, которые хотел видеть, побывать в редакциях, в ЦДЛ посидеть.

А для многих молодых писателей из всего Советского Союза это совещание давало не просто возможность увидеть Москву, но и заручиться поддержкой в напечатании своих произведений в московских журналах, в издании книг. Совещание имело полномочия наиболее способных рекомендовать для издания. Потому со своими молодыми писателями приехали и Давид Кугультинов, и Кайсын Кулиев, и другие известные националы, водили ребят по редакциям, знакомили с редакторами и издателями и за ресторанными столами ЦДЛ, что давало большие шансы, чем рекомендации совещания.

Было и анекдотическое при всей разрекламированной серьезности мероприятия.

По нашему с Далидовичем творчеству должен был выступать преподаватель Литературного института, критик, земляк, Александр Никитович Власенко. Он принимал активное участие в работе семинаров. Книги наши он прочитал, но доклад делал мудро, опираясь на один рассказ. То ли он записки перепутал, то ли нас самих, но на семинаре у Далидовича он разбирал мой рассказ, на семинаре у меня — его. Никто, кроме нас с Генрихом, этого не заметил, но, как было заведено не нами, докладчика по окончании надо было угощать. Заказали и мы с Генрихом столик в ресторане «София» на четырех, потому что учитель захотел познакомить нас со своим учеником Борисом Леоновым, который был у него аспирантом и готовился защищать кандидатскую.

Все было в привычном московском стиле и так и прошло бы, если бы подпившие ученик и наставник не обрушились на Быкова в стиле образчиков «ветеранско-генеральской» оглобельной критики. Я пытался оспаривать оппонентов, что не имело успеха, тогда Генрих Вацлавович неожиданно и для меня предложил кардинальный вариант — указал нашим гостям на дорогу от стола к двери. Тут наступила мертвая тишина: Власенко искал возле стула свой черный объемный обшарпанный портфель, с которым не расставался, Леонов багровел лицом, и потом они под удивленные взгляды официанток рванули на выход.

Последний день месяца. Дождит, ветрено и тепло, даже «шмели» на ивах запушились, хотя под деревьями еще оставался после ночи синевато-водянистый снег. В детском садике, на скворешнике на дереве как ни в чем не бывало праздновал скворец, песню которого в городе можно услышать только прислушавшись. Выжил все-таки, преодолел несколько дней с метелью и — самое плохое — с морозом.

Пошел на убыль день, еще незаметно. Начинают зацветать липа и цикорий.

Листва под ветром шумит туго, ночами бывает прохладно, думаешь, что неуютно было бы, если б заночевал где-нибудь в лесу.

В городе вдруг появилось много красивых женщин, может, потому, что уже ярко начало светить солнце.

— Если не работаю и проходит день, чувствую себя таким подлецом. Вы-то, хлопцы, этого, может, еще и не чувствуете?

Это сказал Иван Антонович Брыль. Чувствовать это, как он, может, и не чувствуем, но какое-то предчувствие есть.

За всем его разговором и про ненужные писательские группировки, и о войне за писательские должности, и о графоманстве — его приподнятость надо всем этим, смотрит он объемно и широко. Есть неприятное ощущение от того, что люди напрасно тратят время — самое дорогое, что еще имеют, забывая о краткости человеческой жизни.

Как говорила моя бабушка в 76, что будто еще и не жила, а жить и времени уже не осталось.

На прошедшей неделе собрались и съездили в Вильнюс. Трояновский, Понизник и я, на машине Сергея. По дороге ночевали на берегу Вилии, неподалеку от Залесья, где писался Огинским гениальный полонез.

Довольно широкую и быструю, но неглубокую в этом месте Вилию перешли вброд по песчаному дну. Ночью жгли костерок, жарили на прутиках сало и больше слушали Трояновского, о его юношеской партизанке, с которой началась жизнь.

Сколько хватило ног ходили по старой Вильне, а окончили хождение у дядьки Петра Сергиевича, в его мастерской на третьем этаже, заставленной картинами, не столько старой, сколько антикварной мебелью, слушали говорливую пани Стасю на ее виленском польском жаргоне.

Дядька Петра показал целый альбом, в котором схваченные на карандаш лица разных людей превращались в типы. Это чудесно, не хуже его картин. Рисунки искренние и простые, как и наша лучшая проза 20-х годов.

Дядька Петра аккуратный, подвижный человек с чистыми голубыми глазами. Уже совсем старый. Фотографировались на память.

После короткого похолодания снова тепло. Звонил с Нарочи Семашкевич, жаловался на дожди и на то, что не особенно пишется, хотя и живет в отдельной комнате. Даже бумага отсырела в номере. Он написал основательное письмо Сипакову насчет своего эссе о Буйницком, которое намеревались печатать как статью, а это добротная проза.

Последние дни сижу за пишущей машинкой, перебиваю из рукописи «Звезды над полигоном», из всего того, что видел, когда служил, оставляю только вождение, боевые стрельбы, марш-броски на БМП и другие подобные вещи, которые есть в армии и которые увлекают даже и взрослых мужчин, чту армейские уставы, а то не пройдет в печать, стараюсь, чтобы было романтично для подростков. Такой продукции можно писать много и легко. Оплата ведь за авторские листы, на этой теме можно жить долго и без забот, не особенно напрягаясь.

Читаю рукопись новой книги Брыля с «Нижними Байдунами», «Гуртовым». Попробуй переключись на редакторскую волну, читая такое. Просто получаешь удовольствие после кипы рукописей со сплошным описательством. Хорошо, что есть такие праздники, есть настоящая литература, которая в любое время будет воспринята человеком как добрая душа-спутница.

Радостно и за самого писателя, что ему при жизни выпала хоть краюха славы и признания. К многим слава приходит тогда, когда холодно и неуютно окончился жизненный день.

Случаются дни, когда везет на добрые встречи. Буквально позавчера заходил в издательство Адамчик. Приносил заказанную ему закрытую рецензию. Написана аккуратным каллиграфическим почерком. Сам худощавый, легкий, доброжелательный, с грустноватой улыбкой, похожей на эти августовские дни.

Не только приятно читать строгие строки рецензии, но и просто разговаривать с ним. Так и среди людей, когда встречаешь мастера своего дела, приятно вести с ним разговор.

Жесткая, почерневшая листва поздней осени на тополе шумит под ветром так, что кажется — дождь по стеклам.

Позавчера был на похоронах Хаткевича. Все-таки немного людей собралось. И выступавшие не так хвалили его творчество, но все как один говорили о том, что был добрым человеком. А это не так и мало.

Лежал в гробу, казалось, немножко повернув голову к плечу, которое у него болело.

Конец сентября, а тепло держится под тридцать градусов, люди купаются.

Одну белую лунную сентябрьскую ночь над пустыми полями повидал недавно в деревне. Величественная лунная тоска, даже лист не шелохнется на дереве. И такой вечностью и жаждой жизни повеяло от этой тишины и величественности, от полевого покоя, что и сегодня еще от воспоминания щемит сердце.

Назавтра с ружьем ходил по пустым полям, по слабенькой, только отскочившей озими, на озерцах стрелял по уткам. А после обеда под желтым осенним солнцем шел к автобусу, потом ехал в город в темноте, под гудение пьяноватой бестолковой говорильни.

Похороны за похоронами. Где-то в прошлом году по чьему-то заказу писал о Михасе Лынькове, а сегодня стоял у гроба. Все делалось в какой-то спешке.

Над гробом говорили почему-то по-русски.

Прожил три дня в чудесном спокойствии, читал и немного писал, с любовью к сыну и его безмятежности и светлым принятием этой любви. Если человек счастлив, он не знает, что есть счастье, о нем он узнает тогда, когда счастья не станет, начинает искать его и редко когда находит.

Еще раз читал «Млечны Шлях» Чорного и думал, что ни короткие предложения, ни эти частые «было» — ничто не преграда для действительной художественной правды, когда пишется сострадающей и болящей душой. Это обязательное и главнейшее отличие настоящего искусства.

Цензура снимает из книги Пимена Панченко стихотворение о родном языке, исчезла белорусская колыбельная не только на телевидении, но и на радио. Со стороны с удивлением слушают, когда разговариваю с сыном по-белорусски. Неужели хватает людям только того, что можно поесть и модную шмотку на себя натянуть? А каким же будет и мой сын без этой «печали полей», без святости в душе?

На заседании секции прозы, начиная от Лобана, возводили меня в ранг «молодого талантливого». Только, думается, от всех этих похвал и вреда не будет, и пользы. Работу надо делать долго, и будет всякого: и легкого, и трудного, удач и неудач, дай Бог только здоровья и ясной головы.

На писательском собрании выступал Яцко, заместитель председателя Госкомпечати, и совсем серьезно требовал, чтобы мы, писатели, сами сокращали количество изданий на белорусском языке и больше издавалось русской классики и детской литературы. Цинизм или непонимание, что говорит?

Уже несколько дней, как лежит легкий снежок. Ветрено и холодно от настывшей земли. Хочется настоящего снега, а не дождя, грязи.

Вчера был у Ивана Антоновича. Он внимательно, до запятой, вычитал мою корректуру, не только свое вступительное слово, написал Сергеевой письмо с



Алесь Жук и Микола Аврамчик в писательском Доме творчества «Королищевичи». 1980 г.

замечаниями, чего не догадался сделать я. И все это сделано с чувством своего умения, значимости такой работы.

Когда я сказал, что в книге, возможно, повторяются некоторые детали, он между прочим заметил: есть и такое — в начале книги мальчик подводит под выстрел своего друга-собаку, а в конце книги сам уже стреляет в собаку.

Проводил меня на лестничную площадку, и когда я сказал, что только отнимаю у него время, ответил:

— Ничего. Когда-то и вы будете такое делать.

Михась Тихонович Лыньков, прожив жизнь, просил, чтобы фамилий Бровки и Лужанина не было под некрологом. Бровку, кажется, вписали по приказу сверху, потом сделали помпезный творческий вечер, где он, переполненный чувствами и счастливый, заговорился так, что назвал родным русский язык.

Лужанин на две недели слег в больницу.

Читаю в «Литературном наследии» Бунина, в первом томе, на 51 странице о белорусах, о нашем Полесье.

«Народ не понравился мне белыми зипунами, белыми бараньими треухами, белорусским жалким говором. Он был мне чужд сперва, а потом… Я нашел великую темноту невежества, бедность поразительную, жалкое подобие земледелия на болотных прогалинах лесов, лихорадки, колтун, цингу…»

И еще о чувстве, которое движет всем творчеством Бунина:

«…Я весь век под страшным знаком смерти, я несказанно боюсь ее» (ст. 284).

Он никогда не забывал, что временно живет на земле, ни о чем так не думал, как об этой пронзительной краткости человеческой жизни, подсознательно сопротивлялся ей творчеством.

Мороз под десять градусов. К вечеру крупно, пушисто пошел снег, его закручивало ветром по тротуару. Перед закатом выглянуло солнце, мутно-красное, со столбом — на холод. Природа по всем правилам готовится к Рождеству.

Женщина, которая никогда не любила мужа, может, и не знает еще, что такое любовь, через пару десятков лет презрительно посмеивается над мужем, потому что почувствовала, что у него не хватит сил разойтись с ней из-за детей, — и это еще одно доказательство, что он не заслуживает любви. А жить без него никак не хочет, за ним комфортно, попробуй только отнять его. И партком подключит.

Красиво не сдается зима. Утром около десяти мороза, а днем под солнцем мороз сошел до ноля. И надо всем этим ровно сыплется снег, и ночью такая луна сквозь снежное сеиво, такая замгленность, как в «Зимнем сне» Бялыницкого. Даже сердце щемит. Мучает меня такое время, эта космическая затаенность, кажется, что оборвалась душа и висит на одном волоске, дрожит.

Присматриваюсь к Адамчику и удивляюсь его зрелости, сосредоточенности.

Ум есть, мудрость, умение видеть жизнь, ненавидеть — и дорожить жизнью, и любить ее. Что-то от того же блоковского «что ж, пора приниматься за дело, за старинное дело свое» или купаловского «я не для вас, паны, о не, падняць скібіну слова рвуся».

Обо всем, что пишешь, можно и нужно говорить по-человечески, и на это будет отзываться людское сердце. А как сказать горькое слово о своем народе? В чьем оно сердце отзовется?

Задул ветер, пыль закружилась над дорогой, зашумела листва, и никто не заметил, что надломилось лето. Уже прошел Купала — у коровы молоко упало, теперь вот Петрок — упал листок… Невзначай и жизнь укоротится еще на одно лето.

Таллинское кладбище. Там, где лежит и Георг Отс, и их классики, которых мы не всех знаем. Нет ни ограды, ни привычных надгробий в бетонной оправе. Бугорки, будто сделанные самой природой, молодой сосняк над ними. На земле поставленные наискосок каменные плиты, короткие надписи, например: «Юхан Смулл». Даты рождения и смерти. Там, где недавно были посетители, догорают свечки.

Почему-то это, даже не старый Таллинн вспомнился, когда верный добрый Ту-104 подлетал к Минску, где свой теплый серый дождик.

Гаврила Иванович Горецкий рассказывал о «Виленских коммунарах». Их нашел в Базилианских мурах в Вильне Янка Шутович и перепечатывал на машинке, стуча одним пальцем, уже совсем больной, немощный. Рассказывал еще, что сам Максим, работая в ссылке на строительстве, не имел денег даже на бумагу, чтобы писать.

Сегодня действительно праздник весны, не только потому, что Первомай. Солнечно, тепло, хотя и ветрено. Кажется, что за одну ночь листья на березах отскочили в копеечку величиной. Даже по-летнему жарко.

Сижу в компании людей, слушаю о том, что у них уже взрослые дети, думаю о возрасте моих собеседников, о временах, которые они пережили, — и все это кажется нереальным для меня, потому что у меня не хватит ни силы, ни здоровья так далеко зайти по жизни.

Посмотрел на листок календаря — там 17 сентября, припомнилось: «ты з заходняй, я з усходняй нашай Беларусі». Сегодня об этой дате почему-то не особенно вспоминают.



Главный редактор «Нёмана» Анатоль Кудравец и его преемник Алесь Жук. 1983 г.

Уже вторую неделю всего только пять градусов. По низинам заморозки. А листва зеленая. Много зеленой листвы, первые желтые листики уронили ясени, да еще листва рябины ржавеет над краснотой гроздей. Мокрый год, и листва крепкая. Дня два назад полосовал дождь с тугим ветром, и в березовой роще по вереску лежит зеленая листва, сбитая дождем.

Идут осенние грибы. Ранняя осень.

Поселиться бы в эту пору где-нибудь в лесу, чтобы печка топилась и тулупчик был на плечах, чтобы была тишина за окном, слушать лес и читать, и писать. И знать, что завтра утром можно пройти к реке или к озеру, где до костей проймет хмурым холодом.

Как это просто и недостижимо.

Неделю назад тисканул морозик, ночи стояли лунные-лунные. Грибы собирал замерзшие, звонкие, под глухой шелест листвы, котороя густо сыпалась с деревьев, сбитая морозом.

А везде в это время «печаль полей». И каким зеленцом отсвечивает вода в озере. А с той стороны, где закат, вода подтекла кровью.

Позавчера вернулся из Новаградка, с читательской конференции Адамчика, по его роману «Чужая бацькаўшчына». Выезжали из Минска влажным, холодным утром, а за Барановичами начало выглядывать солнышко, а дальше, за Столовичами, на Свитязи — солнечно, как в бабье лето. Свитязь, залитый солнцем, перелески. Грусть и счастье осени, красота окрестностей.

На вечере немного формальном, как и всегда, и организованная молодежь есть для заполнения зала. Но в целом пришли люди заинтересованные, говорили много, даже горячо, спорно, чувствовались знания и достоинство людей. Присутствовал и первый секретарь райкома, а такое бывает не всегда. Возможно, потому, что Новаградчина на 98 процентов белорусский район. А потом концерт, угощение, назавтра солнечная и пьяноватая дорога домой с артистами, которых на вечер организовало бюро пропаганды.

Вчера возвратился из деревни.Там весна. В низинах озерные разливы, летят дикие гуси. Идет березовый сок, днем тепло на пригревах. Хочется пожить там, у леса, у воды. По вечерам в мягком черном небе щедро видны звезды, можно легко читать созвездия.Там, кажется, и читалось бы, и писалось бы…

После того, как из прокуренных кабинетов, от сходок и дружеских посиделок приезжаешь в лес, в деревенскую тишину, каждый раз ловишь себя на том, что не своей жизнью живешь, не настоящей.

Адамчик рассказывал, как, отдыхая в санатории в Несвиже, почти целый час стоял под дождем и смотрел, как два селезня дрались из-за утки. Так драку до конца и не досмотрел, а утка, покуда они дрались, сбежала к третьему, который заманчиво покрякивал рядышком под кустом и потоптал ее.

И сам шутя сказал, что хоть ты бери и пиши — о селезнях, о старом человеке, который подсматривал за ними и промок до нитки. И еще рассказывал, как подсмотрел поющего соловья. Рассказывал с искренним детским удивлением.

Сегодня сходил на Слепянское озеро, даже слазил в воду, можно сказать, поплавал. Вода пронзает холодом, кажется, буравит дырочки и затекает внутрь костей. А детвора, посиневшая от холода, все равно плещется в воде, как гусята.

Приснился сон: самолет падал на землю, и дома разваливались на том месте, и медленно, как в кино, вставал взрыв. Но не это главное. Видел я все это откуда-то с высоты, и главными были распушенные, раскошные метелки тростника, которые раскачивались волнами. И вдруг они начали оживать, превращаясь в серых, лютых стремительных волков, которые буквально выстилались по белому снегу в беге. Распушенные, красивые и ужасные в своей стремительной неумолимости…

Сны обычно забываю, после того как проснусь. Помню только некоторые. Они время от времени повторяются.

С утра моросил дождь, а к вечеру пришло и солнце. Встала красивая березовая роща на горизонте, но до нее не дошел. Рыжики щедрые, яркие, но не частые, и черных груздей немного.

У клена в зеленой листве еще только одна ветка обожжена багровым огнем. Ни первый ли тревожный знак в лесу над заросшей затравевшей дорогой с чистыми лужами.

Проснулся посреди ночи. Тишина. Мороз на стеклах окон положил свой след. Земля белая при свете фонарей от небольшого снега. Начало зимы, ледяной холод от промерзшей земли, еще не укутанной по-настоящему снегом.

Читал дневники Толстого:

«Я теперь испытываю муки ада. Вспоминаю всю мерзость своей жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют мне жизнь».

«Односторонность есть главная причина несчастий человека».

«У народа есть своя литература — прекрасная, неподражаемая; но она не подделка, она выливается из среды самого народа. Нет потребности в высшей литературе и нет ее. Попробуйте стать совершенно на уровень с народом, и он станет презирать вас».

«А потом — эта ужасная необходимость переводить на слова и строчить каракулями горячие живые и подвижные мысли, подобные лучам солнца, озаряющим воздушные облака. Куда бежать от ремесла! Великий Боже!»

«Тщеславие есть какая-то недозрелая любовь к славе, какое-то самолюбие, перенесенное во мнение других — он любит себя не таким, как он есть, а каким он показывается другим».

«Нет границы великой мысли, но уже давно писатели дошли до неприступной границы их выражения».

«Понятие вечности есть болезнь ума».

«Простой народ привык к тому, что с ним говорят не его языком, особенно религия, говорящая ему языком, который он уважает тем более, что не понимает».

Читал эти дневниковые записи и с грустью думал, что у нас-то и настоящего ремесленничества недостает, захлестываемся волной неопрятной безграмотности, многотомной посредственности, приблизительной и с точки зрения художественной, и в отношении к правде жизни.

Побывал все-таки у Виктора Ильича Ливенцева, попросил автограф для тестя. Конечно же, тестя он не помнит, но сто человек у него действительно отбирали из бригады для охраны Дома правительства. Еще сказал, что теперь на послевоенные встречи ветеранов и приходят в основном те, кого тогда выделили для охраны. А сама бригада была брошена в бои с регулярными немецкими частями и через месяц была почти вся выбита. Об этом он не напишет и не скажет прилюдно. Да такая же судьба была не только у его бригады.

Прочитал у Достоевского: «Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением».

Зима в ночь с тридцатого на тридцать первое и заснежила, и подморозила, точно в соответствии с Новым годом. И в целом зима стоит и морозная, и чистая, и белая, а в лесу кажется и тепло, на лыжах совсем не холодно.

Вчера слушал по телевизору грустный монолог из чеховской «Чайки» о человеке, который хотел жениться, стать писателем… Как все повторяется в жизни, и ты сам повторяешься в том числе!

Или это так научились ставить чеховские произведения, с проекцией на самого автора, на его биографию. Или потому, что ты знаешь ее и видишь в постановках биографические мотивы. Еще одно подтверждение тому, что писательство — биография души писателя, вложенная во многих и многих…

У Толстого в 1858—73 годы совсем мало писано в дневники. В это время он писал книги. Все было в памяти души. Только короткие, как вспышки молнии, пометки в записных.

«Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей, их окружавших, и их самих».

«Художник звука, мнений, цвета, слова, даже мысли в страшном положении, когда не верит в значительность выражения своей мысли».

«И на религию смотреть исторически есть разрушение религии».

«Чем мудрее люди, тем они слабее».

«Поэт лучшее своей жизни отнимает и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно и жизнь дурна».

«Запретите употреблять искусственные слова, и свои, и греческие, и вдруг упадет поднявшееся на этих дрожжах тесто науки. А то наберут слов, припишут условно, по общему согласию, значение этим словам и играют на них, точно в шахматы…»

«Одно искусство не знает условий времени, ни пространства, ни движения, — одно искусство, всегда враждебное симметрии — кругу, дает сущность».

Уже два дня оттепель. Мокро, сыро. А ночью вдруг мороз, метель, утро морозное, солнце такое яркое, что его много, от него болят глаза. И небо высокое, еле уловимый запах весны. Может, это и от подмерзшего снега, ледка. И от солнца тоже, и от высокого неба, может, и ветви пахнут после недавней влажности.

«Люди, которые не знают ни законов языка, — ни самих языков, ни белорусского, ни польского, ни русского (жаргон, на котором они разговаривают и пишут, нельзя назвать языком), сумели, к сожалению, установить правило писать не Менск, Навагрудак, как пишется в русских, белорусских, славянских летописях, а «Минск», «Новогрудок», это значит, согласно польскому произношению. И люди эти искренне верили, что этим мероприятием сражаются с влиянием польского языка на белорусский».

Читая Чорного, вспоминал, как жаловался он, что занят ненужной писаниной, имея единственное ясное желание — писать прозу, потому что это самое главное. К этому пришел и Мележ.

Три дня праздников. Был в лесу. Поднял несколько строчков. Они красивые, как цветы. За прошедшие теплые дни прорезались зеленью листики на березах. В лесу краснеет петров крест, особенно в березняках. Питается он от корней деревьев, и корневище может набрать вес до пяти килограммов. Время ветреницы, сон-травы.

Танцы во дворе, что-то среднее между свадьбой и большими гостями. Девки приплясывают. Слышен барабан. Эхо идет между домов.

И частушки:

Как бывало, я давала
По четыре раза в день.
А теперь моя давалка
Получила бюллетень.

То лучшее, что пела когда-то деревня, забылось, новое не родилось, и поют прилюдно пошлятину, которую раньше бы и пьяная компания не запела.

Вчера шел на коллегию министерства культуры. На входе в Дом правительства разговор с сержантом:

— С дипломатом нельзя.

— Хорошо, я сдам его в гардероб.

— Гардероб не работает.

— Куда же его девать?

— В камеру хранения.

— А где камера?

— Ближайшая на вокзале.

Плюнул и пошел прочь. Это реальное воплощение предолимпийской бдительности.

Вчера собирал Александр Трифонович для общих установок по освещению олимпиады. Его рассказ о том, что наши спортсмены радуются, что их смотрят по телевизору как иностранных, именно как иностранных.

Был вчера у Антоновича в связи со статьей Адамовича, где он обвиняет Далидовича, да и всех молодых — рикошетом и всю белорусскую литературу, — в провинциализме, излишнем внимании к национальному. Написал к статье страничку врезки с цитатою из Мележа о провинциализме. Ив. Ив. согласен, что нельзя выпускать печатанье статьи из республики, потому что Адамович опубликует ее в Москве. Вообще, эти подтекстовые обвинения в национализме не нужны и в республике. У нас нет никакого национализма — эта позиция ЦК мне известна. Он во многом согласен с Далидовичем, не приемлет пренебрежительных пассажей в сторону молодого оппонента. Но очевидно, что исходя из высших интересов, — чтобы не было ненужного резонанса с политическим подтекстом — оскорбление молодой спорщик получит.

Адамович, оказывается, умелец и ярлыки навешивать. «Не успел стать редактором, а уже развел групповщину». Это после того, как я отказался печатать статью Василевич в поддержку Адамовича.

Перечитал его статью в «Новом мире». Там он еще и меня, грешного, поминает. Но нашу прозу полностью пускает в подверстку русским «деревенщикам», сожалеет, что у нас нет своего Абрамова, забывая о том, что у нас есть свой Мележ. Радуйся, белорус, что и ты похож на кого-то из больших соседей. Если сопоставить этот текст с тем, который был изначально напечатан в «ЛіМе»? Тут, помнится, было меньше подлизывания к столичным.

Статьей возмущается и Иван Николаевич Пташников, сказал, что даже написал две страницы возмущения. Борис Иванович Саченко: «Он думал, что через Далидовича и нас выманит из берлоги, но из этого ничего не выйдет, вот если бы был жив Мележ!» Алесь Асипенко был лаконичен: «Никто бы так Адамовичу не смог на…ть в шапку, как это он сам себе сделал».

Окончилась «эпопея» с продолжением спора между Адамовичем и Далидовичем. Далидович мне не звонит, обиделся, а с Адамовичем мы вообще поссорились, наговорили друг другу оскорбительного. И никому не могу сказать, что мне был звонок от Антоновича — «прекратить всю эту бодягу», на ЦК не ссылаться.

Мороз около двадцати градусов. Зима начала становиться с начала декабря. Не рассыпалась бы к Новому году. Вчера были с сыном в лесу. Красиво, снег лежит легкий, нетронутый, не везде пробита еще лыжня, сам нарезаешь ее.

Поперек тропинки — большая медноствольная сосна. Корень вывернут, как большая кочка, такой малый на такое большое дерево, нет у него стержня, глубоко уходящего в землю. Когда падала, придавила к земле молодую темноствольную сосну, поднимавшуюся в тени от этой королевы.

Все, как в человеческой жизни. Старые сосны падают потому, что стоят одиноко и не могут держать ветер. Деревья не виноваты, что не поднялся молодняк, хотя без подлеска валит их ветер. А люди сами должны заботится о своем подлеске.

Вечер Короткевича. Зал переполненный, многие желающие не попали. Атмосфера чудесная, дружеская, сам Владимир Семенович светится радостью,

думаю, от этого, а не только из-за того, что вручают орден «Дружбы народов», что присутствует заведующий отделом культуры ЦК.

Поздравлял и я от газеты и в этой атмосфере приветливости и любви вспомнил докладные «наверх», которые и сейчас лежат в сейфе в ЦК с тех времен, когда заведующим был Марцелев, «На дикую охоту», на «Колосья».

Ночью снилась война, которую я просто не могу знать. Снится давно и часто.

Кончаю перечитывать «Наш дом» Пришвиной. Давно не было радости читать такую умную книгу о писателе. О том, чем он жил, как думал свои книги. Теперь в таких книгах принято выискивать исключительность, пикантность, а то и перетряхивать семейное белье, забывая о душе писателя, — главном инструменте.

Заходил в редакцию Карпюк. Сказал о том, что я понравился ему за то, что обманул его и сократил «Вершалинский рай» на несколько листов. Похвастался, что он все восстановил в двухтомнике и еще несколько листов дописал. А роман и так страдал длиннотами. С удовольствием узнал, что рецензия на двухтомник заказана. Из-за этого и заходил.

Был в деревне. Осень. Красная машина на улице, сам, жена, дети — все молодые. А бабушка смотрит из окна. Синий платочек, старческое морщинистое лицо и глаза… Господи, глаза человека, который уже смирился с мыслью, что уходит и так жалкует на этом бережку, на самом жизненном краешке. И так ему хочется еще видеть этот белый свет, пускай и бедный, серо-осенний. Да и глаза уже не светятся, больше видится серое пятно. Но светлое. Машу ей рукой на прощание, а она этого уже не видит. Та, что растила меня маленького. Смотрит в белый свет, и так смотрит, что сердце обливается кровью.

Был бы я художником, как бы нарисовал это! И эту деревенскую осень, и этот краек-бережок, и это такое родное лицо.

О литературных склоках не только говорить, а и думать не хочется. Последняя радость — «Знак беды» Быкова. Редакторская моя радость, что в газете есть статья Игоря Дедкова о повести, наверное, самый первый отклик. Отвез ему домой. Ничего не говорил о том, что наши солидные и уважаемые критики были так заняты, что не смогли по-срочному написать. А надо было срочно, покуда не поднялся лай из подворотень. Слава Богу, отозвался из Костромы по старому знакомству Игорь Александрович. Он уже имеет авторитет всесоюзного критика.

Были с Адамчиком в больнице у больного Крапивы, лежит на третьем этаже, в девятой палате, где умирал Мележ. Так называемый «люкс» — боковушка совсем небольшая. Сам поднялся, сел на кровати. Видит совсем плохо. Покуда привыкал к голосам, путал нас. Что надо ищет ощупью. Сказал, что уже почти не видит, но читает, водя носом по строкам через лупу. Чтобы строки не терялись, держит их пальцем. Приятно удивлен, что Адамчик хорошо знает травы, говорит, что повторяется иногда в описаниях, а вот у Шамякина в романе есть и быт, и детали, а главного — образа Ленина нет. Голова у Кондрата Кондратовича ясная, помнит все. Хочет еще дописать пьесу, которая у него начата. «Вот только вы ее не поставите» — такое резюме с улыбкой. Эти слова он повторил позже и цековскому начальству, которое пришло навестить его.

Глубокая осень, а такое тепло держится, что даже тревожно от этого.



Друзья-коллеги Алесь Трояновский и Алесь Жук.
1978 г.

Проехали с Трояновским по партизанским местам его родины, где он партизанил, где моя мать была. Непроходимые болота осушены, по ним мелиораторами проложены гравийки. Нет и реки Лоши, на берегу которой всю войну гнили приготовленные к сплаву бревна. И самой реки, вместо нее метров на десять шириной мелиоративный канал.

Сижу в Королищевичах. Лес здесь еще настоящий, могучие сосны, полумрак под раскидистыми елями. Многие деревья уже помечены на высечку. Новая дорога подрезала лес совсем близко к корпусу. Так вскоре доберутся и до ели, под которой любил отдыхать Колас. Во всем чувствуется запустение, Королищевичи доживают свой век как Дом творчества.

Перед отъездом сюда был на бюро ЦК, где рассматривали вопрос о руководстве СП БССР литературными периодическими изданиями. Евгений Иванович Танк докладывал вообще, что напечатано, что будет печататься, что в переводе напечатано во всесоюзной печати. Самым главным недостатком в работе оказалось то, что сотрудники не высиживают в редакции полный рабочий день. О материальном обеспечении ни слова. Ни слова о том, что библиотеки не выписывают белорусскую периодику. Никому из редакторов слова не дали. Потом собирали еще раз, чтобы окончательно выработать постановление. За это время сделали запрос в Москву. Там сотрудники не высиживают в редакциях свои восемь часов, и вопрос о надомничестве отпал сам собой, исчезли и закиды о «мелкотравчатом национализме», постановление получилось вроде бы и основательное, но бесполезное, да и вреда от него тоже не будет.

Здесь, в Королищевичах, зима разваливается совсем, лыжи окончились. Вечерами слушаю воспоминания Рыгора Нехая о войне, о послевоенном времени, о посиделках за чаркой с друзьями — Астрейко, Велюгиным, Нагнибедой…

Проснулся ночью, сел за стол. За окном зимняя ночь, снежная кисея, на подоконнике как-то фантастически стоят эльвасы, под одним из них тремя зелеными листиками взошло неизвестное мне растение. Когда-то хорошо писалось такими ночами, особенно в лесу. Тогда еще не знал, что такое бессонница, что такое боль в сердце. И теперь по инерции думаю, что все еще впереди, что все только начинается. Почему-то припомнилось, как в последний мой приезд домой бабка моя рассказывала, что приснился ей сон, будто я маленький еще, одетый во все белое, собрался идти играть к тетке Ганьке, которая уже к тому времени умерла. «А я знаю, что это такое, бросилась не пускать тебя — и свалилась ночью с полка на пол». И я знаю, что это от старческой немощности упала она с полка, сама уже и подняться не может. Лежит и умирает. От этого сна встревожилась мама, нашла мне попутчиков до Минска, чтобы ехал не один. «Может, у кого-нибудь счастье большее, вместе с людьми езжай».

Главлит снял два стихотворения из подборки Петра Кошеля в «Нёмане». Потом переполох, когда узнали, что он зять Слюнькова, начали пытаться откручивать все назад, но тираж уже отпечатали.

Читаю воспоминания о Тургеневе. Тот, что в начале писательского пути с горечью говорил о роли писателя в русском обществе как отщепенца, ненормального человека, доживал свой век во Франции при Виардо и не стыдился признаваться Фету, что вывезенная им во Францию дочь не может даже сказать по-русски «хлеб», «вода».

Пока был в Королищевичах, Миколу Гилю по требованию Валерия Гришановича пришлось писать объяснительную в ЦК насчет публикации Мальдиса, рецензии Сергея Дубавца на книгу Рыгора Семашкевича, хотя он толком так и не мог понять, что надо объяснять. Причина очевидная: не в том, что напечатано, а во всех трех личностях.

В Королищевичах старый Улащик, Граховский, Микола Лобан. Он тяжело болен. Седой коротенький чубчик-козыречек, очки, улыбчивость. Куртка легенькая из болоньи. Надо помогать ему одеться и раздеться. Принимает это как должное, но помощи не просит. Крепкая личность, держится, не сдается. У зеркала дрожащей рукой поправляет свой чубчик, перед тем как зайти на люди в столовую. Кажется, совсем недавно гонял вместе с нами по лыжне.

Юбилейный вечер Гоголя. О том, как проходил, достойно пера самого Николая Васильевича. Вечер готовил Дом литератора как рядовое мероприятие — дата не совсем круглая. Но в ЦК узнали, что в Киеве проводят большое мероприятие с присутствием Политбюро Украины. Поэтому у нас на вечере будут присутствовать А. Т. Кузьмин и Н. Л. Снежкова. Дали авральную команду заполнить зал студентами. Писателей почти никого, не пришли и редакторы изданий — не знали о присутствии высокого начальства. Одним словом, водевиль с чинами и подчинками.

С утра холодно, ветрено и дождливо. Свежая зелень листвы на яблонях густеет, взрослеет от дождя и холода. Чтобы училась выживать будущая жизнь, которая только начинается? Теперь бы куда-нибудь в лес, в натопленную избу, писать или читать, смотреть в окно на дождь и от этого быть счастливым.

С понедельника захолодало, хотя еще только август. Северо-западный ветер, небо в тучах. Неприятные холодные дожди, которые синоптики именуют кратковременными. Желтизна на липах, на березах. Но это не от осени, это от жары, которая держалась до сих пор.

Берут лен. Готовы овсы. Клевер дозревает на семена. Даже не верится, что неделю назад было Полесье. Целых десять дней жары даже в тени. Беленький песочек на берегу Случи при ее впадении в Припять, подмытый паводком дуб в воде, раскошная дубрава. Был с малым Алешкой. Летняя роскошь, рыбалка. Хотя теперь здесь, в Вити Козько Вильче, Случь ненамного шире, чем та, которую помню с детства в верховье, в Слуцке. Там, в Вильче, не было бессонницы, а возвратился домой и опять начинаю дремать, а не спать.

Во второй половине ночи начался дождь, густой, дружный. Лежал и слушал дождь. Август. Осень. Туман. Ржище на полях. Мое время. Недостает душевного равновесия, чтобы писать. С вечера читал девятый том Мележа. Все мне известное в основном. В дневниках нет мелочности. Тревожные размышления о литературе, культуре. Видел и чувствовал, как болезнь мещанства разъедает людские души.

Почему-то думаю, что в жизни он чувствовал себя одиноким человеком. В глубине души осознавал нужность делаемой им работы, знал, что никто не соберет и не издаст его «Жизненные заботы» без него самого. А «умники» осуждали, судачили, что подчищает и подбирает все написанное, издатели чинили препоны и «урезали» объем книги, а развязка была уже совсем близка… От Мележа мысли перекидываются на Короткевича…

Перелистываю «Былое и думы» Герцена, которого высоко ценю как писателя. Все же он был революционером от обеспеченной жизни. «Деньги — независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно было и неприятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живя с людьми, которые спаслись в чем были от политических кораблекрушений. Поэтому я считал справедливым и необходимым принять все меры, чтобы вырвать что можно из медвежьих лап русского правительства».

Позавчера мороз с тридцати ночью упал до ноля, пошел такой густой снег, будто плотной марлей все занавесило.

Вчера было совещание у Кузьмина. Инициатор Павлов. Суть его выступления в том, что редакторам надо быть внимательными, чтобы критика не переходила границ и не давала зацепок комментаторам радиостанции «Свобода». А если комментируют, то это уже недочет в работе, не хватает бдительности, политического чутья. И еще — упаси боже муссировать тему, что белорусское лучше русского, а тем более поднимать на щит древность Беларуси, преимущества над Московией ВКЛ.

У него как-то болезненно блестели расширенные глаза.

Перед выходными звонок из ЦК инструктора З. — вот вы дали информацию о вечере эсперантистов, они там свой гимн исполняли, а гимн у нас только один, и руководитель ихний сионист замаскированный. Оказывается, в Доме культуры стройтреста общество эсперантистов, которое официально существует при Белсовпрофе, провело торжественный вечер в связи с юбилеем эсперанто. Они имеют свой ВИА, на языке эсперанто и свой гимн исполнили. Аврал, крамола. Да пускай живут эти эсперантисты, не думаю, что их и разгонять будут. А вот же начальники от печати «бдят», выискивают. И редактору «Вечерки» перепало…

Сижу в Королищевичах. Снежно, зимно, безлюдно. Здесь Аверьян Сафронович Деружинский называет себя «князем королищевичским», потому что сидит тут с осени. Старый Микола Улащик приехал из Москвы, пишет книгу об истории своей родной деревни, еще Люба Турбина с сестрой. Вот и весь контингент. Не последний ли это королищевичский сезон? Нету лыжни, нету

и лыж. Ходим на прогулки с Улащиком, Николай Николаевич вспоминает, а я слушаю.

Канцелярия университета и кабинет Пичеты находились в доме напротив нового корпуса теперешней гостиницы «Минск». Пришли к нему группой сдавать зачет. Первой отвечала евреечка из Червеня и начала нести такую чушь, что и студенты опешили. Пичета слушал, опустив голову, потом вскочил на ноги:

— Как вы смеете с такими знаниями идти ко мне, к ректору?

И топает ногами:

— Идите вон!

У студентки от испуга ноги отнялись, потом она кое-как выгреблась из кабинета.

А Пичета дергает себя за галстук.

Студенты знали, что это предел его разозленности, и хотели податься следом за девушкой.

— Нет, садитесь!

Посадил и зачет принял.

Еще воспоминание о неизвестном мне академике Семене Вольфсоне. Он вначале работал в университете, потом в Наркомате просвещения. Из-за небольшого роста его за глаза называли Семочкой. Принципиально ни слова не произносил по-белорусски.

Пришел к нему на прием учитель из Строчиц. Громила, лицо грубое, бандитское. Маленький Семочка за столом. Учитель объясняет: тетрадей нет, учебников нет, карандашей нет. Семочка — нет и не будет. Учитель поднялся, за ножку стул — и о стену. Стул рассыпался. Семочка вылез из-под стола:

— Ну что вы такой нервный? Мы с вами можем договориться…

Учитель получил записку от чиновника и на складе все нужное, а потом рассказывал об этом коллегам в порядке обмена опытом.

В тридцатые Семочка начал пописывать «куда надо», уже работая в Академии наук, пошел вверх по служебной лестнице, стал академиком.

Когда началась война, со всем домашним скарбом решил ехать в эвакуацию автономно. Снял вместительную телегу, напаковал ее как мог и с женой двинулся в путь. Где-то под Смолевичами съехал в перелесок переночевать. И оттуда больше не выехал, и никто его больше не видел. Наверное, бросилась в глаза кому-то та груженая телега.

Аверьян Сафронович на одной из пустующих веранд в домике поет сам себе свои песни, приплясывает, и в пустой веранде голос его, как в центре колокола, хорошо слышен ему самому и радует его.

Над лесной просекой под большим снегом согнулись к земле молоденькие березы, идешь под ними, как в тоннеле. Эти деревья уже не смогут выпрямиться. Ветви с верха ствола начнут тянуться к солнцу, каждая стремясь стать стволом, и своей тяжестью оборвут корни и окончательно уложат деревья на землю, и пропадет вся эта поросль без своих корней.

Подумалось и о нас самих, пишущих и тянущихся в небо вечности, в классики, почти не имея корней.

Позавчера встретил на улице Заира Азгура. Стоял, смотрел на свою мастерскую. Повел показывать. Еще только идет переезд, не все перевезено и расставлено. Ходит он тяжело, присели на скамеечке в комнате. Говорит:

— Вот если бы поднялся Кузьма Чорный, поверил ли бы, что это я все наделал, тот маленький жидок из Сорок. До чего дожито!

За всеми заботами с переездом облегчение, что напишет завещание и подарит все городу. Пусть приходят люди, смотрят.

— Нефед уже пять лет, будто шутя, но всюду говорит, что я главный белорусский раввин.

Об этом спокойно и грустно.

Снова очередной тарарам. На первой полосе газеты дали снимок скульптуры Шатерника «Векапомнае»: женщина-славянка с мечом, опущенным вниз острием, смотрит вдаль. На рукояти меча белая голубка.

Заместитель заведующего отделом культуры Павла Петровна Украинец на Миколу Гиля даже ногами топала: «Зачем на первую полосу эту Рогнеду дали!» Оказывается, скульптура сначала называлась «Рогнеда», ее художники даже хотели поставить в Заславле. Конечно же, им этого не позволили. Теперь, с измененным названием, скульптура оказалась на выставке «Мы строим коммунизм».

Звонили еще чиновники из Министерства культуры и того же отдела культуры ЦК. У них теперь от испуга за свои должности даже имя Рогнеда звучит как ругательство.

Морозец ночью под пятнадцать. Днем солнечно, морозик легкий. Даже солнышко пригревает. Вечернее небо чистое, зеленое, а ночью черное, бархатное и звездное. Можно легко читать созвездия, названия которых я уже начинаю забывать. Чтобы помнить созвездия, в небо надо смотреть постоянно.

Вчера в сберегательной кассе встретил жену Кулаковского. Переоформляла на себя вклад. Доверенность подписана главврачом, написана рукой лечащего врача. На улице спросил у нее, как Алексей Николаевич. Ответила коротко — еще один инсульт.

Недели две назад видел его. Стоял в скверике перед домом. Начинало вечереть, солнце и морозик, вода на тротуаре стала подмерзать на ночь. Поговорили о рецензии на его книгу, которую Шамякин все не может написать. Помог перейти ему по ледку на сухой тротуар. Стеснялся помощи, но не отказался. Поддержка ему была нужна. Пытался надеть на руку перчатку — и не получалось. Правая рука уже тогда справлялась плохо. Стыдясь, покорно согласился, чтобы надел ему перчатку. Чтобы проводил домой, отказался, сам дойдет, хочется постоять еще на свежем воздухе.

Предвечерье было молодое, весеннее, даже праздничное.

Почему-то тогда вспомнилось, как Иван Петрович Шамякин рассказывал, как читатели остро воспринимали образ Бородки из его романа «Криницы».

Образ этот быстро отошел в небытие, да и сам роман тоже. На «Добросельцев» Кулаковского реагировали по-другому: самого сняли с должности редактора «Маладосці», издавать повесть книгой запретили, сломали писательский хребет человеку…

Прошел писательский съезд с неожиданными последствиями для меня. На второй день съезда, когда я собирался в редакцию подписать в печать полосы, в комнате президиума задержал Кузьмин. Сели к небольшому столику, закурили.

— Жук, пойдешь секретарем Союза.

— Александр Трифонович, у меня и своих забот хватает, — только и нашелся возразить.

— Ну, тут они не все твоими будут.

В комнату некстати зашла П. П. Украинец. Кузьмин поднялся, потушил сигарету. Я понял, что для него вопрос уже решен.

— Ну так как?

— Если на пленуме будет названа моя кандидатура, в хомут бить не стану.

Я знал, что перед этим были предварительные разговоры в ЦК с несколькими людьми, некоторые утверждали, что должность им обещана. И они ожидали ее. Хорошо, что меня ни на какие разговоры не таскали, и я свободно в этот день потягивал с друзьями шампанское, мог чего и покрепче, но неподписанная газета не позволяла.

Организационный пленум Союза вел А. Т. Кузьмин. Кандидатура моя была названа и пленумом утверждена.

Уже в новом качестве надо было ужинать с посланцами на съезд от руководста СП СССР, потом проводить их к поезду.

С облегчением почувствовал, что не надо больше мне ходить в знакомые коридоры, писать объяснительные из-за «национализма»…

Окончился какой-то отрезок моей жизни.

Солнечное молодое лето. И неприятное чувство от того, что вокруг все отравлено. В союзной прессе основная забота — не попадает ли в пищу радиация в Москве. Эта тема раскручивается основательно. О засыпанной радиацией Беларуси ни слова. И чего волноваться? На кремлевские столы радиация не попадет. Там даже посуду моют не химией, а горчичным порошком.

В Москве умерла Констанция Буйло. Легенда белорусской литературы, человек еще из девятнадцатого столетия. И не нашлось наших ни титулованных, ни подтитулованных в поэзии, чтобы поехать и сказать слово над могилой. Отозвалась добрая душа — Микола Федюкович. Он не забыл, что, живя в Москве, заходил к ней в гости и она его привечала.

На президиуме Василь Витка пламенно агитирует писателей ехать в зараженные районы в организованном порядке, пока кто-то не одернул: давайте, езжайте, покажите пример. Смолк на полуслове — подразумевалось, что поедут другие, но не он.

Вчера на президиуме слушали Бюро пропаганды. Вокруг него сплотился довольно дружный актив в большинстве своем из тех, кто мало и слабо пишет, но любит неустанно выступать перед читателями. У них за многие годы у каждого список «освоенных» организаций по всей республике. А вот из «неосвоенных» приходят возмущенные письма из-за халтурности выступлений. Почему так любят Бюро пропаганды? Через него в месяц проворачивается около 200 тысяч…

Вчера возвратился из Москвы со съезда писателей СССР. Съезд организован с размахом. В Большом Кремлевском зале. Накануне съезда провели организационный пленум, потом и собрание партгруппы. Выступали в основном москвичи, сводили не совсем понятные националам счеты. Евгений Евтушенко что-то искал в бороде критика Феликса Кузнецова, тот в свою очередь сталкивал с трибуны Юлиана Семенова за то, что тот зять Михалкова. Над всем этим тонко и язвительно посмеивался Виктор Розов.

На съезде минут через пятнадцать после начатого доклада увели теряющего сознание Георгия Маркова, доклад председателя дочитывал до конца Владимир Карпов. Зааплодировали, согнали с трибуны и Чаковского, и Танка, и Грибачева — за пустозвонство. В защиту языка хорошо и смело выступил Борис Олейник, ему аплодировали.

А назавтра в «Правде» при короткой информации о съезде снимок, в центре которого Марков и все те, кого заапплодировали. И в результате голосования Маркову набросали голосов «против», но он остался председателем, Карпов первым секретарем. Старый боевой костяк в целом так и будет руководить Союзом. Бряля не оказалось в членах правления. Ему все не могут простить выпад в «Нёмане» против Чаковского.

Вообще, съезд помпезный. Интересно было видеть, как часовые у Спасских ворот провожали взглядами непривычный для них контингент, который утром после ночных посиделок втягивался в Кремль. На заседания шли, потому что стояла неимоверная жара, а в Кремлевском зале работают кондиционеры, вот только буфетов нет. В честь окончания работы съезда правительственный прием в Кремлевском Дворце съездов, абсолютно алкогольный.

Из приятного на съезде — была возможность побродить по Кремлю, увидеть тот же Георгиевский зал. Буравкин познакомил с Виктором Астафьевым. Он читал мою повесть в «Дружбе народов», и она ему понравилась. Приглашал приехать в гости, посмотреть его края.

Ужинали в уютном номере Буравкина вместе с Нилом Гилевичем, Виктором Козько.

Астафьев на удивление всем нам спел белорусскую песню, которую в Сибирь привезли белорусы. Большой фольклорист Нил Семенович признался, что слышит ее впервые. Утром Виктор Петрович должен был идти на прием к Горбачеву. Такое же приглашение предварительно имел и Василь Быков, но Горбачев его так и не принял, скорее всего потому, что Быков на пару с Адамовичем «достали» его на сессиях Верховного Совета из-за Чернобыля.

В шестом номере «Маладосці» прочел мудрое стихотворение Нины Матяш «Засцярога». С горечью подумал, что оно прошло незамеченным критикой, которая не умеет подхватить золотинку и донести читателю, а он не сможет это сделать сам из-за неуважения к своему языку.

Второй день идет дождь, нужный бульбе, которая начинает зацветать. Ячмень уже засветился усом, а внизу на стебле еще видно зеленое. На пригорках он уже совсем созревший. Ржаное поле одно уже совсем желтеет, а другое еще зеленое. И одно и другое потоптали дожди с ветром, словно тучи повалялись с боку на бок на полях. Пшеница на пригорках дозревает, а в низинах еще совсем зеленая. В целом поля, если бы посмотреть на них сверху, похожи на акварели с неуловимым переходом цветов и оттенков, которые меняются даже при самом легком дуновении ветра. Скоро они будут готовы лечь под жатки комбайнов, останется от них только ржище, а потом и осенняя серая зябь. Дозревает лето.

Звонил с новогодними поздравлениями. На столе томик стихов Бунина.
Открылось на таком близком мне и, казалось, забытом.

Ты странствуешь, ты любишь, ты счастлива…
Где ты теперь? — Дивуешься волнам
Зеленого Бискайского залива
Меж белых платьев и панам.
Кровь древняя в тебе течет недаром.
Ты весела, свободна и проста…
Блеск темных глаз, румянец под загаром,
Худые милые уста.

Скажи поклоны князю и княгине.
Целую руку детскую твою
За ту любовь, которую отныне
Ни от кого я больше не таю.

Дохнуло такой же пронзительностью восприятия, как и в те годы, и стихотворение прозвучало голосом Рыгора Семашкевича. А ему уже не позвонишь. И более вместе не почитаем стихи.

Сегодня со мной сыграли хороший спектакль. Позвонил Валерий Скворцов, наш ответственный секретарь, будто есть поручение сходить на торжественный вечер, посвященный 50-летию филармонии. К семи вечера иду в филармонию с адресом от Союза писателей и цветами, сижу в президиуме. Но никто не собирался давать мне слово и слушать мои поздравления. Вышел из президиума после торжественной части и не знал, куда девать этот адрес и цветы. Оставил все на столике в фойе.

И смех, и грех, и никакого зла за потерянное время.

Бондарь собирает подписи под письмом в ЦК, в котором громит руководство Союза за бездеятельность. Больших забот нету, чем внутренние разборки. Ни с языком, ни с изданием книг, ни с тиражами журналов — от чего непосредственно зависит литература.

В связи с этим припоминается шляхта, котороя бесконечно сеймиковала и тогда, когда нечем было уже и голый зад прикрывать. Но у шляхты хотя бы сабельки еще были, а на наших сеймиках придется бабскими юбками размахивать. Хотя, когда есть «юбки», то и приюбочники найдутся.

Писать для народа… А где тот народ и что надо написать, чтобы он вздрогнул и на себя самого оглянулся? Его даже Чернобыль не пробудил. Население, гуси домашние, которым хоть что, но в корытце подадут. А появись среди них дикий, летучий, который пробует крыльями взмахнуть, сами заклюют и ощиплют, чтобы взлететь не мог.

На столе приглашение на партийное собрание. Первый пункт повестки дня гласит:

«О преодолении инертных явлений в современном литературном процессе». (Докладчик доктор филологических наук П. Дюбайло.)

Звучит как пародия не только на само партийное собрание, но и на всю объявленную в стране перестройку.

Ветер. Мороз. Бесснежие. Но погода, наверное, переменится, поэтому чувствую себя разбитым и усталым. Вчера с утра ездил записываться на телевидение, потом до вечера сидел на работе. Начал немного оживать только теперь, к одиннадцати часам вечера.

Вчера позвонила жена Мележа насчет издания собрания сочинений Ивана Павловича в Москве. Оказалось, что там никто ничего не планирует, даже и о письме из нашего Союза ничего не слышали.

Все же удалось выяснить, что готовится к изданию шеститомник Шамякина. О нем никаких писем не писалось. Мележ может обождать и до следующей пятилетки. Позвонит еще раз Лидия Яковлевна — что и как говорить ей?

Похороны Кастуся Киреенко в Союзе, в каминном зале. Он чистый с лица, не измученный долгой болезнью и тяжелой кончиной. Геннадь Буравкин рассказал, что он позвонил на радио, попросил записаться вне очереди, пояснил, что идет в больницу и может не успеть. Поехал, записался, и по дороге со студии его не стало. Говорят, доктор не отпускала из кабинета, заставляла лечь в стационар. Не лег. На похоронах сына его старенькая мать.

На общем собрании выдвижение кандидатуры в депутаты Верховного Совета СССР от нашего Союза. Брыль свою кандидатуру снял одним предложением:

— Товарищи, хотя я и старый уже, но чувство юмора еще не потерял.

Ехал домой и не мог надышаться запахом ржи через открытое окно машины. Думал, что схожу в поля, надышусь, и перестанет болеть в груди. А ночью

гроза, ливень, и назавтра весь день дождь. И никаких запахов, только мокрый запах дождя, да еще и не по-летнему холодного.

Вчера похороны Михаила Дубенецкого. Пасмурно, дождик, тоскливо. Бел-красно-белые флаги, цветы, траурная музыка. Быков грустно произнес:

— Как неизменно: когда добрый человек умирает — дождь и на земле грустно.

И еще слова Василя Владимировича о «что нового слышно?».

— Ничего нового слышать не хочется, потому что, когда новое, то опять какая-то гадость.

Юбилейный вечер Скорины в оперном театре. Много пустующих мест, а на Союз писателей было выделено только 25 приглашений. Мне билет «добыл» Толя Железовский, и приглашение на прием тоже. В новой гостинице «Беларусь» накрыты фуршетные столы, шампиньоны под соусом на десерт. Для начала немного водки налито в рюмки, а потом девушка ходит с поллитрой под фартуком и понемногу подливает жаждущим. На «президиумном» фуршетном столе водка стоит в бутылках. Вечер ведь проводится на правительственном уровне, и прием тоже.

Что касается нашего суверенитета и самоуважения. Мы пишем письмо на имя председателя Совмина, в котором объясняем, что государственная поддержка наших периодических изданий была бы конкретным шагом по осуществлению культурной, языковой программы, утвержденной в республике.

В нашей центральной газете за восьмое число, считай, получили ответ. Председатель Верховного Совета Шушкевич публично жалуется, что у государства на культурную программу, на программу по языку нет денег, и рекомендует на местах изыскивать ресурсы, перечислять деньги на Общество белорусского языка. Это звучит как заявление, что культурную, языковую программу можно не выполнять, дело это не государственное и не обязательное, а любительское, добровольное.

Сама золотая осень. По дороге из деревни в город машину раз пять поливало дождем. А за полосой дождя начиналась солнечная полоса, и дикая груша в лесу при дороге, казалось, истекала багрянцем.

Вчера вечером в банкетном зале гостиницы «Беларусь» состоялась презентация книги «Технология бизнеса» и одновременно представление творческо-производственного центра «Полифакт», при котором действует и издательская группа «Предприниматель». Родилось все это в Москве, деятельность разворачивается и у нас. Приехали представители российского Верховного Совета, известный публицист-экономист Геннадий Лисичкин и другие знаменитости. Из наших присутствует С. С. Шушкевич, незнакомые мне чины из Верховного Совета и Совмина.

Работает телевидение, книжный киоск с дефицитными детективами. Потом пресс-конференция под шампанское. Для начала сыграли полонез Огинского, потом зазвучали американские блюзы. Под них продолжается демонстрация женской моды, почему-то летней, хотя теперь поздняя осень. Подпитые мужики крутят шеями вослед молоденьким моделям. Потом начинаются и танцы…

Организовал все и руководит Евгений Будинас. Он знает в этом толк, и если уж пригласил, — напоит под завязку. Время не ограничено, возможности тоже. На все есть «добро», и будет и далее, найдутся и бумага, и полиграфические возможности — это те типографии, которым невыгодно печатать наши журналы.

Мы тихонько ушли, когда бал был в самом разгаре, танцевали все. Нам завтра надо быть в форме. Журналы стоят.

В книжных издательствах расчеты должны делаться по новым ставкам, но не делаются, потому что в постановлении не указано, откуда взять деньги. А министерство и тех, выделенных государством на белорусские издания не перечисляет, прокручивает их в банке. Так что в белорусском государстве на правах бедной сироты белорусскость.

Белорусские средства массовой информации. Если взять количество белорусскоязычных изданий, их объемы, тиражи и затраты на них — то это всего лишь капля по сравнению с русскоязычной продукцией, которая при демократах стала намного большей, чем была при коммунистах.

Полная луна этого жаркого августа ночью затуманенная, желтоватая и грустная. Хоть ты собирайся и уходи в поля на прогулку под ней. Только на даче настоящего поля нету. Рассветы прекрасные, на листьях ягодника меленькие капельки росы. Трава сухая. Теперешний август совсем без своих обильных рос. В девять часов утра уже жарко.

В письме (первом) белорусского народа великому Сталину были персонально указаны два деятеля, которые вышли из недр Компартии Беларуси:

Яднаў Кагановіч у Гомелі сілы,
У Віцебску сілы згуртоўваў Яжоў.

Послание школьники должны были заучивать, интересно, что было, когда ежовщина окончилась расстрелом ее организатора? А авторы стихотворного пересказа письма белорусского народа были отмечены грамотами ЦИК и СНК БССР. Это Колас, Купала, Александрович, Бровка, Глебка, Харик.

Позавчера состоялась встреча господ Шушкевича и Кебича с белорусскими писателями. Встреча проходила в бывшем здании ЦК, в зале заседаний бюро. Бюро уже нет, и не весь писательский президиум пригласили, а только секретарей, редакторов и еще несколько старших писателей. Как и в былые времена, писатели жаловались на нищенское положение литературы, языка. Как и раньше, им указывали, что надо делать (Ефрем Соколов рекомендовал Быкову лучше бычков выращивать). Теперь порекомендовали не влезать в политику, а заниматься своими делами, идти в школы и пропагандировать деткам язык и литературу, которые как топтали, так и теперь притаптывают. И еще руководящий сын писателя погрозил пальцем: не думайте, что государство будет вас содержать. Рынок есть рынок, ищите спонсоров. Но и сам не знает, доживет ли до того рынка и до того времени, когда национальные меценаты нарастут.

А в заключение Рыгору Бородулину был вручен диплом народного поэта, а Ивану Чигринову медаль Скорины. Все же проявили заботу.

Мудрые строки Купалы, давным-давно написанные:

Куды ні глянеш — людзі, людзі.
Куды ні глянеш — шэльмы, шэльмы.
Куды ні глянеш — б’юцца ў грудзі,
А значыць: правільныя вельмі.

На сегодняшний день — один к одному.

Тринадцатого, в день памяти Якуба Коласа, сбор у его могилы. Людей не меньше по сравнению с прошлым годом, даже больше.

Кто-то припомнил, что в день памяти Купалы в костеле была отслужена служба, почему бы такое не сделать и теперь. Эту мысль поддержали и те, кто несколько лет назад, состоя при должности, такого не позволил бы. Данила Константинович на предложение ответил коротко и категорично, что отец никогда не был набожным человеком и что через тридцать семь лет после его смерти

устраивать в дань моде молебен он не будет.

С утра солнце, а потом туман, осенний, грибной. В лесу серенькие рядовки, ровненькие, чистенькие. Целое ведро. А в больших лесах должны уже пойти белые, хотя у людей в ведрах больше подберезовики и подосиновики.

Осмотрелся и сам себе ужаснулся: попробовал присесть — и не смог. Почувствовал, какой я больной, от головы да кончиков пальцев на ногах. Словно робот, слишком долго пробывший под дождями, весь заржавел. Подумал о мучениях Пимена Емельяновича, у которого все тело изболевшееся, а нутро еще живое. А как душе, чувствуя все это? Наверное, мучается, а хочет еще держаться на этом свете.

Известный советский публицист Анатолий Стреляный на волнах радио «Свобода» выступает в той же тональности, как и в свое время на страницах «Правды» и «Известий». Тогда он крепил социализм, теперь вспомнил, что он украинец, и раскручивает тему голодомора на Украине. Выступает на русской волне «Свободы».



С русским писателем Юрием Курановым. 1983 г.

Старые присказки хорошо звучат и на новый лад. Что касается нашего руководства, то старая присказка в новой редакции может звучать так: «Скажи, кто твой помощник или советник, и я скажу, какой ты руководитель». По этому признаку у нас полная «демократия» получается: подавляющее большинство помощников и советников — бывшие аппаратчики компартии.

Читаю мемуары о серебряном веке русской литературы и пробую постичь умом, какой мощный культурный уклад к тому времени был в России, который потом обвалили, затем несколько десятилетий добивали, обещая создать новый, но так и не создали, как и у нас не создали за короткий период белорусизации.

Так написано Пушкиным: «Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно? Отчета не давать…».

Неожиданно поджали морозы. Прогноз на ближайшие дни, а точнее, ночи — под тридцать. Жалею, что не могу выехать в деревню.

Насчет наших жалоб, что у нас нет настоящей литературной критики, что уровень ее довольно низок. «Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы». Так думал Пушкин, и скорее всего, не ошибался.

Читаю, точнее, перечитываю дневники Пришвина. Абсолютное видение и понимание, кто и что есть Сталин и что может ожидать впереди. А дневники вел и старательно прятал их. Может, это понимание и позволило ему выжить и не оказаться в той страшной мясорубке. А обращался же к Троцкому с просьбой помочь в печатании «Мирской чаши»». И получил заключение, что повесть при всех своих литературных достоинствах контрреволюционна. Видно, вовремя ушел в леса и начал писать «о собачках», как потом сказал тот же Сталин.

Еще из дневников Пришвина. «Уметь жить — это значит сделать, чтобы ко всем людям без исключения стоять лицом, а не задом. Уметь умереть — это значит лицо свое сохранить перед Господом. Лицо свое удержать как лицо в последние мгновения жизни».

И еще запись: «Тагор в Москве. Вот приехал из Индии смотреть, а я не хочу из Сергиева ехать в Москву. Тут много личного. Тагор богатый, я нищий. У него народ, в который он верит, у него школа. У меня народ как бы исчезающий…»

Со вторника по пятницу был в деревне. Был и морозик, и оттепель была, в четверг вечером даже намело меленького снежка. А с утра назавтра солнышко, пригрев, которого хватило, чтобы и с крыш закапало.

На всю деревню только четыре школьника, и те из одной семьи. За целый день можно не увидеть на улице ни одного человека, если ему нет надобности выходить со двора.

Приход в редакцию Быкова. Принес рассказ. Сделан добротно, выписан. И выбор темы отличный. Ночь, машина. Дорога в Куропаты. Хорошее название «Желтый песочек». Среди тех, кого везут расстреливать, есть все — и бывший буржуй, и поэт, и коммунист, и крестьянин, и чекист, и уголовник. Первый номер будет чем открыть. И новость есть приятная: шесть с половиной тысяч подписки, больше, чем в предыдущем квартале.

Позавчера поездка в Тимковичи на открытие литературного музея Кузьмы Чорного. Через пятьдесят четыре года после смерти «награда нашла героя» — музей стал государственным. До этого времени был пришкольным. В свое время учителя ходили на станцию вагоны разгружать, чтобы построить под него отдельное здание. Романенко Зинаида Иосифовна, инициатор создания музея, приехала тоже. Старенькая уже, в стареньком выношенном пальто. И постаревшая, но подвижная дочь Чорного Рогнеда Николаевна. Сводила нас на могилы родителей Чорного.

Порадовала организация и отношение к открытию музея, и сами музейные работники, и местные власти. Скрыган Елена Николаевна, последний первый секретарь райкома, приехала тоже. И ужин в старицком ресторане на берегу озера, хлебосольный, без излишних возлияний. И приятная ночная дорога в Минск при легоньком тумане. Почему-то люблю ночные дороги, пустынность на них, уютное тепло машины.

Последние стихи Велюгина в «Полымі», мастерские, чеканные, простые и мудрые. И какое-то удивление, что такое могло случиться с ним: болезнь, кото-

рая ведет за собой смерть. А стихи на удивление — чистые как слеза, горькие и такие нужные.

Заходил в редакцию Василь Владимирович Быков. Сказал просто, что болезнь моя видна на лице. Вспомнил свое, предостерег насчет сигареты, рюмки, от лишних волнений, посоветовал не делать резких рывков к автобусу на остановке. Вспомнил Адамовича, его потрясение в том московском суде, на который ему не надо было ходить, если бы не тот поход, жил еще бы Алесь Михайлович. Он жалеет его.

В «Звяздзе» письмо Шамякина к президенту с тревогой за белорусский язык и литературу. Грустно от этого письма еще и потому, что только один Иван Петрович поднялся в защиту языка и литературы, промолчал даже и Союз писателей…

Утреннее солнце начало вставать рано, а из-за леса высветило только после шести утра. Дрозды подняли суету еще до восхода солнца, их в этом году на удивление, и ягоды они «досмотрят» подчистую. Человека они не боятся и его пугал тоже.

Понравилось читать публицистику Бёлля более, чем его прозу.

«Слова действительны, это мы узнали на собственной шкуре, слова могут подготовить войну, могут спровоцировать ее, но не всегда слова могут восстановить мир. Слово, предоставленное бессовестному демагогу, чистейшему тактику, оппортунисту, может стать смертельным приговором для миллионов людей; машина, формирующая общественное мнение, может стрелять словами, как пулемет пулями: четыреста, шестьсот, восемьсот в минуту; любая, слишком четко классифицированная группа сограждан может быть словом обречена на гибель».

За ночь решила прийти зима, подморозило, посыпало снежком. После обеда начался большой снег, стало ветрено.

В последние дни состоялся президиум, на котором меня рекомендовали на должность главного редактора «Нёмана», потом был разговор с министром Бельским, после чего я поставил подпись под контрактом, на котором и даты не были проставлены, и подписи самого министра не было…

Морозы не ослабевают, и никак не может закончиться этот тяжелый високосный год…

Вчера позвонил Дранько-Майсюк. Просьба ответить на три вопроса: какими главными событиями, на мое разумение, помечено прошедшее тысячелетие, двадцатое столетие и чем засвидетельствует себя в истории человечества первое столетие нового тысячелетия. Надо и правда быть веселым человеком, чтобы в теперешнем жизненном бедламе думать об этом. Отвечу так: заслуга минувшего тысячелетия в том, что пришло к человеку в печатном виде Его Величество Слово в виде книги и что этому способствовал белорус Скорина.

Двадцатое столетие запомнится тем, что человечество переступило порог Космоса.

Следующее столетие будет помечено шествованием по планете панамериканизма, и небезуспешным.

Министерские чиновники по-своему позаботились о входе в новую эру: обещали выделить на журнал миллиард, а выделили 350 миллионов, и те дойдут до нас только после Нового года. Радуйтесь, празднуйте — ни зарплаты, ни журнала, который стоит: не печатают в долг.

На ночь, пропустив вступительную статью Аверинцева, читал стихи Мандельштама.

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

Как нельзя писателю бежать по жизни. Тогда он становится зашоренным, свету Божьего не видит вокруг. Два дня отсидел на больничном, не спеша шел в поликлинику и с радостью увидел на дымчатой тянь-шаньской ели и под ней, где и снега почти нет, стайку обыкновенных воробьев. В этой предзимней бедности, они, нахохленные от холода, а потому и более крупные, серые, с коричневыми крылышками, смотрятся как зимние цветы.

Перевод с белорусского автора.
Фото Владимира Крука и из архива автора.



ВЯЧЕСЛАВ РАГОЙША

Первая из вершин

Белорусской песни властелин

У каждого народа среди классиков национальной литературы выделяются фигуры главнейшие, которые внесли особый вклад в развитие родной литературы, языка и культуры, стали своеобразными символами самого народа. У англичан это Вильям Шекспир, у русских — Александр Пушкин, у поляков — Адам Мицкевич, украинцев — Тарас Шевченко… У белорусов такой фигурой является Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич; 7 июля 1882 г. — 28 июня 1942 г.).

Конечно, Янка Купала не сделал бы для литературы, культуры, белорусского народа всего того, что он совершил за свои шестьдесят лет, если бы не было рядом с ним его соратников, единомышленников-подвижников. Это в первую очередь второй титан белорусского слова Якуб Колас, Максим Богданович, Тетка, Максим Горецкий, Змитрок Бядуля, Алесь Гарун, Тишка Гартный, Вацлав Ластовский, Антон Луцкевич… Однако несомненно и то, что среди этой славной плеяды талантливых и самоотверженных белорусских писателей-возрожденцев (и вообще среди деятелей белорусской культуры всего XX в.) Янка Купала стал самой заметной фигурой — и по мощи литературного таланта, и по творческой результативности, и по времени реализации этого таланта. В частности, творческий потенциал Янки Купалы проявился раньше, чем у других белорусских писателей начала XX в., в том числе Якуба Коласа. Так, первое свое стихотворение Янка Купала опубликовал в 1905 г., Якуб Колас — в 1906 г., первый свой сборник стихов «Жалейка» издал в 1908 г. (кстати, он должен был выйти из печати еще в конце 1906 г.), Якуб Колас — на два года позже («Песні-жальбы», 1910). Впрочем, все самые известные произведения Якуба Коласа появились довольно поздно, только после революционных событий 1917 г.: «Новая зямля», этот «царь-колокол» белорусской литературы» (Алесь Адамович), и «Сымон-музыка» — в начале 1920-х гг., а трилогия «На ростанях» была завершена только в середине XX в. К 1915 г. (дата, когда в связи с военными событиями и общественными катаклизмами поэт замолчал на три года) поэт и драматург Янка Купала уже стал классиком новейшей белорусской литературы, состоялся как писатель не только национального, но и общеевропейского масштаба.

Не зря известный украинский поэт Павло Тычина назвал Янку Купалу «первой вершиной белорусского Эльбруса поэзии». Как известно, Эльбрус (гора на Кавказе) состоит из двух вершин, одна чуть выше другой. Под второй вершиной Эльбруса Тычина имел в виду Якуба Коласа. Сегодня мы уже говорим о трехвершинной «горе» белорусской поэзии XX в., что напоминает словенский Триглав. К самым высоким творческим вершинам — Янке Купале и Якубу Коласу — мы причисляем и вершину Максима Богдановича. Однако к каким бы сравнениям мы ни прибегали, истина остается одна: Янка Купала — первая из вершин.

Если талант дается человеку от рождения, то как распорядиться этим талантом — полностью зависит от самого человека. Оглядываясь на свой двадцатилетний творческий путь, поэт в стихотворении «За ўсё» (1926) писал:

Я адплаціў народу,
Чым моц мая магла:
Зваў з путаў на свабоду,
Зваў з цемры да святла.

Из пут на свободу, из тьмы к свету… Такой путь вместе с белорусским народом прошел и сам поэт. Сын безземельного арендатора, затем — сам мелкий арендатор, чернорабочий пивоварни, библиотекарь, сотрудник, а впоследствии и редактор одной из первых легальных белорусских газет «Наша Ніва» (1906—1915), народный поэт Беларуси Янка Купала везде и всегда был с родным народом — и в горе, и в радости. Именно это позволило ему «сэрца мільёнаў падслухаць біцця» («З кутка жаданняў»), стать ярким летописцем жизни белорусского народа почти во все наиболее важные исторические моменты первой половины XX в.: в переломное время революционных событий в России в 1905—1907 и 1917 гг., в достопамятный период создания государственности Беларуси в 1918—1920 гг., в трагические 1930-е гг., в радостные дни воссоединения белорусского народа в едином государстве (1939), в самый мрачный первый год фашистской оккупации Беларуси (июнь 1941 — июнь 1942)… Но Янка Купала был не только художественным летописцем народа. В разное время, в зависимости от обстоятельств, тонкий и проникновенный лирик становился то поэтом-гражданином, то пророком, то философом, а то и борцом «за долю, волю і народ» («Памяці С. Палуяна»). Его творчество не только выявляло рост социально-политического и национального самосознания белорусов, но и активно содействовало этому росту, формировало общественный идеал, национальное самосознание, пробуждало историческую память — стало знаменем духовного возрождения народа. Не зря Максим Горький, познакомившись через газету «Наша Ніва» с «действительно народным» творчеством Янки Купалы, в статье «О писателях-самоучках» («Современный мир», 1911, № 2) дал чрезвычайно высокую оценку этому творчеству. А стихотворение «А хто там ідзе?», в частности, назвал песней, перевел эту «песню» на русский язык и высказал надежду, что она «станет народным гимном белорусов». То, что абсолютное большинство населения бывшего «Северо-Западного края России» из так называемых «поляков», «русских» или просто «тутэйших» постепенно стали белорусами, осознали себя как народ, такой же, как остальные славяне, то, что народ захотел занять (и наконец занял!) «свой пачэсны пасад між народамі» (вспомним купаловский призыв: «Занімай, Беларусь маладая мая, // Свой пачэсны пасад між народамі!..» — «Маладая Беларусь», 1906—1912) — получил государственность, а в конце XX в. и государственную независимость, — во всем этом огромная заслуга Янки Купалы. Отец нации — в этом именовании-перифразе Янки Купалы нет преувеличения.

С каждым годом все больший промежуток времени отделяет нас от того исторического периода, когда жил и творил гениальный Янка Купала. За маревом лет нередко сложно увидеть острую актуальность, насущность, ту или иную событийную обусловленность отдельных его произведений. Однако временное расстояние вместе с тем позволяет рассмотреть многое из того, что вблизи, бывает, и не заметишь. Сегодня намного явственнее, чем когда-либо, видится общечеловеческая суть поэзии Янки Купалы. Очень глубоко заглянув в душу сначала угнетенного, а затем социально и национально раскабаленного крестьянина-белоруса, он тем самым создал оптимистическую кардиограмму «очеловечения» человека-труженика. Такая кардиограмма обретает особенную значимость в контексте социальной и национально-освободительной борьбы, которая ведется сегодня во многих местах нашей планеты.

Янка Купала предстает перед нами и как оригинальный поэт-философ, со своей концепцией жизни, места и роли человека в нем. Мы, в частности, восхищаемся конкретными перипетиями, описанными в его многочисленных стихотворениях, поэмах, драматических произведениях, вбираем в себя мысли, наблюдения, эмоции, воплощенные в этих произведениях. И мы, безусловно, не

можем пройти мимо проблем, которые по-своему ставил и решал народный поэт: добра и зла, социальной справедливости, моральной ответственности, жизни и смерти, прощения и мести и т. д. Или возьмем проблему выбора, которую так остро ставил в своих произведениях Василь Быков, которую ставят и некоторые другие современные европейские писатели экзистенциального направления. Не проглядывает ли она еще в «Кургане», «Магіле льва», «Бандароўне» Янки Купалы? Думается, не только проглядывает, но и является одной из главных проблем этих глубоко содержательных поэм.

Народный поэт Беларуси — замечательнейший мастер поэтического слова, один из самых крупных поэтов, каких вообще знает мировая литература. Когда-то украинский писатель Максим Рыльский, который назвал нашего песняра «поэтом-рыцарем», писал: «Янка Купала был неисчерпаемо разнообразен в стихотворной форме, у него мы видим и произведения, написанные совершенно в духе народных песен («Алеся» его с измененным именем «Гануся» — записана на Украине из народных уст как фольклорное произведение), и сложные строфические построения, и обращение к таким каноническим узорам, как октавы, — но всюду он тот самый Янка Купала: простой, искренний, кристально-ясный, действительно народный поэт». Следует учесть, что Янка Купала не просто «обживал» для белорусской поэзии некоторые неизвестные ей ранее формы стиха (например, сонет, октава, брахиколон и др.), но и специально создавал новые. Поэт поднял культуру белорусского стихотворчества на мировую высоту, как никто из белорусских поэтов посодействовал развитию техники стихосложения, привнес в белорусское и в целом славянское стихосложение свои ритмы, интонации, очертил наиболее перспективные пути, по которым и теперь развивается белорусский стих. Поэзия Янки Купалы является настоящей школой мастерства для современных и последующих поколений белорусских поэтов.

Творчество Янки Купалы — словно широко открытое окно в мир всей белорусской поэзии первой половины XX в. Отсюда, из окна купаловской поэзии, хорошо видны не только те магистральные пути, по которым шла белорусская литература, но даже и окольные тропы и дорожки. Явно видно и то, что эти пути торил не кто иной, как Янка Купала вместе с другим титаном белорусского слова — Якубом Коласом. И как бы в свое время ни становились «в рожки со стариками» некоторые из молодых белорусских литераторов — современников Янки Купалы и Якуба Коласа, сегодня их стихи и поэмы светятся привлекательным светом поэтичности в большой степени благодаря соседству с отличными произведениями классиков. Так начинает светиться люминесцентная лампа, когда вдруг появляется могучий источник электронного излучения…

Янка Купала — непревзойденный знаток народного белорусского слова. Автор «Жалейкі», как дельно заметил еще Анатолий Луначарский, привнес в литературу «свой словарь, свои обороты, свою поэтическую музыку просто из крестьянских глубин, из нови народного языкотворчества». В то время как Якуб Колас, черпая из тех самых источников, все же сознательно или подсознательно контролировал основные лексические и грамматические нормы своего языка (его учительское образование не могло не сказаться и в этом), когда Максим Богданович, живший далеко от Беларуси, пользовался преимущественно книжным (изученным) белорусским языком, то языковая стихия Янки Купалы — это синтаксически гибкая, лексически чрезвычайно богатая, интонационно выразительная живая народная речь, которая часто никак не укладывается в прокрустово ложе современной грамматики. Об этом свидетельствуют, в частности, старательно собранные белорусскими языковедами материалы большого, восьмитомного «Словаря языка Янки Купалы». Янка Купала — яркий пример действительно народного поэта, который воскрешает в памяти психологический тип древнего сказителя-баяна. И этот пример тем более знаменателен, что жил такой баян не в легендарные времена «Слова о полку Игореве», а в XX в.,

в космический век. Думается, творчество, сама фигура Янки Купалы с течением времени будут притягивать все большее внимание не только литературоведов, но и языковедов, философов, психологов…

Мы — свидетели того, как поэтическое слово Янки Купалы живит не только белорусскую литературу. Для Александра Прокофьева, например (как, кстати, и для Всеволода Рождественского, Михаила Голодного, Марии Комиссаровой и некоторых других известных русских поэтов), творчество песняра явилось той «переправой», которая надежно и навсегда соединила их с вечнозеленым материком белорусской поэзии. Благодаря этой связи все поэты-переводчики почувствовали на себе благотворное влияние Купаловой музы. Их желание — чтобы и на их поэзию «упало // Хотя бы немного света из того // Сиянья слов, в котором рос Купала, // С которым Колас ведал торжество» (А. Прокофьев) — осуществилось. Родниковая, светлая поэзия Янки Купалы также не однажды освежала голос Александра Твардовского, Михаила Исаковского, Сергея Городецкого, в чем признавались сами эти мастера поэтического слова. Впрочем, это же можно сказать и о некоторых поэтах других наций, в частности украинских. Скажем, когда М. Рыльский утверждал: «Как поэт, я подчас ловлю себя на том, что именно так я написал благодаря чтению моих белорусских друзей. Думаю, что это могут сказать и другие мои товарищи», — то он имел в виду прежде всего поэзию Янки Купалы.

Творчество белорусского поэта позволяет подчас глубже понять некоторые процессы в истории других национальных литератур, хорошо «вписывается» в эти литературы. Так, оно в известной степени заполняет одно недостающее звено в русской поэзии 1900-х гг. Как точно заметила русский литературовед Р. И. Файнберг, «в русской литературе той поры не было поэта, который, продолжая дело Некрасова, раскрыл бы изнутри мир растревоженного революцией человека. Эта задача выпала на долю великого лирика (Янки Купалы. — *В. Р.*), который выступил в 1905 году от имени закабаленного крестьянства Беларуси».

Учитывая все сказанное, не покажутся преувеличением слова Янки Купалы, с достоинством произнесенные в стихотворении «Мая навука» еще в 1919 г.:

Цяпер маймі скарбамі — думы-саколы,
Цяпер беларускай я песні ўладар.

Прилюдно заявил это поэт, будучи в пушкинском возрасте, в расцвете своих творческих сил, имея в своем поэтическом багаже — как никто из белорусских поэтов — множество замечательных произведений (не забудем, что знаменитые коласовские поэмы «Сымон-музыка» и «Новая зямля» появятся позже). Само стихотворение «Мая навука» — своеобразный манифест взглядов Янки Купалы на жизненные истоки как своего творчества, так и художественного творчества вообще. Но не только. «Мая навука» вместе с тем — это яркая демонстрация творческих возможностей и самобытности поэта.

Янка Купала главные истоки своего творчества, его идейно-эстетические ценности видит не в *«раскошах» «мудрасці кніжнай»*, а в самой жизни: в физической работе («*Каса і сякера, і цэп малацьбітны // Магутную волатаў сілу далі*»), в белорусской природе («*Ад самай красы маіх дзён невясёлых // Настаўнікам быў беларускі абшар»).* Это действительно так. Однако нельзя прямолинейно, как подчас бывает, воспринимать эти слова. Без литературы, воспитания искусством, без «*мудрасці кніжнай*» настоящим художником стать нельзя. Сам Янка Купала, вспоминая начало своего творческого пути, отмечал: *«Писать начал я с 1904 г., но сначала ничего путного не выходило, т. к. не имел тогда еще ни малейшего представления о теории стихосложения. Впоследствии попалась мне в руки стилистика, и дело стало налаживаться»* [Письмо к Л. М. Клейнбарту, 1910. Как известно, среднюю школу поэту, к сожалению, не пришлось окончить. Но не будем забывать, что он четыре года (1909—1913) учился в Петербурге на общеобразовательных курсах А. Черняева — в этом вечернем университете для взрослых, а также в московском университете А. Шанявского

(1915). И разве можно не учитывать самообразование, постоянную, еще с раннего детства, тягу Янки Купалы к книгам! Вообще, нельзя противопоставлять учебу у реальной жизни учебе «у книг». Впрочем, поэт этого и не делает. Несколько гиперболизируя отсутствие систематического образования («…*іншай не знаўшы навукі і школы*»), он, тем не менее, с уважением относится к нему. Об этом красноречиво свидетельствует несколько штрихов — уважительные по отношению к образованию высказывания («*мудрасць* кніжная» — это «*раскоша*»; без «навукі і школы» поэт «у *пацёмках* шукаў… божы дар»). Да и сама поэтика стиха указывает на необходимость и наличие учебы его автора у литературных предшественников и современников. Ведь не сам Янка Купала изобрел и систему стихосложения (силлабо-тонику), и стихотворный размер (четырехстопный амфибрахий), и строфу (катрен с перекрестной рифмовкой), и рифмы (мужские и женские, точные и неточные, открытые и закрытые), которыми написана «Мая навука»?! Все это было и до него в белорусской, а тем более в мировой поэзии, из которых и заимствованы эти компоненты стихотворной поэтики. На наличие литературных традиций подчас указывают даже отдельные образы стихотворения. К примеру, сравнение стихотворения с колоколом («*песню, як звон… адлілі*») — аллюзия, что ведет к стихотворению М. Богдановича «Паэту» («*верш… як звон, зазвініць*»).

Вместе с тем, как мы уже сказали, в «Маёй навуцы» ярко воплотилось оригинальное, новаторское, высокое поэтическое мастерство Янки Купалы, то, что определяет его талант, делает произведение (как и все лучшее в творчестве поэта) неподвластным времени. Сравнить песню (стихотворение) с колоколом — это выразительно, поэтически точно, образно обрисовать явление. Так у Богдановича. Но у Янки Купалы другой склад поэтического мышления: романтично-обобщенный, условно-ассоциативный, эмоционально-экспрессивный. Ему, как тому художнику-импрессионисту, важнее вызвать какое-то впечатление, чем создать рисунок — реальное сходство с предметом или явлением. И он пишет:

Марозы і спёкі далі гарт нязбытны —
Мне песню, як звон, як пярун, адлілі.

Морозы и зной отлили песню… Уже одна эта метафора своей новизной, неожиданностью, поэтической смелостью вызывает надлежащие эмоции и ассоциации. Но поэт обогащает эту метафору двумя сравнениями — «богдановичским» колоколом и неожиданным, чисто купаловским сравнением песни с перуном: «песню, як звон, *як пярун*…» А перед этим поэт назвал песню «*гартам нязбытным*». Так образ становится многослойным, в нем конденсируются, подчиняясь выявлению одной эмоциональной мысли, несколько тропов. Причем поэтические «мазки» размашистые, щедрые, ведь купаловский «мольберт» — весь мир, даже вселенная. Это не только «*бурлівая рэчка і млын гутарлівы*», которые «*складалі… рытму мастацкія звівы*», не только «*цяністыя бітага шляху прысады // І ў вырай лятучыя гусяў шнуры*», что придавали песням гармонию, не только шепот «*спелых пшанічных калоссяў*» и шелест «*лісцяў узмежных ігруш*», от которых «*музычнае водгулле ў песню лілося*», не только, наконец, зеленое поле и «*цвітучая ў сонечны цвет сенажаць*», которые «*вучылі, як словы ў вянок завіваць*» (здесь — понимание автором стихотворения «души» поэзии, от ритма — к музыкальности, гармонии). Все это — еще чисто земные зарисовки. Но вот Янка Купала бросает взор в космос. Космичность его поэтического мышления, выявившаяся еще в ранний период творчества, не может не вызывать восхищения:

Душу акрылялі прыгожасці свету,
Па гонях пад небам лунала яна,
Купалася ў сонцы вясёлкай распетай,
Сама, як вясёлка, як казка-вясна.

І п’яная чарамі, п’яная песняй,
Як сон заварожаны райскіх мясцін,

Шаптала мне дзівы цвітучых прадвесняў
І песняй лілася з паходам часін.

Видно, не стоит «препарировать» этот поэтический образ красоты, опускать его с космических далей на грешную землю, отделять один образный «слой» от другого. Потому что при этом можно уничтожить саму поэзию, в которой, как и в музыке, не все и не всегда поддается рациональному истолкованию. Главное, что на уровне не только (возможно, даже не столько) сознательном, но и подсознательном мы понимаем поэта, воспринимаем его формулу красоты, понимаем и те *«дзівы цвітучых прадвесняў»*, которые нашептала ему, поэту, эта красота.

Купаловское, неповторимое видно в «Маёй навуцы» не только в образном строе, в его романтическом реализме, но и в разработке «целины народного языкотворчества», на что в свое время указывал А. Луначарский. Имеются в виду самобытные народные слова и словоформы (*гутарлівы, плюскат, прыгожасць, раскоцісты, песельны, саколы, малацьбітны* и др.), употребление синерез (на*ўч*ыўся — вместо на*ву*чыўся, пара*дк*валі — вместо парадк*а*вали) и диерез (нашэп*ты*ваў — вместо нашэп*тв*ау, шо*па*ту — вместо шэ*пт*у), которые органично входят в лексикон поэта. Они придают стихотворению неповторимый колорит, создают дополнительные смысловые и эмоциональные нюансы.

На заре новой жизни

Как известно, с начала 1914 г. Янка Купала возглавил газету «Наша Ніва», стал ее главным редактором. Однако фронт Первой мировой войны приблизился к Вильно, город в сентябре 1915 г. стал эвакуироваться. Газета перестала выходить. Янка Купала, впечатленный ужасами войны, бушевавшей на белорусской земле, замолкает как поэт, подтверждая справедливость давнего изречения: «Когда говорят пушки, музы молчат». Он выезжает в деревню, в Акопы, где жила мать, потом — как беженец — попадает в Орел, затем в Москву, где поступает в народный университет А. Шанявского. В январе 1916 г. женится на Владиславе Францевне Станкевич, красивой и энергичной женщине, которая на всю жизнь стала ему советчицей и подругой, а после смерти поэта очень много сделала для увековечивания его памяти. Сразу после свадьбы он призывается в армию. Служит в дорожно-строительном отряде сначала в Минске, затем в Полоцке (здесь его застигает Февральская революция 1917 г.), потом в сентябре 1917 г. попадает в Смоленск, где встречает Октябрьскую революцию, гражданскую войну, начинает работать разъездным агентом по заготовке сельскохозяйственных продуктов. В то голодное и холодное время тоже было не до стихов.

Второе поэтическое дыхание пришло к Янке Купале осенью 1918 г., когда он жил и работал в Смоленске. Смоленск в то время являлся центром так называемой Западной области, в которую входили Смоленщина и свободные от немецкой оккупации восточно-белорусские земли. И к активному творчеству после длительного перерыва поэта позвала именно Отчизна, Беларусь. Янка Купала хотя непосредственно и не участвовал во многих приснопамятных событиях того времени, но, несомненно, знал о них: и о борьбе коммунистов-белорусов, национал-коммунистов (Д. Жилунович, Я. Дыла, А. Бурбис, А. Червяков и др.) с коммунистами-великодержавниками (И. Алибегов, В. Кнорин, К. Ландер, А. Мясников и др.) за создание хотя бы автономной, в составе Российской Федерации, Белорусской советской республики, и о разогнанном смоленскими большевиками (руководителями западного облисполкома) Всебелорусском съезде в Минске в декабре 1917 г. с его декларированной самим Сталиным возможностью «безоговорочно объявить себя учредительным, образовать свою республику и даже отделиться от России» [цит. по.: 5, с. 90], и о провозглашении 25 марта 1918 г. Белорусской Народной Республики (БНР)... Поэт увидел:

неутомимый сев на национальной ниве, благодаря бурным революционным событиям, дал быстрый и хороший урожай. Теперь самое время перед народом, пробужденным от летаргического сна, ставить на этот раз новые, задачи — по строительству государства. Потому что он хорошо знал: *«Пройдут годы, подрастут сыновья и внуки наши и спросят тогда нас: «Что сделали вы в то бурное и достопамятное время для своих потомков, для своего края?»*.

Янка Купала, который больше трех лет молчал как поэт, за каких-то два последних месяца 1918 г. написал свыше двадцати стихов. И каких! Здесь и знаменитая «Спадчына», и прекрасные сонеты «Для Бацькаўшчыны», «Пчолы», «Наша гаспадарка», и пламенное стихотворение-призыв «На сход!», и глубоко символические «У дарозе», «Паязджане», и красноречивое обращение «Свайму народу» с его призывом:

Паўстань, народ! Для будучыны шчасце
Ты строй, каб пут не строіў больш сусед;
Не дайся ў гэты грозны час прапасці, —
Прапашчых не пацешыць шчасцем свет.

Сваю магутнасць пакажы ты свету, —
Свой край, сябе ў пашане мець прымусь.
Паўстань, народ!.. З крыві і слёз кліч гэты...
Цябе чакае маці-Беларусь!

Причем, как и всегда у Янки Купалы, это были не бескрылые стихи-однодневки, а произведения эстетически полноценные, глубоко поэтические, хотя и возникали они иногда по несколько в день. Поэт, безусловно, сердцем уловил эпохальный для Беларуси момент, когда на мощном фундаменте, возведенном еще до всех названных событий, нужно было возводить стены Белорусского государства. Благо и пример хороший был: на развалинах Австро-Венгрии возникли Югославия, Чехословакия, из бывшей царской России выделились Польша, Финляндия, объявили самостоятельность Украина, Литва, Латвия, Эстония...

В стихотворении «Час!» поэт-пророк призывал:

Хай званы зазвоняць з жарам,
Хай музыка ў струны ўдара!
Гэй, паўстань, народ!
За сябе сам пастаяці
І за Бацькаўшчыну-маці
Йдзі, народ, на сход!

Ритм стихотворения, воплощенный в четырехстопном хорее, подкрепленный многочисленными лексическими и фонетическими повторами, — бодрый, оптимистический. Эту мажорную интонацию поддерживает и пятикратное повторение секстин — шестистрочных строф на три рифмы: Аабввб. Задача же поэта была пробудить народ от длительного летаргического сна, призвать его на «сход» — как и в драме «Раскіданае гняздо» (1913), где Сымон бросает клич: «*На вялікі сход! Па Бацькаўшчыну!*» Янка Купала в символических понятиях «*сход*», «*нарада*», как и в многочисленных других, на которых «держится» стихотворение «Час!» (*новы пасад, сонца залатое, лепшы час, цапы, косы* и др.) олицетворял свою мечту о новой, лучшей жизни, эмоционально побуждал «грамаду» к активным социальным действиям.

Идти «на сход» Янка Купала призывал и в стихотворении с одноименным названием — «На сход!»:

На сход, на ўсенародны, грозны, бурны сход
Ідзі, аграблены, закованы народ!

Як роўны йдзі жыхар між роўных жыхароў,
Аддай на суд свае ўсе крыўды, слёзы, кроў <...>.

Аддаці ўсё на суд, на ўсенародны сход
Ідзі, аграблены, закованы народ!

Что это был за «сход» и каким в будущем должно быть Отечество (демократическая республика? социалистическое государство? Великое Княжество Белорусское, вроде прежнего Великого Княжества Литовского?) — тогда над этим поэт, по-видимому, не задумывался. Да и поэту ли определять это? Сам народ, политики, государственные деятели скажут свое слово. Для него главной задачей было формировать государствообразующее общественное мнение, эмоционально поднимать общество к активному национально-государственному строительству.

Как мы сегодня знаем, большевистское руководство Западной области как могло сопротивлялось даже национально-автономному устройству Беларуси в составе новой России. Так, 21 декабря 1918 г. в редакционной статье газеты «Западная Коммуна» говорилось: «Спрашивается, зачем эта игра в советские республики?.. Провозглашение советской республики Белоруссии… не в интересах социалистической революции». И только когда члены Белнацкома при Наркомате просвещения РСФСР убедили, наконец, Ленина и членов Бюро ЦК РКП(б) в необходимости провозглашения советской Беларуси, смоленским большевикам-великодержавникам ничего не оставалась, как исполнить решение Бюро ЦК РКП(б) об образовании БССР («А то будет плохо!» — предупредил их Сталин). Однако и на этом еще не все закончилось. Уже была 1 января 1919 г. провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР), из Смоленска в Минск переехал Янка Купала и члены правительства республики во главе с Дмитрием Жилуновичем (Тишкой Гартным), а газета «Звезда» 5 февраля 1919 г. рукою В. Кнорина угрожающе писала: «Потуга белорусской националистической интеллигенции к созданию «своего» белорусского языка, «своей» национальной культуры напрасны... Пусть примут это к сведению белорусские писатели». Эта угроза-предупреждение в первую очередь была направлена, несомненно, в адрес Янки Купалы, который в то время в Минске начинал национально-просветительную и культурную работу, служа в Комиссариате просвещения библиотекарем при Белорусском народном доме. Не удивительно, что патриотические стихи Янки Купалы 1918 года ни в Смоленске, ни в Минске, пока там держалась власть Мясникова и Кнорина, опубликованы не были. Да и где они могли быть опубликованы, когда тогда же, в начале 1919 года, Бюро ЦК КП(б)Б, которое возглавлял тот же Кнорин, постановило: «Издание белорусской газеты признать нежелательным». Как писал Янка Купала в стихотворении «Крыўда»,

Раскованы раб сябе выдаў —
Не ўзнёсся ўвысь дух чалавечы, —

Нявольнік пабратаўся з Крыўдай
І ў помач ёй даў свае плечы.

Названные стихи песняра были напечатаны в том же 1919 г., только уже во время польской оккупации Минска, под которую неожиданно попал и их автор.

С думой про Беларусь

Польская оккупация Минска продолжалась с 8 августа 1919 г. по 11 июля 1920 г. Стихи, написанные в Смоленске при советской власти, Янка Купала опубликовал в газетах «Беларусь», «Звон», журнале «Беларускае жыццё». И что интересно: актуальность их нисколько не уменьшилась. Более того, даже возросла. В то время как большевики, пусть и из чисто политических соображений, поневоле и всего-навсего на небольшой части одной Минской губернии, пошли на провозглашение БССР (правда, через месяц соединили ее с Литвой, объявив о создании Литовско-

Белорусской ССР — Литбел), польские власти не признали не только БССР (что понятно), но и БНР, и на оккупированной ими территории не захотели предоставить белорусам даже национально-культурную автономию. Все это болью откликнулось в сердцах патриотически настроенных белорусов, в том числе — Янки Купалы, вызвав в нем резкое сопротивление полонизаторским устремлениям «западников», как до этого — ассимиляторским — «восточников». Он постепенно приходит к убеждению о необходимости для Беларуси полной государственно-политической независимости. Во время польской оккупации Янка Купала выработал свою собственную концепцию государственной независимости Беларуси и выразил ее в ряде стихотворных и публицистических произведений.

Сегодня как эпохальное достижение в государственном строительстве мы воспринимаем суверенное существование Республики Беларусь. С самых высоких трибун получение Беларусью государственной независимости в 1991 г. квалифицируется как выдающееся событие не только в жизни белорусского народа, но и в истории всего славянского мира, а День Независимости Республики Беларусь (День Республики) отмечается нами как величайший праздник. Правда, еще до недавнего времени в печати (преимущественно зарубежной) можно было прочитать, что независимость «упала» на нас неожиданно, что мы «не готовы» к государственной самостоятельности, что белорусы якобы в общем «негосударственная нация» и т. д. В то же время успехи сегодняшней Беларуси в экономике, образовании, науке, культуре, спорте, во всех областях народного хозяйства неопровержимо свидетельствуют о больших государствообразующих возможностях нашего народа, которые наиболее и наилучше раскрываются именно теперь, во время, когда «*Беларусь на куце ў хаце сваёй села*» (Янка Купала). Что касается «неожиданности», «неготовности» получения белорусами суверенитета, то этот намеренный домысел опровергает, в частности, творчество народного песняра Янки Купалы, который еще в начале XX в. не только думал о государственной независимости для своего народа, но и средствами пламенной публицистики и поэзии разрабатывал ее концепцию. Что же это за концепция, в чем ее суть?

Мысленно обозрев XX в., можно легко выявить драматические и даже трагические моменты в судьбе белорусского этноса: Первая мировая, гражданская и советско-польская войны 1914—1920 гг., репрессии в Западной Беларуси и БССР в 1920—1930-х гг., Вторая мировая война 1939—1945 гг., теория и практика «слияния наций», создания «единого советского народа» послевоенного времени… Вместе с тем, можно увидеть и то главное, чего мы достигли: наконец мы стали нормальной европейской нацией! Современное наше общество («не один миллион») на прежний купаловский вопрос «*А хто там ідзе?*», без сомнения, ответит так же, как и в начале XX в., но уже полностью национально сознательно: «Белорусы!» И заслуга в этом, несомненно, прежде всего великого Янки Купалы, который в самом начале столетия, в течение трех с половиной десятилетий (самых, пожалуй, тяжелых и ответственных), опираясь на сделанное предшественниками и на своих единомышленников-современников, неутомимо и настойчиво «творил» нацию: выявлял ее самобытный духовный облик, углублял историческую память народа, расширял его национальное самосознание, гранил белорусский литературный язык, одарил белорусов литературно-художественными сокровищами мирового уровня, определял их духовные ориентиры... Причем это «творение» нации происходило поэтапно, в зависимости от конкретно-исторических обстоятельств, но (опять же, благодаря тем самым конкретно-историческим обстоятельствам) быстро, даже стремительно. Так, в 1920 г., выступая в Минске на юбилейном вечере, посвященном 15-летию своей литературной работы, Янка Купала подчеркнул: *«Ни одно в мире возрождение народа, ни одна великая идея не распространялась так быстро, как идея национального возрождения белорусского народа. И действительно. Что было пятнадцать лет назад и что мы видим теперь? Пятнадцать лет назад несколько сумасшедших голов хотели головами стену пробить — отстраивать свою закованную в многовековые оковы Отчиз-*

ну, а ныне без малого весь народ всеми силами добивается своего освобождения. Пятнадцать лет назад о независимости и подумать было опасно, — нынче наши более сильные соседи сами об этом по-государственному говорят с нами как с народом, который заслужил по людскому и Божескому праву эту независимость». К сожалению, еще очень долго, до конца XX в., белорусам «о независимости и подумать было опасно». Однако ныне, в начале XXI в., *«наши более сильные соседи сами об этом говорят с нами»*, а государственная независимость Беларуси, как и всех других суверенных государств мира, справедливо считается величайшей социально-политической ценностью.

Как мы знаем, мотивы социальной справедливости в творчестве Янки Купалы, начиная с первого стихотворения «Мужык», вырисовались в желание «очеловечить» крестьянина, сделать его полноправным гражданином, а затем — и призвать к борьбе за свои социальные права. Что касается национально-патриотических мотивов, то с самого начала они воплотились в произведениях чисто просветительского, белорусоведческого характера. Янка Купала терпеливо и целенаправленно объяснял белорусскому мужику, что он именно белорус, а не какой-нибудь «тутэйшы», «поляк» или «русский», что не надо путать веру и национальность (так называлась одна из статей писателя — «Вера і нацыянальнасць», 1914), что родина его — Беларусь, которая протянулась от Смоленщины до Гродно и Бреста, от Полесья до Виленщины, что его родное слово, хотя теперь «загнанае», однако «магутнае» и «бяссмертнае» (стихотворение «Роднае слова», 1908). Оно когда-то звучало из уст самых сановных вельмож, а белорусский язык был государственным в могучем Белорусско-Литовском государстве — Великом Княжестве Литовском... Изо дня в день, из года в год Янка Купала, как когда-то великий Тарас Шевченко украинцев, учил белорусов «*любіць свабоду, родны край і мову*» («Памяці Шаўчэнкі», 1909). В ряде произведений поэт даже идеализировал прошлое, противопоставлял его неинтересной, небелорусской современности («Над сваёй Айчызнай», «Курганы», «З мінулых дзён», «На Куццю» и др.). Однако это возвеличивание прошлого по сравнению с современностью не было самоцелью, стремлением обелить «былое» и очернить «теперешнее», а вызывалось желанием пробудить в белорусе белоруса, возродить его национальное самосознание, историческую память, очертить оптимистическую перспективу его будущего свободного и самостоятельного существования.

Никто так умело, деликатно, целенаправленно не взращивал, не создавал белорусскую нацию в начале XX в., как народный песняр Беларуси. В 1914 г. началась Первая мировая война. И Беларусь, как не раз это случалось в течение предыдущих столетий, стала ареной самых жестоких кровопролитных битв. Миллионы белорусов тронулись с мест, были мобилизованы в царскую армию (в том числе и сам Янка Купала), пошли на восток, в беженство. Затем Первая мировая война сменилась братоубийственной гражданской, которая, в свою очередь, — советско-польской войной. Под угрозой оказалось не только духовное, но и само физическое существование нации. И возрожденческо-белорусская тема у Янки Купалы отошла на второй план, а затем и вообще исчезла. Более того, как мы знаем, поэт в то время вообще перестал писать, с 1915 г. замолчал, казалось, навсегда. И только судьбоносные события 1917 г. опять призвали пророка национального возрождения к творению нации и активному определению ее форм государственного существования.

Польская оккупация Беларуси в 1919—1920-х гг. — малоисследованная историками тема. Обычно обходят этот период в жизни и творчестве Янки Купалы и литературоведы. В то же время он чрезвычайно важен, потому что как раз тогда, несмотря на разные общественно-политические условия, у Янки Купалы окончательно созрела концепция не просто национально-государственного самоопределения, а более того — независимого существования Белорусского государства. То, к чему в практике национально-государственного строительства мы пришли только в самом конце XX в., в итоге распада СССР. Народный песняр эту

свою концепцию определил не столько в стихотворных произведениях, сколько в ряде актуальных и высокохудожественных публицистических статей. Причем он ее каждый раз активно углублял, наполняя понятие государственной независимости конкретным и глубоким содержанием.

Стержневая идея этой Купаловской концепции государственной независимости Беларуси высказана однозначно: *«Только одна полная государственная независимость может дать и реальную свободу, и богатое существование, и добрую славу нашему народу»* («Незалежнасць», 1919). Поэтому он как мог расшевеливал белорусов, развеивал их надежду, что кто-то другой, а не они сами, может решить их судьбу. Анализируя в газете «Беларусь» в январе 1920 г. «Справу незалежнасці Беларусі за мінулы год» (название статьи), говоря, как после отхода немцев на «ограбленные просторы с большой прытью устремились с Востока — российские большевики, с Запада — польские националисты», Янка Купала пророчески говорил: «Прошедший год показал нам, что интернационалисты и опьяневшие от побед националисты не дадут Беларуси желанного мира и независимости. Они ее делили и будут делить между собой, пока сам белорусский народ не скажет свое последнее слово». Это, впрочем, очень скоро, в марте 1921 г., подтвердил советско-польский договор о мире, на подписание которого в Ригу даже не пригласили руководителей БССР. А согласно тому же договору половина территории Беларуси отходила к Польше…

Янка Купала хорошо понимал роль личности в обществе, в частности — в становлении национального государства. Были уже и яркие примеры такого рода: чех Томаш Масарик и поляк Юзеф Пилсудский, которые сыграли первостепенную роль в возникновении в 1918 г. новых государств — соответственно Чехословакии и Польши. Для купаловского понимания роли личности в истории много дает, например, стихотворение «Паўстань…», написанное поэтом 28 августа 1919 г. Стихотворение состоит из четырех октетов (восьмистиший), каждый из которых скреплен лексическими и синтаксическими повторами и рифмовкой и пронизан одной законченной мыслью. По жанру произведение можно отнести к стансам. Но это стансы своеобразные, новаторские. Благодаря одинаковому архитектоническому строению отдельных октетов и сквозному повтору в них одних и тех же фраз с первым побудительным словом «Паўстань…», все восьмистишия, при их самостоятельности, направлены к одной стержневой идее. Идея эта — выявить и пробудить в народе его лидеров, вождей, кто смог бы в переломный исторический момент добиться государственной независимости страны. Кого же видит Янка Купала во главе нации? Во-первых (и это знаменательно!), выдающегося мыслителя, «пророка», своеобразного «волхва», который «мудрым словом» смог бы сбросить с народа «*ўрок, якім быў век праз ворагаў спавіт*», собрал бы «*ў адну ўсю Беларусь сям'ю*». «*Паўстань з народу нашага, прарок!..*» — горячо призывает поэт.

Однако мысль, какою бы вещей, актуальной она ни была, сама по себе, пока не может зажечь сердца людей, не может стать реальной силой. Рядом с выдающимся пророком должен встать выдающийся поэт, песняр, «*былых і будучых вякоў баян*», который бы, как буря, загудел «*пад звон кайдан*», бурным словом-кличем пронесся «*над Беларусяй з краю ў край*», над курганами заиграл бы перуном, разжег бы «*ў сэрцах спячых*» священный пожар. «*Збудзіць нябожчыкаў паўстань, Пясняр!*» Только поэт, его пламенное слово, по Янке Купале, может оживить «нябожчыкаў». Оживить, чтобы они подняли гордо головы, развернули плечи, стали воинами, борцами за свой край, народ.

А среди них должен появиться один, самый смелый, мужественный, самоотверженный, который бы — «*волатам на вогненным кані*» — повел «*народ аграблены*» в поход за Отчизну, смёл бы с ее полей «*чужых бадзяк*», стал бы на вахте «*гранічнае мяжы*»… «*Паўстань з народу нашага, ваяк!*» — молит-просит Янка Купала.

Логическое же завершение усилий Пророка, Песняра и Воина поэт видит в создании Белорусского государства, во главе которого должен стать крупный

государственный деятель. Поэтому — «*Паўстань з народу нашага, Ўладар!*» Восстань, чтобы «*адбудаваць свой збураны пасад*». Своего правителя «*жджэ Беларусь даўно*», его тут ждет «*ўладарства Божы дар*»…

Таким образом, в стансах *«Паўстань…»* сконденсирована, по сути дела, вся программа национально-государственного строительства. Точнее — понимание руководящих сил этого строительства. Как будто маг-волшебник, Янка Купала вызывал из народных недр чудодейственные силы, которые смогли бы повернуть ход истории, придать уже провозглашенной Беларуси (а уже были, как мы помним, и БНР, и БССР, и Литбел) вес настоящей, а не бумажной государственности.

Паўстань з народу нашага, прарок <…>
Зняць путы Бацькаўшчыне ўстань, прарок!

Паўстань з народу нашага, пясняр <…>
Збудзіць нябожчыкаў паўстань, пясняр!

Паўстань з народу нашага, ваяк <…>
Свой край заваяваць паўстань, ваяк!

Паўстань з народу нашага, Ўладар <…>
Пад беларускі сцяг прыйдзі, Ўладар!

Очевидно, знакомый с тогдашними национальными кадрами — как со стороны большевиков, так и «незалежников», — поэт не видел среди них ни «пророков», ни «воинов», ни «песняров», хотя быть «властелинами» многие из них, несомненно, хотели. Тем более он не имел в виду Юзефа Пилсудского, человека не «из народа нашего», в чем Янку Купалу безосновательно обвиняли сотрудники НКВД в 1930 г. Что давало основание для такого обвинения? Действительно, стихотворение было напечатано в газете «Звон» ее тогдашним редактором Язепом Лёсиком 17 сентября 1919 г., за день до приезда главнокомандующего польской армии Пилсудского в Минск. Но ведь, во-первых, стихотворение было написано поэтом на хуторе Карлсберг (недалеко от Радошковичей) еще за три недели перед этим неожиданным событием, которое, разумеется, никто в то военное время не афишировал и о котором Янка Купала не мог знать. Во-вторых, Пилсудского можно было именовать «воин», даже «властелин», но только не «пророк» и не «песняр». Впрочем, песняром независимой Беларуси он мог стать и становился сам. Так же как и пророком.

Янка Купала понимал, что каждое самостоятельное государство должно иметь свою национальную символику — Флаг, Герб, Гимн. Поэт радовался, видя, что белорусский флаг, как один из основных символов независимого государства Беларусь, «*уваскрос*» («Беларускі сцяг уваскрос!»). Хуже было с гимном, с которым выходила «какая-то неразбериха». Существовало несколько песен, которые исполняли функции гимна («А хто там ідзе?», «О Божа, спасе наш», «Працуй, беларусе...», «Не загаснуць зоркі ў небе...»), но не было того одного, общепризнанного, белорусского национального гимна. «Дело это очень важное, — подчеркивал Янка Купала, — и надо, конечно, чтобы наша идейная интеллигенция — поэты и композиторы — занялись им надлежащим образом» («Справа беларускага нацыянальнага гімна»*)*. Независимое государство должно опираться на реальную силу, и не только на социально-политическую, но и военную. Самостоятельное государство не может существовать без своей армии. Потому *«армия белорусская должна быть, и она будет»,* надо *«дать белорусам возможность защищать свои пограничные столбы армией белорусской»,* ведь *«сама жизнь этого требует, требует этого самооборона»* («Беларускае войска»*)*. Поэт приветствовал создание в Минске Белорусской Военной Комиссии, которая начала регистрировать белорусов-офицеров, формировать белорусскую армию, хотя польские власти определенное время не позволяли этого, боясь (и небезосновательно), что оружие белорусов будет направлено против них.

Янка Купала, идеологически обеспечивая национальную белорусскую армию, даже написал большой цикл стихотворений-песен «На вайсковыя матывы» (1920 г.) — ради духовной пищи молодых белорусских солдат. Поэт в общем делал ставку на молодежь, радовался, что во время, когда *«широкий размах приняло наше дело по построению своего независимого Отечества»*, молодежь активно начала включаться в общественную жизнь. Он с радостью отмечал, что *«строительство независимого Белорусского государства берет в свои руки наша молодежь»,* подчеркивал: *«Сегодня у нас создается армия, создается руками этой самой горячей белорусской молодежи, создаются в городах, местечках и деревнях белорусские национальные комитеты, все руками той же самой белорусской молодежи»* («Моладзь ідзе!»). И это было не заигрывание с молодежью, а позиция человека, умудренного опытом пережитого, который видел в молодежи одну из основных движущих сил общества.

Что касается социально-политического обустройства будущей свободной Беларуси, то, согласно Янке Купале, это будет действительно демократическое государство, в котором *«все равны перед государственной властью, все равны перед правом и законом», «каждый гражданин нашей страны должен пользоваться равным почетом, равной защитой в глазах права мира»* («Незалежная дзяржава і яе народы»). Национальные меньшинства в этом государстве будут *«свободно развивать свою национальную культуру и самобытность»*, ведь *«свободный белорус в своем независимом государстве будет относиться к ним более понимающе, чем белорус, подневольный иноземцам». «Во всех государственных и гражданских учреждениях, начиная от государственного сейма и кончая местными и волостными самоуправлениями, — должны иметь свое место и национальные меньшинства, понятно, пропорционально белорусскому большинству»*

Янка Купала всегда был на стороне «бедных и загнаных», выступал за социальную справедливость. Прославляя государственную независимость, он, вместе с тем, не забывал и о социальной справедливости. Поскольку в царской России белорусы были «мужицкой нацией», то особенно острым здесь был земельный вопрос. Высказывая надежду крестьян на справедливое решение этого вопроса, Янка Купала в статье «Зямельная спекуляцыя» писал: *«Белорусский земледелец верит и ждет, что панская земля рано или поздно перейдет в его руки и что этой земли ему хватит, лишь бы только разделить ее по справедливости, как и пристало на добрый толк и лад в государстве»*. Он разоблачал «панов-помещиков», которые стали спекулировать землей, *«стараются как можно больше перегнать загонов малых и больших дворов на царские рубли»*. Причем, решение всех вопросов — от политических до социальных — поэт связывал с активностью самого населения Беларуси: *«Самый лучший друг, самый лучший спаситель наш от наших бед — это мы сами. И если не хотим погибнуть, если не хотим быть вечными рабами, — должны оставить мы дурную привычку думать, что кто-то придет и спасет нас от нашей беды, от нашей неволи»* («Больш самачыннасці»).

Независимая, свободная Беларусь в ее этнографических границах… К этому стремился Янка Купала в 1919—1920 гг., это определяло пафос его литературного творчества и общественной деятельности как Пророка и Песняра. Купала-пророк, Купала-мыслитель выдвигал идеи, определял конкретные ориентиры белорусской государственности. Купала-песняр огонь этих идей оправлял в оболочку поэтического и публицистического слова, которое стихами и статьями вспыхивало на белом поле «Беларусі», «Звона», «Руні», «Беларускага жыцця» и других белорусских изданий того времени.

Вместе с пробуждением, политической активизацией нации Янка Купала делал все ради ее консолидации. В то время шла советско-польская война, и Беларусь, как писал поэт в стихотворении «Новы год» (1919), «*бязбожна жыўцом парэзалі на часці»*. Для поэта — отца нации — самым больным было даже не это, а то, что «*брат проць брата стаў варожа // І памагае край раскрасці*».

Это было не только на белорусской территории, оккупированной легионерами Пилсудского, но и на землях, занятых Красной Армией. Пламя классовой, гражданской борьбы уничтожало, испепеляло молодую белорусскую нацию, обескровливало ее. Янка Купала как идеолог национального возрождения не мог не видеть этой опасности. И он, с одной стороны, группирует национальные силы, объединяет их. Пишет стихи, статьи, берется даже за перевод «Слова о полку Игореве», вдохновленный его консолидирующей идеей — единение восточнославянских княжеств перед угрозой татаро-монгольского нашествия. Конечно, и угроза в начале XX в. была совсем другая, и не всех восточных славян, а белорусские национальные силы имел в виду переводчик. Но сверхзадача Купалы-переводчика была та же, что и у автора «Слова»: группировать, консолидировать народ ради его же будущего. С другой стороны, поэт выступает против разных предателей, отщепенцев, которые за ложку похлебки с чужеземного стола готовы предать национальные интересы. В стихотворении *«Пяць сенатараў»* Янка Купала язвительно высмеял отщепенцев, которые не стеснялись унизиться, лишь бы только получить подачку от поляков. Вместе с тем он разоблачает политическую торговлю «восточников» и «западников», которые, прикрываясь высокими словами об освобождении народов, во имя *«панавання ўсясільнага молаха-золата»* решают свои дела за счет этих народов.

Надо сказать, что Янка Купала нисколько не унизил своего шляхетского достоинства не то что прислуживанием, но даже и симпатизированием польским оккупантам. С другой стороны, не злоупотреблял он и относительной безопасностью, чтобы из-за линии польско-советского фронта «доставать» большевиков. Поэт с позиции белорусского незалежника, с высоты белорусской государственности довольно объективно оценивал действия и первых, и вторых. Хотя такая объективность в то военное время требовала немалой смелости, мужества. Ведь прилюдно сказать в начале 1920 г., что «*праз два гады на Беларусі // Народ аб радасці не сніў*», что «*ўсюды шалее катні здзек і гнеў*» и всюду «*звініць ланцуг, як і звінеў*» (стихотворение «25.III.1918-25.III.1920. Гадаўшчына-памінкі») — это значило противопоставить себя польским властям, самому Пилсудскому, которые на весь мир заявили об освобождении белорусов из-под «большевистского гнета». Янка Купала даже в присутствии польских военных властей гордо заявлял: «*Перуновым голасам будзем гаварыць з суседзямі сваімі, бліскавічнымі літарамі будзем упісваць сваю гісторыю ў векавечную кнігу гісторыі народаў*».

Такие основные пункты купаловской концепции государственной независимости, выработанные (выстраданные) им с думой про Беларусь. Логику Пророка дополняли эмоции Песняра, который, сам горячо поверив в идею национального возрождения, зажигал этой идеей других: *«Орлиным взмахом огнецветной мысли о нашей свободе мы сбросили и растоптали долговечную брехню, — брехню, что Беларуси не было и нет. Своим достопамятным и могучим духом народным, что отважно взлетает к солнцу, мы показали миру, что Беларусь была, есть и будет»* («Прамова на 15-годдзі літаратурнай працы», 1920). И эту веру поэта не поколебали уже никакие вьюги, хотя очень скоро его надежда на существование независимой Беларуси угасла. Однако, как мы видим, не окончательно. И сегодня, живя в независимой Республике Беларусь, учась жить в условиях самостоятельного государства, мы должны помнить обо всех, кто радел о независимом государстве для белорусов. И в первую очередь — о великом Янке Купале.

Перед новым будущим

11 июля 1920 г. части Красной Армии опять вошли в Минск. 30 июля была перепровозглашена БССР, поскольку то первое, смоленское, провозглашение республики было упразднено образованием Литбел и о нем мало кто и помнил. А

в марте следующего года в Риге был заключен советско-польский мирный договор, который по живому разделил пополам Беларусь, закрепил за Польшей все западнобелорусские земли. В жизни Янки Купалы открылась новая страница…

Хотя и на очень небольшом островке своей этнографической территории (остальная оказалась в составе Польши и РСФСР) Беларусь — наперекор внутренним и внешним антибелорусским силам — все же существовала. Существовала в конкретной государственной форме советской социалистической республики. Конечно, Янка Купала надеялся не на такое решение социальных и национальных проблем родного народа. Он хорошо помнил работу «чрезвычайки» в 1919 г., в промежутке между немецкой и польской оккупациями Беларуси: *«О Беларуси тогда нельзя было и заикнуться<…>. Курганы сотен невинно расстрелянных… Над Минском повис кровавый кошмар. Люди на улицах боялись вслух говорить. Каждую ночь — повальные обыски…»* («Справа незалежнасці Беларусі за мінулы год»). Идеалы Октябрьской революции (власть — трудящимся в форме советов, фабрики — рабочим, земля — крестьянам, подневольным нациям — национально-государственное самоопределение) Янке Купале, как человеку из народных недр, были близки. Собственно, за эти, или приблизительно такие, идеалы он и боролся все предоктябрьское время, ими он жил, о них мечтал. И вот теперь, несмотря ни на что, на политической карте мира появилась его, Янки Купалы, республика — Беларусь! Причем БССР, как и РСФСР, Украина, Закавказская Федерация, провозглашалась как независимая республика, связанная с остальными тремя на основе двухсторонних соглашений. Это потом уже, в конце 1922 года, Сталин задумает оставить одну РСФСР, включив в нее три остальные как автономии, и больному Ленину придется приложить титанические усилия, чтобы хотя бы номинально оставить не одно унитарное государство, а союз государств — СССР. Как самостоятельный субъект международного права, Беларусь начали признавать некоторые страны. Да и *«эти советы»* были уже несколько иные, чем «те», прежние, — и в идеологическом, и в социальном, и даже в национальном отношении. Как-то незаметно в Беларуси не стало армянина Мясникова (Мясникяна), латыша Кнорина (Кнориньша)… Во властных структурах появились не только этнические, но и убежденные белорусы: Александр Червяков, Николай Голодед, Всеволод Игнатовский, Дмитрий Жилунович, Язеп Адамович, Александр Адамович, Дмитрий Прищепов, Антон Балицкий, Петр Ильюченок…

Конечно, Янка Купала не мог знать того, что мы знаем сегодня, а именно жестокой борьбы в руководстве РКП(б) между представителями двух линий — ленинской и сталинской. Эта борьба, которая влияла на конкретную политику, касалась разных аспектов: экономики, национального строительства, отношения к крестьянству, к интеллигенции, даже морали… Ленин, не в пример Сталину и некоторым другим тогдашним руководителям партии, обладал гибкостью мышления, был не только умелым стратегом, но и тактиком. Так, когда он увидел, что «военный коммунизм» страшнее Антанты и советская власть может быть задушена смертельной рукой голода, он убедил партию в необходимости новой экономической политики (НЭП) — развития рыночных отношений, существования частного капитала, замены продразверстки продналогом и др. Причем, согласно Ленину, НЭП устанавливался «всерьез и надолго». В общем, после Октября Ленин пересмотрел многие свои прежние взгляды и пристрастия, стремился, как он говорил, «изменить всю точку зрения на социализм». К сожалению, болезнь, отстранившая его от власти, и ранняя смерть не дали ему до конца исполнить задуманное…

Значительно пересмотрел Ленин и свое прежнее (по сути дела — Маркса) понимание национального вопроса, где классовое, социальное доминировало над национальным. Стремясь к тому, чтобы коммунистическая идеология проникла во все, в том числе и в национальные, общественные сферы, Ленин в тезисах по национальному вопросу, которые легли в основу решений X съезда РКП(б) (март 1921 г.), а также в продиктованном на больничной кровати обращении к партии

(«К вопросу о национальностях или о «автономизации», декабрь 1922 г.) стал, по сути дела, на позиции национал-коммунистов, которых затем стали оскорбительно называть «нацдемами» (национальными демократами). Ленинские идеи легли в основу «коренизации» — тогдашней официальной политики КПСС по развитию культур ранее угнетенных, русифицированных царской Россией наций, внедрения их родных языков в разные сферы науки, культуры, партийного и государственного строительства. В Беларуси такая политика получила название белорусизации. Не удивительно, что Сталин, который всегда по этому вопросу оставался на позициях Карла Маркса (задача коммунизма — создать классово однородное общество, ликвидировать разнообразие государств, наций, культур, языков) и настойчиво стремился стать во главе новой, советской империи, за глаза называл Ленина «национальным либералом».

Разумеется, Янке Купале были ближе ленинские постулаты, которые находили тогда воплощение в некоторых партийных решениях, в высказываниях и практической деятельности отдельных представителей новой белорусской власти. Он — и не только он — убеждался: советская власть на деле стремится решить национальный вопрос, создать надлежащие условия для развития белорусского языка, культуры, науки, народного хозяйства. Преимущества советской национальной политики особенно были видны в сравнении с тем, что делалось на западно-белорусской территории. В то время как в Польше закрывались белорусские школы, преследовались белорусские общественные организации, издания, в БССР открывались национальные учебные и научные учреждения, библиотеки, музеи, архивы, театры. Так, в 1920 г. начали работу Белорусский первый театр (теперь — Национальный академический театр имени Янки Купалы) и Белорусский третий театр (странствующий театр Владислава Голубка), в 1921 г. — Белорусский государственный университет, в 1922 г. — Институт сельского и лесного хозяйства (в 1925 г. преобразованный в Белорусскую государственную академию сельского хозяйства), Институт белорусской культуры, из которого в 1929 г. выросла Белорусская Академия наук, Университетская и Государственная библиотеки, Государственный музей, Центральный архив и др. Возникли Государственное издательство Беларуси (1921), белорусскоязычные периодические издания: в 1920 г. — журналы «Вольны сцяг», «Зоркі», газета «Савецкая Беларусь» (до 1933 г. выходила на белорусском языке), в 1922 г. — журнал «Полымя», в 1923 г. — журнал «Маладняк» и др. Белорусский язык постепенно становился языком делопроизводства, официальным языком государственных и общественных учреждений. В июле 1924 г. на второй сессии ЦИК БССР было принято постановление «О практических мероприятиях по проведению национальной политики», которой официально провозглашался переход к политике белорусизации. Существенно расширились административно-территориальные границы БССР. В 1924 г. по решению ЦИК СССР, к республике отошли 15 уездов и ряд волостей Витебской и Смоленской губерний, в 1926 г. — Гомельский и Речицкий уезды РСФСР. Не забывались в то время и культурные потребности национальных меньшинств тогдашней Беларуси. Наряду с белорусским, государственными языками в республике были объявлены русский, польский и еврейский. Белорусский считался основным, поскольку свыше 80 % населения являлись белорусами, но во всех государственных учреждениях принимались документы и на остальных языках. Более того, создавались национальные сельсоветы (еврейские, польские, литовские и латышские), возникали национальные государственные театры (русский, еврейский и польский), выходили книги и газеты на разных языках.

Такая реальность Янке Купале была по нраву. В ней он стал активно участвовать: редактирует журнал «Вольны сцяг» (1920—1922), начиная с 1921 г., работает в Научно-терминологической комиссии Народного комиссариата просвещения БССР (позже — Института белорусской культуры), избирается председателем ее литературно-художественной секции. Активно занимается и литературным творчеством. Приветствуя земляков с Новым, 1922 годом, предчувствует новое, более

благоприятное для белорусов, время: : «*З Новым годам, што крыніцай // Новай пойдзе ў пераходзе, // Беларуская зямліца» // Беларускі мой народзе!*» («З Новым годам!»). Радуется, что «Вяртаюцца з выраю жоравы, гусі…» (1921) — возвращаются сыновья белорусские на свою Отчизну-Беларусь. Переводит на белорусский язык партийный гимн «Интернационал» (1921), восславляет революционера-романтика, главного редактора «Савецкай Беларуси» Степана Булата («На смерць Сцяпана Булата», 1921), первого председателя правительства БССР Дмитрия Жилуновича («Цішку Гартнаму», 1923), историка и общественного деятеля, наркома просвещения БССР Всеволода Игнатовского («Наш летапісец», 1924). Искренне радуется за Ленина и большевиков, которых, наконец, начала признавать Европа и пригласила на международную конференцию в Геную («Пазвалі вас», 1922), пишет приветствие делегатам IV Всебелорусского съезда Советов (1922)…

В то же время поэт, радуясь всему новому, что принесла революция белорусам, не мог не обращать внимание и на отрицательное. В частности, оно у Янки Купалы воплотилось в аллегорическом образе трутня, который «*пустапасам жыў*», но «*няяк з пчолкамі здружыў*», проник в улей и вот — «*Пчолкі мёд нясуць да сот, // Труцень есць ды есць той мёд*» («Бай», 1921). Каждый читатель стихотворения Купалы представлял своих «трутняў». Но то, что они существовали — или внутренне переродившись, отрекшись в мирное время от прежних революционных идеалов свободы, равенства и братства, или примазавшись, приспособившись к новой власти, — в этом не было сомнения. Одного из таких «трутняў», «тутэйшых» приспособленцев к любой власти, в том числе и к советской, Микиту Зносака остро высмеял Янка Купала в комедии «Тутэйшыя» (1922). Действие комедии происходит в Минске в 1918—1920 гг., когда власть несколько раз переходила из рук в руки: советская — немецкая — советская — польская — опять советская… В соответствии с этим «тутэйшы» Микита меняет свою политическую ориентацию, свое поведение, даже фамилию: из Зносака становится то Зносиловым, то Зносиловским. Наконец, услышав, что *«заводится какая-то, меджду протчим, Белорусская Республика»,* готов стать *«на белорусскую сторону»…*

Мы говорили о борьбе в руководстве коммунистической партии и советского государства разных политических линий. Интересно, что и Янка Купала как поэт своеобразно подключился к этой борьбе. Его стихотворение «…О так! Я — пралетар!..» (1923) не имеет названия, начинается с многоточия, начальной недосказанности. Тем самым поэт словно включается сразу в дискуссию, дискуссию по национальному вопросу. Стихотворение — яркий пример ролевой лирики: его автор выступает от имени *«Я-пралетара*», вчерашнего «*раба пакутнага*», а сегодня «*цара магутнага*», «*зямлі ўладара»*. Кстати, этот образ «раба-цара» поэт еще раньше употребил в стихотворении *«Пазвалі вас»* («*І вы з рабоў пайшлі ў цары*»). «Пралетар» исповедуется: «*Мне Бацькаўшчынай цэлы свет. // Ад родных ніў я адвярнуўся*». Для него это естественно, ведь он слепо верит в то, что «коммунизм сотрет все границы» (лозунг большевиков). Одна «бяда», которую он еще «не збыў», не дает ему покоя: «*Мне сняцца сны аб Беларусі*». Зная Янку Купалу, его непоколебимый патриотизм, нельзя тут не почувствовать могучей иронии по отношению к этой исповеди «Я-пралетара», в сборный образ которого укладывается не только белорусофоб Кнорин, но и сам Сталин. Именно сталинский «интернационализм» (понимай: космополитизм) поэт и «поддел» иронично в своем стихотворении. «Карыкатура на пралетарскі інтэрнацыяналізм», — так откровенно злобно, но в общем правильно определил суть купаловского произведения один из тогдашних белорусских критиков.

Интонационная палитра Купалы-поэта очень широкая: спокойный рассказ-рассуждение сменяется пламенным пафосом, улыбка — грустью, ирония — сарказмом. В 1922 г. поэт написал одно из программных стихотворений нового времени «Перад будучыняй». В нем он с открытым

забралом вышел в бой против тех, кто «*засеў за наш бяседны, сытны стол // І кідае, як з ласкі, нам агрызкі, // А мы к зямлі з падзякай гнёмся ў пол*». Это уже не просто «трутні», а «трутні»-хозяева в чужом доме. Поэтому здесь не к месту ни улыбка, ни даже ирония, а острый сарказм, посредством которого поэт стремился разбудить нацию, национальную интеллигенцию от, к сожалению, традиционной культурно-политической белорусской спячки, призвал белорусов активнее — с думой о будущем — включаться в государственное строительство, не бояться вместе с должностями брать на себя ответственность за свою республику, ее экономику, культуру, науку, суверенитет… При этом Янка Купала не жалел острых, по-народному остроумных выражений для характеристики национальной интеллигенции, характеристики горькой, но справедливой: «*Заціснуты, задушаны, як мышы // Пад жорсткім венікам…*»; «*Пакрыўленыя колісь нашы душы // Дагэтуль выпрастаць не ў моцы йшчэ*»; «*Мы ў страху… дум крутня… разбежнасць… // Без толку крыллем лопаем, як цьмы*»; *«Нат у вочы глянуць, плюнуць смела // Не смеем, стоптаныя на пясок»* и т. д. Как тут не припомнить написанную им при польской оккупации статью «Больш самачыннасці» (1919) с его призывом: *«Так больше самостоятельности, больше смелости в строительстве своей новой независимой жизни!»* Еще тогда поэт призывал *«оставить плохую привычку думать, что кто-то придет и спасет нас от наших бед, нашей неволи».* Теперь он также — только уже с сарказмом — говорит о том же самом: *«…прысягаем, клічам Бога ў сведкі, Што мы — не мы, што нехта вінават…»*

Стихотворение «Перад будучыняй» оказалось настолько остро актуальным, что тираж альманаха «Адраджэнне» (1922), в котором он в первый и последний (при жизни поэта) раз печатался, был конфискован. Однако Янка Купала все-таки успел познакомить с ним уважаемую аудиторию — 19 марта 1922 г. в БГУ, на вечере, посвященном его творчеству.

Перевод с белорусского Натальи КАЗАПОЛЯНСКОЙ.

Окончание следует.



Немезида из глубинки, или Робин Гуд в джинсах

Хрестоматийное лермонтовское из его известного стихотворения «Бородино» — «Смешались в кучу кони, люди…» — вспоминаю не только тогда, когда появляется желание оживить память какими-либо бессмертными строками великого поэта. Иногда это происходит и по другой причине. Притом, как говорится, по ассоциации. Достаточно взять в руки книгу кого-либо из так называемых продвинутых авторов, а тем паче из тех, кто на такую роль претендует, для кого реализм даже и не социалистический, как бельмо в глазу, стоит в произведение такого автора немного вчитаться и впору за голову схватиться. Смешалось, все смешалось! Правда, не кони, не люди, а жанры. Под одной обложкой чего только нет! Будто винегрет какой.

Предвижу, что въедливый читатель готов уже скептически ухмыльнуться. Мол, дописались, писаки. Мало того, что в последнее время, по сути, исчезли истинные художественные произведения, достойные внимания, так еще и критики начинают умничать, оригинальничать вместо того, чтобы сразу переходить к анализу конкретного произведения. Последний упрек в чем-то принимаю. Но дело в том, что этот винегрет… Хотя, извините, видимо, и в самом деле лучше сказать, как-то мягче, например, коктейль. Этот литературный коктейль налицо и в романе Леониды Подвойской «Алена», пополнившем «Библиотеку Союза писателей Беларуси». В произведении Л. Подвойской также вроде бы все смешалось: фэнтези и детектив (последнее и повлияло на то, что книга появилась в серии «Современный детектив»), фантастика и триллер, мистика и драма.

Однако ощущение литературного коктейля появляется только при первом чтении романа. Последующее же чтение — более углубленное постижение сути произведения, проникновение в характеры, стремление лучше воспринять то, что создал писатель, — показывает, что роман — цельный, живой организм.

«Алена» — второе произведение писательницы (первый роман «Максим» вышел в 2010 году). Л. Подвойская — по профессии юрист, что, несомненно, помогло убедительно выписать те сюжетные линии, в которых в той или иной степени затрагивается деятельность правоохранительных органов, а также все то, что связано с соблюдением закона или нарушением его. А насчет литературного коктейля… На творческой кухне, как и на кухне вообще, пусть такое сравнение в данном случае не покажется неуместным, все зависит от хозяйки. Умелая, с тонким вкусом, приготовит такое…

Именно такой умелой литературной хозяйкой, судя по роману «Алена», и является Л. Подвойская. Фэнтези и детектив, фантастика и триллер, мистика и драма, соединенные вместе, благодаря мастерству автора превращаются в психологический роман, происходящее в котором хотя в чем-то и далеко от реальности, но, как сказано в аннотации, «происходит в мире, так похожем на наш». Впрочем, аннотация подана так, что хочется сразу же взять книгу в руки:

«Если фее обломать крылья — она станет ведьмой. Даже если была доброй феей.

Так «ломают крылья» Алене — девушке из глубинки, а ее паранормальные способности пытаются использовать в своих целях негодяи разных калибров и континентов.

Но критическая масса жесткости и подлости порождает еще одну способность — убивать. И Алена обращается в Немезиду — грозную богиню возмездия, в абсолютное оружие».

Так кто же она, эта Немезида из глубинки? Вроде бы «девушка как девушка. Стройненькая, симпатичная, хотя все девушки в юности симпатяшки. Пухленькая верхняя губка создает видимость постоянной улыбки, и хочется улыбнуться в ответ. А вот глаза — нежно-васильковые, но какие-то застывшие сейчас. И вообще лицо — застывшее. Простенькие джинсики и кроссовки. Маечка-безрукавка. Но это зря, потому что на правом запястье — ужасный шрам от ожога, словно кто-то засунул эту ручку в раскаленную спираль. И еще — большая прядь седых волос в русой косе».

Внешность не может сказать все, что определяет поведение героини, является ее сутью. А это прежде всего высокая нравственность и порядочность. Следовательно, героиня Л. Подвойской не принимает всего того, что идет вразрез с этими понятиями. Она убеждена: «подлость разъедает организм». Это те язвы общества, которые, если с ними не бороться, уничтожат его. Поэтому она и превращается как бы в Робина Гуда в джинсах, чтобы бороться со злом во всех его проявлениях. Но если Робин Гуд нападал на богатых, чтобы помочь бедным, то Алена идет иным путем. Она одним направлением внутренней энергии готова парализовать или даже убить того, кто, по ее мнению, того заслуживает.

Может возникнуть вопрос, а не вывела ли Л. Подвойская эдакого монстра, который из-за своей озлобленности на свет и людей становится вершителем их судеб? Если иметь в виду взаимоотношения Алены с обществом, то у нее есть все основания для того, чтобы озлобиться. Она выросла в неблагополучной семье — отец пил, она мало видела радости в жизни и в свои пятнадцать лет успела во многом разочароваться. Но самое страшное в том, что общество не защищает ее, а, по сути, бросает в пропасть. Ни в чем не повинного отца-шофера объявляют виновником аварии, в которой погибли люди. Когда он находится под следствием, против него применяют физическое воздействие. Мать, видя несправедливость, от переживаний умирает — не выдерживает сердце. Поняв безысходность положения, накладывает на себя руки отец. Есть из-за чего ожесточиться героине. И Алена решает отомстить виновным.

Если же отбросить все то, что делает ее в какой-то степени сверхчеловеком, то это обычная девчушка, из тех, кто, к сожалению, недополучил в жизни добра, ласки, от кого судьба, если разобраться, отвернулась. Однако если других в таких случаях она ломает, то Алену, наоборот, закаляет. У героини Л. Подвойской сильный характер. Но немаловажно и другое: Алена способна и на сострадание, чужую боль она воспринимает как свою собственную.

Впечатляет эпизод, в котором рассказывается, как девчушка спасла матерого волка, который впоследствии отплатил добром за добро: «Заступником и спасателем оказался серый зверюга — некогда излеченный Аленой волк. Только сейчас он был здоров и страшен в своем волчьем гневе. Васо уже лежал с разорванным горлом, пытаясь его зажать и постепенно затихая. Сейчас зверь сбил с ног «оператора». Затем, собравшись для очередного прыжка, повернул жуткую окровавленную морду к последнему из негодяев».

Добро рождает добро, а зло плодит себе подобное. Такое утверждение, конечно, не ново. Новое в том, как Л. Подвойская об этом рассказывает: ей удается то, что, если следовать аннотации, «происходит в мире, так похожем на наш», соотнести с тем, что происходит в нашем мире, а также с тем, что происходит со всеми нами. Независимо от того, где мы живем. В романе происходит как бы путешествие в пространстве. Но где бы ни очутилась волей обстоятельств главная героиня,

проблемы везде, по сути, одни и те же. Общество и нравственные устои разъедают пороки — жажда денег, насилие, цинизм, разврат. Цивилизация, как известно, проникла уже во все уголки земного шара, даже в джунглях, где проживают представители древнего племени, знают, что такое телевизор, мобильный телефон. А нынешний вождь его — сродни тем, с кем приходится вести борьбу Алене.

Роман «Алена» убедительно свидетельствует о том, что юрист по образованию Леонида Подвойская по призванию, безусловно, писатель. Ее первые произведения, в частности роман «Алена», написаны опытной рукой, что само по себе случай редкий. Обычно литераторы начинают с малых жанров и постепенно приходят к большим — повести и роману. Хотя, как давно подмечено: любое правило имеет исключения. Из белорусскоязычных писателей хороший пример тому — творчество Георгия Марчука, который, не пробуя себя в жанре рассказа, сразу взялся за роман «Крык на хутары». Л. Подвойская, как видим, пошла тем же путем, и, чего нельзя не увидеть, уверенно осваивает этот непростой жанр. Желая ей дальнейших творческих успехов, хотелось бы только обратить внимание на одно обстоятельство.

Я бы посоветовал Л. Подвойской экономнее использовать линии, ситуации, сюжетные ходы, которых предостаточно рождает ее богатая творческая фантазия. Вряд ли стоит так нерачительно обходиться с ними. Например, перечитывая роман, ловил себя на мысли, что история о том, как главная героиня очутилась на американском континенте, могла бы прозвучать и как отдельная повесть. Нет, эти разделы из сюжетной канвы произведения не выпадают, но, право, как-то жалко становится, что такой интереснейший материал стал только частью чего-то. Но я все же не о том, что могло бы быть. Да и не о том, что еще будет. Я прежде всего делюсь впечатлениями от романа, принесшего мне, читателю, столько радости.

Алесь МАРТИНОВИЧ



Анатоль КРЭЙДЗІЧ.
Роднае, шчымлівае. Кніга прозы.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2012.

В многожанровой новой книге Анатоля Крейдича «Роднае, шчымлівае» читателя, как мне кажется, в первую очередь привлечет документально-художественная повесть «Богаў сон». Причем в равной степени как тех, кто внимательно следит за творчеством самого писателя, так и приверженцев творчества известного белорусского художника Янки Романовича, а именно он и является героем этого произведения. Живя в деревне Мотоль Ивановского района, он никогда не чувствовал (да и не чувствует) себя провинциалом ни в жизни, ни в творчестве. Об этом свидетельствует и то, что его хорошо знают в десятках стран, где он принимал участие в выставках. Рассказывается в книге также и о других замечательных людях Брестчины. Привлекают внимание и размышления, до этого увидевшие свет в авторском проекте «100 пісьменніцкіх радкоў». На вклейке книги помещены репродукции нескольких картин Я. Романовича.

Мара ЛЕВИНА.
Копилка для мелочи. *Рассказы. Повесть.*
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2012.

В предисловии «Тонкие игры жизни» лауреат Государственной премии Республики Беларусь Раиса Боровикова замечает: «Жизнь так часто играет с нами, и показать, раскрыть это так психологически тонко, изящно, ненавязчиво смогла в своей книге Мара Левина, чья проза, безусловно. станет для читателя открытием. Подчеркиваю: п р о з а, потому как с творчеством Мары Левиной читатель уже знаком. Несколько лет тому назад в одном из московских издательств вышла книга ее стихов «Полнолуние не тает», а белорусский читатель мог познакомиться с поэзией Мары Левиной на страницах журнала «Нёман» и других периодических изданий». В книгу вошли повесть «Былое и Серафим» и девять произведений «малого жанра», среди которых «легкая пародия на дамский роман» под названием «Шедевр».

Наследие православной Беларуси = Tne Orthodox Heritage of Belarus.
Составитель С. Бегиян, перевод на английский язык А. Цариковой.
Мн.: Белорусская Православная Церковь, 2011.

Слова святителя Феофана Затворника: «Здесь будете вы воодушевляться к доброделанию примерами святых… Здесь вы слышите и даже осязаете истину Божию; храните же и свидетельствуйте сию истину всюду и пред всеми» приобретают особое звучание, когда знакомишься с книгой-альбомом «Наследие православной Беларуси», текст которой подан на русском и английском языках. Благодаря богатейшему фотоматериалу можно познакомиться с храмами, монастырями, иконами и другими святынями нашей страны. «Красота таких произведений, — говорится в предисловии, — безупречна, так как они отображают истину, безупречность произведения — мерило его истинности. Так безупречно гармонична «Троица» преподобного Андрея Рублева, так безупречен храм Покрова на Нерли… Поэтому хочется, чтобы взгляд на красоту побудил читателя поискать эту красоту в себе, найти ее и развить до того состояния, когда уже не нужно «ни Рима, ни Иерусалима». Так и хочется добавить: да станут благие намерения реальностью.

Песочное время.
Новая женская проза. Составитель, автор вступительной статьи Олег Ждан.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2012.

Кто она, современная женщина? Чем она живет, как живет… Что ее волнует, о чем она заботится… На эти и сопутству-

ющие им вопросы пытаются дать ответ писательницы Лина Богданова («Черемуховые страдания»), Ирина Дегтярева («Песочное время»), Валентина Кадетова («Тест на первую любовь»), Маргарита Прохар («Жизнь плохого человека»). В предисловии «Ожидание и надежды» составитель книги Олег Ждан признается: «Мы намеренно выбрали произведения на самые разные темы: здесь и — традиционно — любовь, и война, и школа — темы, которые во все времена будут важными, и жизнь «новых» эмигрантов». Он же завершает свое предисловие так: «Когда минует острая фаза кризиса, мы увидим, что многое сделали не так, как следовало, поступали правильно или недальновидно. Однако ясность придет потом, позже, когда общество обретет новую перспективу, а пока приходится жить так, как предлагают обстоятельства, сражаться за свое личное будущее, за ближайший день. Но главное — есть ситуации, в которых нет иного выхода, нежели тот, который выбирают герои этой книги». Что ж, хотя и верим на слово, однако читателям лучше во всем убедиться самим, прочитав эту книгу, вышедшую в серии «Библиотека журнала «Нёман».

Ольга ТАЛАНЦЕВА.
Философия элитаризма в прозе Анатолия Андреева.
Монография. Мн.: Издательский центр БГУ, 2012.

Творчество прозаика Анатолия Андреева (он успешно выступает также и как историк литературы, литературовед) хорошо известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Тем паче приятно, что появилась посвященная ему монография, в которой с культурологических позиций осмысливается феномен элитаризма (персоноцентризма) как своеобразная «программа» развития русской литературы XIX—XX вв. Исследование рассчитано как на специалистов, так и на всех, кто интересуется проблемами современной литературы. В качестве приложения в книге помещены: «Заветный вензель» (заметки профессора Андреева Анатолия о романах Анатолия Андреева), его статья «Большие секреты малой прозы: попытки автоинтерпретации», автобиография, библиография работ об авторе.

Василь СЛУЦКИЙ



Имена

История одного посвящения

Если мы не спеша перелистаем первый и единственный прижизненный сборник стихотворений Максима Богдановича «Вянок», который вышел в конце 1913 года в Вильно, то непременно обратим внимание на одну из его особенностей. Из всех 108 стихотворений, помещенных в нем, только одно имеет специальное посвящение. Это сонет («Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі…»), адресованный А. Погодину.

Однако знатоки творчества Максима Богдановича непременно заметят, что подобное посвящение не единственное: весь сборник «Вянок» был адресован поэтом Сергею Полуяну, а это значит, что посвящение А. Погодину второе, а не первое. На это замечание скажу следующее.

2 ноября 1926 года В. Ластовский в своем письме в Литературную комиссию при Инбелкульте, готовившей избранные произведения М. Богдановича, писал, что Максим свой сборник первоначально назвал «Кніжка выбраных вершаў». Название же «Вянок» и записку «На магілу С. Е. Палуяна» дал сборнику В. Ластовский в связи с тем, что Максим Богданович был в близком знакомстве с Полуяном. Поэт был очень доволен придуманным Ластовским заголовком для своего сборника, а заодно и посвящением его рано умершему другу. Но каких-либо письменных свидетельств самого М. Богдановича на этот счет нет, а черновик сонета («Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі…») с посвящением его А. Погодину сохранился в архиве поэта, кроме того, остался текст этого сонета и на русском языке, что может свидетельствовать об отправке его самому А. Погодину. Это дало мне основание считать данное посвящение единственным в сборнике «Вянок».

Но если о Сергее Полуяне — студенте Киевского университета, сотруднике газеты «Наша Ніва», талантливом белорусском писателе, в возрасте двадцати лет покончившем с жизнью, нам кое-что известно, то о А. Погодине — очень и очень мало. Белорусские исследователи по-разному характеризуют эту личность. Так, С. Х. Александрович в 1978 году писал: «А. Пагодзін — прафесар Харкаўскага ўніверсітэта, цікавіўся беларускім нацыянальна-вызваленчым рухам». Н. Б. Ватаци в 1986 году называет его «вядомым рускім публіцыстам і літаратуразнаўцам». Вот, пожалуй, и все сообщения об А. Погодине. Как видим, они чрезвычайно скупы. А ведь в рассматриваемое нами время А. Погодин был уже известным историком-филологом славистом. Но, пожалуй, самое главное, он — белорус, наш соотечественник, а звали его Александр Львович.

Родился он 3 июня 1872 года в Витебске. Успешно окончив местную гимназию, поступил в Петербургский университет, где его учителями были профессора В. И. Ламанский и А. И. Соболевский. Именно по их рекомендации по окончании в 1894 году курса он был оставлен для подготовки к званию профессора славянской филологии. Уже с 1896 года Александр Львович начал читать лекции по славянским древностям в Петербургском археологическом институте, а с 1897 года, в звании приват-доцента, — в Петербургском университете.

В 1901 году А. Л. Погодин защитил магистерскую диссертацию «Из истории славянских передвижений» и перешел в Варшавский университет, где в качестве экстраординарного профессора читал лекции по славянской филологии. Здесь в 1904 году он защитил докторскую диссертацию «Следы корней — основ в славянском языке», которая вышла отдельным изданием в Варшаве.

С 1908-го по 1910 год Александр Львович — профессор Высших женских курсов в Петербурге. В этот период он начал активно заниматься публицистической деятельностью, которую успешно продолжал в Харьковском университете, будучи ординарным профессором на кафедре славянской филологии.

В 1919 году А. Л. Погодин эмигрировал, жил в Югославии, был лектором русского языка и русской литературы в Белградском университете. Помимо этого Александр Львович читал также и публичные лекции, которые пользовались большой популярностью. Но имя Александра Львовича надолго было предано забвению в родной стране.

В 1932—1936 годах А. Л. Погодин издал в Белграде двухтомную «Русско-сербскую библиографию. 1800—1925». Она вышла

на сербском языке и получила высокую оценку научной общественности.

В 1939 году Александр Львович был избран профессором Белградского университета, но немецкая оккупация Югославии прервала его научную деятельность, он был уволен.

Умер А. Л. Погодин 16 мая 1947 года в Белграде, где и похоронен.

По своему мировоззрению Александр Львович был буржуазным либералом, поддерживал кадетскую партию. Доверием царских чиновников не пользовался, так как считался «большим крамольником» и фрондером. Работая в Варшаве, А. Л. Погодин ратовал за организацию польского университета и за предоставление Польше политической автономии в рамках, конечно, Российской империи.

Наряду с узкоспециальными трудами А. Л. Погодин писал сочинения обзорного характера, например: «История Сербии» (СПб., 1909), «История Болгарии» (СПб., 1910), «Славянский мир» (М., 1915) и другие. Много статей Александр Львович написал для «Энциклопедического словаря» братьев Гранат. Опубликовал значительное количество рецензий и публицистических статей о славянах в различных журналах.

Особенно ценны труды А. Л. Погодина по польской истории. Они освещали некоторые неразработанные вопросы политического развития Польши, например, книга «Главные течения польской политической мысли», которая вышла в Петербурге в 1907 году. Национально-освободительную борьбу польского народа и историю общественной мысли на польской земле Александр Львович рассматривал с либеральных позиций, осуждая политику угнетения Польши русским самодержавием, а также Австрией и Пруссией, и одновременно отвергая революционный путь решения польского вопроса.

Среди научных публикаций А. Л. Погодина большое место занимали лингвистические труды. Кроме означенных выше, необходимо назвать «Язык как творчество. (Психологические и социальные основы творчества речи)», вышедший в Харькове в 1913 году. Не прошел Александр Львович и мимо литературоведческих вопросов. Известно, что он слыл большим знатоком творчества нашего соотечественника Адама Мицкевича и издал двухтомную монографию о поэте в Москве в 1912 году.

Такова в общих чертах биобиблиография нашего соотечественника А. Л. Погодина, которому посвятил одно из лучших своих произведений Максим Богданович. Невольно напрашивается вопрос: как они познакомились?

Оказывается, помимо исторических и славяноведческих вопросов Александр Львович, как истинный белорус, интересовался не только историей, но и культурной жизнью своего родного края. Так, в первом номере журнала «Вестник Европы» за 1911 год Александр Львович поместил статью под названием «Белорусские поэты». В ней он, в частности, писал: «Вот уже пятый год выходит еженедельная газета «Наша Ніва», единственный орган, через который в глушь Белоруссии проникает свет современной культуры. «Наша Ніва» печатает рассказы и стихи, выпускает в виде приложения историю Белоруссии, сборники стихов и т. д. Просматривая этот журнал (здесь Погодин оговорился, назвав «Нашу Ніву» журналом. — *В. А.*) с первых дней его существования, я невольно обратил внимание на несомненную талантливость некоторых стихотворений, помещенных в нем… На первое место следует поставить трех поэтов: Янку Купалу («Жалейка», 1908), Якуба Коласа («Песні жальбы», 1910) и все более выдающегося Максима Богдановича… М. Богданович — одно из обычных явлений, сопровождающих национальное пробуждение народов: тонкая и чуткая натура, охваченная стремлением вернуться к униженному и забитому народу».

Следует сказать, что в это время Максиму Богдановичу шел двадцатый год и его стихи еще не были изданы отдельной книгой, в отличие от его старших товарищей Янки Купалы и Якуба Коласа. Конечно, столь благоприятный отзыв о его поэзии, и не кого-нибудь, а профессора Харьковского университета А. Погодина, и не где-нибудь, а в столичном журнале, не могли не всколыхнуть чуткую и пламенную душу Максима Богдановича. Согласитесь, трудно удержаться от радости и восторга, читая следующие строки о себе: «Максим Богданович пишет по-белорусски, но мотивы его поэзии — общечеловеческие, не тесно-народные.

Как над белым пухом вишен,
Точно синий огонек,
Бьется, вьется быстрый легкий
Синекрылый мотылек.

Такова современная белорусская поэзия».

Однако, на наш взгляд, не только похвальное слово поэту, сказанное Александром Львовичем, но и его рассуждения о судьбе белорусского народа запали

в душу Максиму Богдановичу. Вот этот небольшой, но впечатляющий отрывок:

«Мало было народов, — писал А. Погодин, — с которыми история проделала бы столько экспериментов, как с белорусским. Сначала самостоятельные княжества были завоеваны литовскими князьями, но белорусский язык сделался официальным языком их государства. Потом пришло польское владычество с его презрением к крестьянству и к холопской вере. Иезуиты насадили унию; шляхта водворила польский язык. Екатерина II присоединила белорусские губернии под видом восстановления древнего единства русских земель, хотя Московское государство никогда не владело ими».

Безусловно, эта краткая история народа, изложенная просто профессиональным историком, заставила Максима Богдановича отдать все свои силы, прежде всего свой поэтический талант на благо своего народа. Поэт увидел, что в своих высоких стремлениях он не одинок, с ним рядом его соотечественники — поэты: Я. Купала, Я. Колас и другие. А самое главное, Максим Богданович убедился в том, что в них поверили такие люди, как А. Л. Погодин, который закончил свою статью следующими пророческими словами:

«Я думаю, что дело белорусских национальных деятелей честное и хорошее, что оно несет в глухие закоулки бедной страны и первые знания, и интерес к книге, и жажду разумной, осмысленной, достойной человека жизни. Я думаю, что их труд не бесплоден и в том или в ином направлении, может быть, неожиданном для них самих, принесет жатву. Как ни сильно на свете зло, все-таки добро в конце концов побеждает его, и если самоотверженный бескорыстный труд белорусских работников пробудит человеческое и гражданское сознание в забитых белорусских массах, то это и будет святой результат их деятельности…»

Именно эта статья А. Л. Погодина позволила Максиму Богдановичу найти впечатляющее сравнение белорусского народа с засохшими зернами, давшими долгожданные всходы в благоприятных условиях. Так и белорусский народ, пробыв в забвении века, благодаря высоким устремлениям лучших сынов воспрянул к жизни.

Вячеслав АФАНАСЬЕВ

Рядом с великими

«Каждой девочке Короткевич посвятил стихотворение»

После того, как в № 7 журнала «Нёман» за 2011 год рассказали о встрече с Софьей Васильевной Сильванович, знавшей Владимира Короткевича в детстве, мы с моим земляком Эдуардом Новогонским решили не останавливаться и отыскать и записать всех, кто в те далекие годы близко знал будущего классика белорусской литературы. В Оршанском музее Владимира Короткевича нам помогли с адресами еще некоторых его земляков. Мы встретились с ними, чтобы записать их воспоминания.

Владимир Петрович Шафранский, до выхода на пенсию работал преподавателем Оршанского механико-экономического колледжа.

«Ревизор» в постановке Короткевича:

— С Володей Короткевичем я учился в одной школе, только я был на год младше и поэтому учился классом ниже. Но так как школа была небольшая по количеству учеников, то мы все друг друга знали хорошо. Володя с первых дней учебы в школе отличался своими способностями. Мы это замечали и относились к нему с каким-то детским уважением. В то время не было ни аудио, ни видео, ни теле, поэтому у нас было много свободного времени. Мы общались друг с другом, читали книги и посещали разные кружки. Я посещал музыкальный кружок. Мы часто выезжали в госпиталь выступать перед ранеными. А Володю Короткевича тянуло к драматургии... По его инициативе в школе был создан драмкружок, который он сам и возглавил. Он распределял роли среди участников, иногда показывал, как нужно играть. Я, например, был назначен на роль Хлестакова в спектакле Н. В. Гоголя «Ревизор». Когда мы репетировали, например, «Ревизора», Володя выходил на

сцену и, входя в образ персонажа, менял голос и движения и показывал, как надо ту или иную фразу произносить. Это нам помогало в работе над ролью.

Нина Лазаревна Яскевич (в девичестве Дудкина. **—** *А. Ш.*), до выхода на пенсию работала преподавателем математики в одной из оршанских школ.

«Володя Короткевич — мой одноклассник»:

— В 1947 году в нашем девятом классе появился новый ученик Володя Короткевич. Он, как оказалось, не любил точные науки. Наш класс был очень дружным, и, в отличие от Володи, все хорошо знали математику. Успевали и по литературе благодаря стараниям нашей замечательной учительницы Екатерины Ивановны Гриневич. Уроки она проводила интересно, с выдумкой, заставляя работать наше воображение и фантазию. Но как только в нашем классе появился Володя, на уроках словесности стало еще интересней. Именно на них он оживал, был активным, думающим, имеющим свое мнение. Он отличался от всех нас тем, что прекрасно знал этот предмет, а поэтому часто вступал в диалоги с преподавателем, превращая эти уроки в маленькие диспуты. Его знание художественной литературы выходило далеко за рамки школьной программы, а его споры с педагогом по поводу содержания новых книг вызывали желание их прочесть, чтобы тоже быть в курсе новинок, как Володя. Помимо этого, мы все знали, что он пишет стихи. И он не скрывал своей склонности к поэзии, напротив, одаривал всех нас своими стихами.

Обычно перед Новым годом мы все поздравляли друг друга посланиями на открытках. Все пожелания были в произвольной форме и очень редко в стихах, и то не собственного сочинения. Но вот в канун 1948 года, 31 декабря, на школьном вечере мы, одноклассники Володи, все без исключения получили от него поздравления в стихотворной форме. Стихи все были забавные и смешные. В них он попытался выделить характерные черты каждого.

Еще он очень хорошо рисовал, и к каждому празднику редколлегия, которую, конечно, возглавлял Короткевич, делала классную стенгазету. И если в подготовке этой газеты мог принять участие любой ученик, то ее оформлением, по всеобщему согласию, занимался будущий знаменитый писатель. Помню, к женскому празднику 8 Марта он вместе с другими ребятами оформлял стенгазету, в которой каждой девочке, в том числе и мне, было посвящено стихотворение от Володи с пожеланиями найти себя в жизни, в той сфере деятельности, где бы она могла, на его взгляд, наиболее проявить себя во взрослой жизни. Все рисунки и карикатуры были сделаны рукой Короткевича.

Наша учительница, Екатерина Ивановна, однажды предложила каждому из нас написать пьесу в один или два акта, а потом мы их читали перед одноклассниками. У всех получились ничем не примечательные наивные пьески, а вот работы двух наших учеников — Лени Кригмы и Володи Короткевича — получились интересные. Пьесу Володи мы слушали два урока. Примечательно то, что некоторые события, описанные Короткевичем в этом школьном произведении, потом повторились в его книге «Черный замок Ольшанский». Уже будучи взрослой, читала этот роман и многое узнавала из того, что мы услышали тогда, на этом незабываемом уроке русской литературы: там были мрачные подземелья, полные тайн, и невероятные события и приключения. Мы уже тогда, на уроке, слушали его пьесу с большим вниманием, боясь пропустить хоть одно слово. В нашем представлении это было настоящее литературное произведение, несмотря на то, что мы учились только в девятом классе. По времени в один урок пьеса не вложилась, и мы, одноклассники Володи, уговорили учительницу выделить еще один, чтобы дослушать пьесу до конца. Уже тогда у него проявились задатки большого писателя.

Однажды на уроке рисования я заключила с Володей пари, кто нарисует лучше прекрасную даму. Надо ли говорить, что выиграл он... На рисунке была действительно прекрасная дама в каком-то средневековом наряде. По условиям пари побежденный должен был после уроков, когда придет время Володиного дежурства, убирать класс. Короткевич проигнорировал мою готовность как проигравшую пари сделать работу за него и все сделал сам, пообещав помочь и мне во время моего дежурства. Он всегда приходил на помощь нуждающимся в ней, с ним всегда было хорошо и весело дружить. К сожалению всех моих одноклассников, в десятый класс мы перешли без него. Володя вынужден был перейти учиться в другую школу из-за плохой успеваемости по математике, а вернее, из-за непонимания учителя математики Алексея Петровича Калецкого. Не смог учитель понять юношу, который впоследствии стал известным писателем.

По прошествии многих лет мне и теперь приятно осознавать, что я училась с человеком, внесшим свой вклад в мировую литературу, который уже тогда был отмечен многими талантами. Воспоминание о нем одно из самых светлых из юности.

Людмила Александровна Летун (Чичкова), до выхода на пенсию преподавала белорусский язык и литературу в Оршанском педагогическом колледже

В. С. Короткевич — преподаватель:

— Владимир Семенович стал преподавать в школе № 8 в 1957 году, в то время я была ученицей восьмого класса. Он сразу завоевал все наши симпатии, так как был человеком заметным — молодым, красивым и статным. У него было несколько свойственных ему привычек, например, он постоянно трогал свои волосы, приглаживая их. А когда объяснял новый материал, то ходил по классу широкими шагами. Короткевич так увлекался рассказом, что мне иногда казалось, что он не видит нас, своих учеников. Говорил он, четко чеканя слоги, а когда цитировал классиков советской и мировой литературы, мгновенно преображался — будто светился изнутри.

Преподавал у нас русскую литературу и язык. Все уроки, которые он проводил, не были похожи на стандартные уроки других учителей. На методику преподавания своего предмета у него был свой взгляд. Каждый раз материал старался преподносить как-то по-новому, заинтриговать нас каким-то эпизодом, а затем, завладев нашим вниманием всецело, начинал излагать суть и сюжет романа, повести или стихотворения. Иногда уроки превращались в диспуты. Владимир Семенович любил отвечать на любые вопросы, касающиеся его предмета. Иногда мог рассказать интересное о себе или какой-нибудь случай из жизни, и это всегда было поучительно и интересно. Он заставлял нас думать — давал нам какие-то первоначальные установки, обрисовывал ситуацию, а затем предлагал нам закончить действие, развивая таким образом у нас фантазию и творческое мышление.

В каждом ученике Короткевич видел прежде всего человека, которому обязан передать все свои знания, развить творческое начало. На уроках не ограничивался только школьной программой: знакомил нас с классиками мирового уровня и с современными писателями, а в свободное от работы время организовал в школе драматический театр, куда был открыт доступ всем желающим, независимо от степени их одаренности и успеваемости.

Если Владимира Семеновича что-то задевало до глубины души, то он всегда говорил: «Я сейчас такой рашчулены» и при этом подносил к глазам носовой платок и снова повторял: «Ой, я такой рашчулены». И это была высшая похвала. И уже по прошествии многих лет его творческой деятельности, когда В. С. Короткевичу исполнилось пятьдесят, по телевидению была передача, посвященная этому юбилею. Передачу я смотрела с подругами, которых тоже учил Владимир Семенович. Вот мы смотрим ее и предполагаем, что он обязательно произнесет свое коронное выражение «Ой, я такой рашчулены». Так оно и вышло. И нам от этого стало очень весело. И мы, умиленнные этим фактом, с большим интересом продолжали смотреть его выступление, вспоминая и другие эпизоды, связанные с личностью нашего знаменитого учителя и литератора.

* * *

Людмила Александровна упомянула имя своей подруги-одноклассницы, **Риты Лукиничны Пунтус** (в девичестве Козлова. — *А. Ш.*), с которой они дружат уже больше шестидесяти лет, теперь встречаются редко, в основном перезваниваются, так как живут в разных концах города. До выхода на пенсию Рита Лукинична работала в «Энергосбыте» техником по расчетам. Мы встретились и с ней. И вот что услышали:

— Преподавателем Короткевич был оригинальным, и эта оригинальность проявилась сразу. Он не ставил никаких других оценок, кроме «пятерок» и «двоек». Ту небольшую разницу в возрасте, которая разделяла нас, а ему было чуть больше двадцати лет, он отбросил и стал выстраивать дружеские отношения. Владимир Семенович очень не любил разгильдяев. Его очень нервировало, если на его уроке кто-то баловался, не слушал и плохо усваивал материал.

Я была участницей драматического кружка. Мы пытались с ним вместе поставить на сцене гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки». Владимир Семенович принимал в этом самое активное участие, проявив уже в ту пору хорошие организаторские способности. Я, конечно, горжусь тем, что меня учил сам Короткевич, что он привил нам, его ученикам, любовь к прекрасному.

Подготовил Анатолий ШЕБЕКО.

Жизнь в искусстве

Экспонат № 8

«Коллекционеры будут гоняться за этими билетами!» — обещали организаторы конкурса «Дизайн входного билета в Национальный художественный музей Республики Беларусь», когда впервые проводили его в 2005 году. И вот уже в восьмой раз оформление входного билета в главный музей страны обновляется на конкурсной основе. Правда, пока сложнее найти коллекционеров, чем дизайнерские билеты.

Перечень предметов, размещенный на сайте Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров, удивляет: находятся люди, которые собирают даже сырковые этикетки, и эта страсть имеет название — казеофилия. В Беларуси кроме традиционных вещей (монеты, марки, антиквариат, предметы искусства) собирают, например, чернильницы и футбольные программки. Не только у нас, но и по всему миру очень популярна таксистика или перидромофилия — коллекционирование проездных билетов и жетонов. Больше всего — более 600 тысяч — проездных документов удалось собрать испанцу из Бадалоны Хуану Доминго Вентуре. Однако собирателей входных билетов найти оказалось совсем не просто. Но такие коллекционеры в Беларуси все-таки есть.

Валерий Колесинский — скульптор, искусствовед, член Белорусского союза художников, член правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров, — вообще-то собирает частные или кооперативные монеты (монеты из железа, цинка, иногда — меди и латуни, которые ходили только на территории Беларуси). В 2005 году его коллекция была выставлена в Национальном историческом музее Республики Беларусь. А еще Валерий Францевич «немного неравнодушен к буддизму», и редкие буддистские иконы — танка — из его собрания в 2011-м были выставлены в витебском Музее частных коллекций. В отличие от монет, входные билеты в музеи он специально не собирал, но по роду своей деятельности в музеях бывает часто, и в его архивах оказалось около 200 билетов из разных стран мира.

— Я собираю только те билеты, которые связаны со мной, из тех мест, где я был, — рассказывает Валерий Францевич. — У меня нет билетов, которые я у кого-то покупал или просил, чтобы кто-то мне привез их вместо сувенира. Не собираю билеты ради билетов: купил и, чтобы сохранить «контроль», в музей не пошел. Но мне кажется, что это собрание может называться коллекцией. Ей уже около 20 лет (возраст самого старого экспоната).

Билеты Валерий Колесинский стал собирать еще студентом, когда ездил на каникулы то в Москву, то в Санкт-Петер-

Работа-победитель конкурса «Дизайн входного билета в Национальный художественный музей Республики Беларусь 2012».



Билеты из коллекции Валерия Колесинского.

бург, и как-то случайно не выбросил после одной из поездок билеты в музеи, в которых он побывал. А потом, приехав из нового путешествия, достал из блокнота стопочку билетов и вспомнил, что где-то лежат и прошлогодние. Так началась коллекция…

— Входной билет — это лицо музея, — замечает Валерий Колесинский, раскладывая на столе некоторые экземпляры. — Первое, что видит человек, — это билет, и именно он влияет на первое впечатление о музее. Когда я был студентом, то на билетах было только название музея. На некоторых — его маленькое схематическое изображение. Я приходил, например, в Оружейную палату Московского Кремля, и мне доставался кусочек простой дешевой прозрачной бумажки, на которой было написано «Оружейная палата». Но других тогда не было — билеты отличались только названиями, которые были на них напечатаны. И на это никто не обращал внимания. Мое представление о билете перевернулось, когда в 1996 году я впервые попал в Лувр. Во-первых, мне продали не прозрачную бумажку, а плотную красиво оформленную картонку, а во-вторых, стоила она порядка десяти долларов, и это тоже повлияло на мое отношение (у нас билеты всегда были дешевыми) — выбрасывать такой билет как-то не хотелось.

Валерий Францевич выделяет две причины, по которым простые советские билеты, доставшиеся нам в наследство (причем как в прямом, так и в переносном смысле: и сейчас найдется музей или кинотеатр, который использует билеты, напечатанные еще в СССР, отдельно штампуя на них дату и цену), со временем изменили и продолжают менять свой внешний вид. Во-первых, пришло осознание того, что билет — это визитная карточка учреждения, мы потянулись за Европой. А во-вторых, оригинальный билет не так просто подделать или показать вместо него похожий.

В коллекции Валерия Колесинского есть билеты и из Национального художественного музея Республики Беларусь, и за ежегодным изменением дизайна он следит. Мы рассматриваем оформление (на снимке), предложенное графически дизайнером из Минска Маргаритой Коноваловой. Именно ее работу профессиональное жюри под председательством директора Национального художественного музея Республики Беларусь, кандидата искусствоведения Владимира Прокопцова выбрало в этом году из 70 представленных.

— В оформлении использован фрагмент картины Ивана Хруцкого, замечает Валерий Францевич. — Но для билета, как мне кажется, необходима работа целиком, а не фрагмент, чтобы потом посетитель не шел и не искал: где эта ваза на картине Хруцкого, где эта рука? Но это детали. Куда важнее то, что музей нашел деньги и начал вкладывать их в рекламу.

Для тех, кто, возможно, будет гоняться за билетами в музей, экземпляр от Маргариты Коноваловой станет экспонатом № 8. У Валерия Колесинского перспектива ажиотажа вызывает улыбку:

— Эти билеты появились относительно недавно, а для коллекционеров в первую очередь представляет ценность редкая вещь «в возрасте»: вот если бы нашли один из первых билетов в Третьяковскую галерею, я думаю, что он вызвал бы определенный интерес. Но куда важнее не далекая перспектива, а то, что красивый билет сохранят не только коллекционеры, но и простые посетители. Сравнят с билетами в другие белорусские музеи, в музеи других стран. Этим билетом Национальный художественный музей обозначает свою уникальность. Этот билет — вклад в формирование имиджа Беларуси.

Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ

Жизнь в искусстве

Игра в классику

Крыша многоэтажки. Панк пьет пиво. Появляется девушка, плачет навзрыд, подходит к краю и собирается прыгнуть. Но ей не хватает смелости. Панк принимает живое участие в решении проблемы: он предлагает повеситься или отравиться, а при демонстрации способа «облить себя бензином и поджечь» погибает. Девушка не переставая ревет. Вдруг месяц-серп срывается с неба и — вжик! — отрубает девушке голову… Тишина…

Финал спектакля «Дома клоунов» театра кукол из Греции «Мерлин», который зрители увидели в первый день VII Белорусского международного фестиваля театров кукол, стал подтверждением идеи, что все беды сваливаются на голову и именно от нее, от головы, обычно и случаются. А также оставил фестивальную публику в тревожном ожидании: что будет дальше?

Но дальше была только классика — от Пушкина до Булгакова, от Шекспира до Гомбровича. Программа спектаклей для взрослых VII Белорусского международного фестиваля театров кукол, который проходил в Минске с 15 по 20 мая, в этом году была составлена так, как будто бы организаторы решили раз и навсегда убедить всех неверующих театралов: классику можно поставить на сцене кукольного театра.

Из семи спектаклей для взрослых шесть были поставлены по произведениям русской и зарубежной классической литературы и драматургии: Гомельский государственный театр кукол привез в Минск «Собачье сердце» М. Булгакова, Могилевский областной театр кукол — «Дикую охоту короля Стаха» В. Короткевича, Брестский театр кукол — «Короля Лира» У. Шекспира, Гродненский областной театр кукол — «Пиковую даму» А. Пушкина, театр «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга — «Всадник CUPRUM» (театральная фантазия, основой для которой стала поэма А. Пушкина «Медный всадник»), а хозяин фестиваля, Белорусский государственный театр кукол, показал на собственной сцене «Венчание» В. Гомбровича.

Такое продолжение программы было куда менее брутально, чем ее начало «Домами клоунов» (пять афинских историй об одиночестве, в конце которых герои погибали), но и в нем нашлись постановки, которые пощекотали публике нервы. Например, в финале гомельского «Собачьего сердца» в постановке Григория Гольдмана: падает сценический снежок и в полукруг героев (страдальчески взирая на них) выходит забеременевшая от Шарикова машинистка…

Сочетанием классики и авангарда выделились два спектакля. Со знаком «плюс» — «Венчание» в постановке Александра Янушкевича. Но здесь к авангардной трактовке с диспропорциональными куклами, куклами-частями тела, куклами-костюмами (художник Татьяна Нерсисян) располагал текст польского абсурдиста Витольда Гомбровича: поток сознания, то ли сон, то ли предсмертный бред солдата. И режиссер последовал за драматургом, визуализировав, воплотив бессвязность и абсурд. Знаком «минус» отмечен спектакль «Король Лир» в постановке Алексея Уставщикова. Драматургическая адаптация и режиссерская трактовка «пьесы об ответственности» в конце концов рассыпалась на знаки и трюки.

Художественный руководитель фестиваля и главный режиссер Белорусского государственного театра кукол отметил особен-



Герой спектакля «Дома клоунов».



«Семейка из большой рощи».

ную любовь участников к Пушкину: в программе из тринадцати спектаклей два — по произведениям Александра Сергеевича. Постановки «Пиковая дама» и «Всадник CUPRUM» объединяет не только любовь создателей к гению русской поэзии, но еще ирония над его текстами и импровизация с ними. В «Пиковой даме», которую поставил Олег Жюгжда, кроме известных нам героев появляется сам Александр Сергеевич, причем в компании Петра Ильича Чайковского. «Всадник CUPRUM» (режиссер и художник Анна Викторова; спектакль — лауреат Российской национальной премии и фестиваля «Золотая маска») также отмечен появлением Пушкина среди действующих лиц: стихи гению мешает писать мальчик с сачком Вова Набоков, а петербургскую легенду о любви девушки Невы, которая обратилась в реку, и царя Петра, который обратился в памятник, Александру Сергеевичу рассказывает странный, похожий на статую человек Евгений. Однако при такой общности отношения к творчеству и личности Пушкина режиссеры воплотили материал разными средствами: в «Пиковой даме» куклы и актеры равноправны, история постоянно перемещается из драматического мира в кукольный и обратно, а «Всадник CUPRUM» решен с помощью средств традиционного кукольного театра, в котором кукла – главное действующее лицо, а актер выходит только на поклон.

В детской программе фестиваля, где были представлены шесть спектаклей, постановки по классическим и современным произведениям оказались на равных, но интереснее в сценическом решении — именно современные (что характерно, с ярко выраженным национальным колоритом). Зрителей очаровала история Григория Остера «Клочки по закоулочкам» (Волынский академический областной театр кукол, режиссер Борис Озаров): злободневный сюжет про то, как лиса выгнала зайца из дома и тот искал правду, волоча за собой раскладушку, синтезирован с оформлением в традиционном украинском стиле, чем-то напоминающем лубок. А литовская сказка Дайвы Чяпаускайте про домовиков «Семейка из большой рощи», которую поставил вместе с интернациональной командой проекта «Летающий фестиваль» в Каунасском государственном театре кукол белорусский режиссер Олег Жюгжда, перенесла зрителей в волшебный лесной мир, где живут и путешествуют традиционные литовские сказочные герои.

Перед открытием фестиваля Алексей Лелявский отметил, что в этот раз программа объединяет не топовые фестивальные постановки, а обычные репертуарные спектакли. На VII Белорусском международном фестивале театров кукол мы смогли проследить за ежедневной жизнью коллективов. И оказалось, что жизнь эта состоит в основном из классики и сказок с яркими национальными приметами.

Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ.
Фото Марса ЧИГИРКИНА.

После публикации

Слово и дело

Тем маловерам, которые уже давно не питают никаких иллюзий касательно действенной силы печатного слова, тем более в наше сумбурно-бурное информационное время, спешу сообщить: есть она еще, эта сила, есть. Главное, чтобы те, кто имеет дело со словами, по долгу службы ли, по призванию или просто по собственному вдохновению, не забывали мудрые слова ветхозаветного пророка Сираха, который когда-то сказал так: *«И для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих — дверь и запор»*.

Что ж, молчание — это действительно золото. Тем приятнее, когда совсем неожиданно сказанное тобой слово отзывается добрыми делами и поступками.

А теперь по существу. В первом номере журнала «Нёман» за 2012 год появилась моя рецензия под названием «Заметки на полях» на книгу Людмилы Дучиц и Ирины Климкович «Сакральная география Беларуси». Размышляя об этой очень интересной книге, я между делом затронула и один сугубо приватный вопрос. Поводом стал разговор авторов книги о деревенских кладбищах. На одном таком старинном погосте в Березинском районе упокоилась и моя многочисленная родня, ибо погосту, даже по самым скромным прикидкам, более двух с половиной веков. К сожалению, деревни, возле которой когда-то оно примостилось, уже нет, а следовательно, стало ветшать и приходить в запустение и само кладбище, на котором, тем не менее, продолжают и в наши дни хорониться те, кто когда-то жил в этих местах, а потом разъехался по дальним и ближним городам и весям. Свои невеселые медитации по теме я закончила словами о том, что хотелось бы дождаться от местных властей уважительного отношения к памяти тех, кто покоится в этой земле.

Но поскольку не в моих правилах говорить о ком-то за спиной у этого «кого-то», то, получив в руки январский номер журнала, я решила познакомить с ним и администрацию Березинского района. Сказано — сделано. Журнал вместе с моим коротеньким сопроводительным письмом уплыл по назначению, и буквально через пару недель мне позвонили родственники и сообщили — о, диво дивное! — что все мои скромные притязания насчет порушенного кладбищенского забора, поваленных вековых деревьев и так далее, все это не только принято к сведению, но и устранено. Более того, в районной газете появилась пространная статья о том, как следует бережно относиться к могилам предков и о благоустройстве разбросанных по всему району деревенских кладбищ. Разумеется, я никак поначалу не связала все эти шаги местных властей со своим скромным обращением. Просто, наверное, время пришло, подумала я. Наконец-то дошли руки и до благоустройства кладбищенских территорий. Ну и слава богу! Каково же было мое изумление, когда на Радуницу я получила письмо за подписью заместителя председателя Березинского райисполкома Соколовского Андрея Валентиновича, в котором он любезно сообщил, что моя публикация в журнале стала поводом для властей выехать на место, разобраться и по мере сил устранить все то, что можно устранить.

Что ж, остается только сказать большое и сердечное спасибо. Не имея возможности сделать это в настоящее время лично, хочу воспользоваться страницами журнала для того, чтобы выразить свою огромную благодарность председателю Березинского райисполкома Ленковцу Сергею Дмитриевичу, уже упомянутому выше его заместителю Соколовскому Андрею Валентиновичу и всем тем неравнодушным людям, кто делом откликнулся на негромкий призыв о надлежащем отношении к нашему прошлому.

А в качестве постскриптума хочу совершенно искренне пожелать всем им стать постоянными читателями и даже подписчиками журнала «Нёман». Право же, у вас не будет повода, дорогие мои, пожалеть об этом. Ведь универсальную библейскую истину о том, что вначале было Слово, еще никто не рискнул поставить под сомнение.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

ВОЛКОВИЧ Александр Михайлович. Родился в 1950 г. в Бресте. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Автор книг «Зубр беловежский чугунный», «Береза черная – береза белая», «Алеся. Беловежские сны», «Письма войны». Живет в Бресте.

ТУРБИНА Любовь Николаевна. Родилась в Ашхабаде. Окончила физический факультет Белорусского государственного университета, Литературный институт им. М. Горького. Автор восьми поэтических сборников. Живет в Москве.

БРИТ Александр (Кривонос Александр Павлович). Родился в 1966 г. в Минске. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Печатался в еженедельнике «Літаратура і мастацтва», журналах «Нёман», «Маладосць». Живет в Минске.

ПЕХТЕРЕВ Иван Егорович. Родился в 1938 г. в д. Недведь на Могилевщине. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, публицист, прозаик, журналист. Автор десяти книг поэзии, повести «Мертвые сраму не имут» и сборника очерков «Вясёлка Магілёўшчыны». Живет в Могилеве.

ВАСИЛЬЕВА Анна Николаевна. Родилась в 1982 г. в Минске. Окончила факультет русской филологии Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка. Печаталась в газете «Настаўнік», журнале «Новая Немига литературная», антологии «Современная русская поэзия Беларуси». Умерла в 2010 г.

ЛЕВИЦКАЯ Милана Геннадьевна. Родилась в 1988 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный университет. Печаталась в журналах «Новая Немига литературная», «Нёман». Живет в Минске.

ТКАЧЕВ Василий Юрьевич. Родился в 1948 г. в д. Гута Рогачевского района Гомельской области. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Прозаик, драматург, публицист, критик. Автор многих книг. Живет в Гомеле.

ПАШКОВ Геннадий Петрович. Родился в 1948 г. в Чашникском районе Витебской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик, публицист. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

ЭРКЕНЬ Иштван. Родился в 1912 г. в Будапеште (Венгрия). Венгерский прозаик и драматург, основоположник венгерского театра абсурда. По образованию фармацевт и инженер-химик. Автор множества книг. Спектакли по его пьесам были поставлены в 27 театрах Советского Союза. Умер в 1979 г.

РИГО Бела. Родился в 1942 г. в трансильванском Коложваре (ныне Клуж, Румыния). Окончил Будапештский университет. Прозаик, поэт, переводчик, литературовед. Автор более двух десятков книг: поэтических сборников, произведений для детей, сценариев. Переводит стихи с русского, немецкого, английского, болгарского языков и с латыни. Лауреат многих престижных литературных наград и премий. Живет в Венгрии.